

АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ЖУРНАЛ ОСНОВАН В 1952 ГОДУ

ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД

5

СЕНТЯБРЬ — ОКТЯБРЬ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»

МОСКВА — 1976

СО Д Е Р Ж А Н И Е

Г. А. Климов (Москва). О некоторых задачах историко-типологических исследований	3
---	---

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

В. М. Солнцев (Москва). Относительно концепции «глубинной структуры»	13
Р. В. Павухин (Ленинград). «Кибернетические» модели в лингвистике .	26
Р. Г. Котов (Москва). Лингвистика и современное состояние машинного перевода в стране	37
М. П. Чхадзе (Тбилиси). Еще раз о мифах и правде машинного перевода	50
Н. Д. Андреев (Ленинград). Квазилингвистика Хомского	58

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

Дж. П. Димри (Хайдерабад). Принципы морфологического анализа в «Восьми- книжии» Панини	74
Н. Г. Корлятьну (Кишинев). Молдавская научно-техническая терми- нология на современном этапе	81
А. И. Журавский (Минск). Из истории активных причастий настоящего времени в белорусском литературном языке	90
Н. Г. Михайловская (Москва). Лексическая норма в ее отношении к древнерусскому литературному языку	101
И. Ф. Мазанько (Москва). Заметки об образовании наречий в древнерус- ском языке	111
Р. З. Мурясов (Уфа). О словообразовательном значении и семантическом моделировании частей речи	126
А. А. Вейлерт (Владимир). О зависимости количественных показателей едвиц языка от пола говорящего лица	138

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Р е ц е н з и и

М. М. Маковский (Москва). <i>Th. Lewandowski. Linguistisches Wörterbuch</i>	144
Ф. П. Сороколетов (Ленинград). <i>В. И. Максимов. Суффиксальное сло- вообразование имен существительных в русском языке</i>	150
Р. Я. Удлер (Кишинев). <i>Г. П. Клепикова. Славянская пастушеская терми- нология</i>	155
И. Ф. Протченко (Москва). «Сопоставительное исследование русского и украинского языков»	159
Е. Д. Панфилов, А. В. Федоров (Ленинград). «Вопросы испанской филологии»	162
Ю. В. Откупщиков (Ленинград). <i>А. Н. Савченко. Сравнительная грам- матика индоевропейских языков</i>	165

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Хроникальные заметки	171
--------------------------------	-----

РЕДКОЛЛЕГИЯ:

О. С. Азманова, Р. А. Будагов, А. В. Десницкая, Ю. Д. Дешериев,
Г. А. Климов (отв. секретарь редакции), В. З. Панфилов (зам. главного редактора),
В. А. Серебренников, В. М. Солнцев (зам. главного редактора),
О. Н. Трубачев, Ф. П. Филин (главный редактор), В. Н. Ярцева

Адрес редакции: 103031, Москва, К-31, Кузнецкий мост, д. 9/10. Тел. 228-75-55

Зав. редакцией *И. В. Соболева*

Г. А. КЛИМОВ

О НЕКОТОРЫХ ЗАДАЧАХ ИСТОРИКО-ТИПОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Всесело достоянием прошлого лингвистической науки стали утверждения, согласно которым типология будто бы имеет дело исключительно с синхронным срезом языка. Логика развития языкознания неопровержимо показала, что не менее важным и необходимым для раскрытия сущности языка является и ее диахронический план. В настоящее время, когда типология, наряду с генетическим и ареальным языкознанием, получила, наконец, признание в качестве одного из равноправных аспектов лингвистического исследования, надлежит сделать все вытекающие из этого признания выводы. И прежде всего, очевидно, должно стать достаточно ясным, что весь широкий комплекс входящих в компетенцию типологии вопросов не только не может недооцениваться, но, напротив, заслуживает самого пристального внимания.

Необходимо подчеркнуть, однако, что, как об этом свидетельствует практика некоторых направлений современной типологии, довольствующихся требованиями чисто формального подхода, признание возможности диахронической типологии еще не означает принятия идеи ее исторического фундамента. В частности, историзм далеко не всегда характерен для языковедов, подчеркивающих необходимость придать существующим типологическим построениям больше динамизма. Между тем принципиальное различие понятий изменения и развития должно быть, вероятно, бесспорным для каждого исследователя общественных явлений (тем большим недоразумением представляются случаи отождествления исторического с диахроническим). Диахронические изменения в морфологической структуре слова, сводящиеся к чередованию принципов аморфности, агглютинации и флексии или анализа и синтеза, составляют характерные линии преобразования, засвидетельствованные во множестве языков. Однако, как это уже неоднократно было показано, подобное совершающееся по кругу движение не способно свидетельствовать о развитии языка, о переживаемой им подлинной истории. Поэтому, когда говорят, например, что типологическая сторона развития французского и английского языков может быть охарактеризована как тенденции движения к изолирующему типу¹, то должно быть очевидным, что термин «развитие» употребляется при этом синонимично термину «изменение». И если не забывать, что любое диахроническое исследование вступает на почву истории лишь в том случае, когда оно отправляется от идеи развития языковой структуры, то станет вполне очевидным множество стоящих перед типологией нерешенных задач. Для того чтобы представить себе масштабность последних, достаточно назвать две из них, обозначающие по существу различные стороны единого историко-типологического исследования: во-первых, это обоснование исторического характера лексических и грамматических

¹ Ср.: V. Skalička, *Sprachtypologie und Sprachentwicklung*, сб. «To honor Roman Jakobson», III, The Hague — Paris, 1967, стр. 1830.

категорий языка, и, во-вторых, построение удовлетворительных исторических гипотез. Отсюда в свою очередь следует, что показ языкового развития — проблема не столько генетического или ареального языкознания, сколько типологического.

Разумеется, было бы ошибочным сказать, что весь широкий комплекс относящихся сюда вопросов не разрабатывался в лингвистике. Скорее, наоборот, он неизменно волновал языковедов каждой эпохи. А. Шлегель, В. Гумбольдт, А. Шлейхер, Г. фон Габеленц, М. Мюллер, А. А. Потебня, Н. Я. Марр — далеко не полный перечень имен крупных лингвистов прошлого, внесших свой вклад в его решение. Вместе с тем справедливо и то, что каждый раз уровень знаний эпохи накладывал свои неизбежные ограничения на трактовку соответствующих вопросов. Парадоксально, но факт, что после наиболее серьезных попыток обоснования стадияльной концепции развития языка, предпринятых в отечественных исследованиях 30—40-х годов, интерес к историко-типологической проблематике заметно ослабел, так что весь последующий период характеризовался безраздельным господством диахронической типологии, избегавшей прямой постановки собственно исторической проблематики. В этих условиях все чаще высказываемые в адрес конкретных типологических концепций упреки в отсутствии у них исторической перспективы представляются совершенно справедливыми².

Решение «вечных» вопросов исторической типологии, до последнего времени обычно руководствующейся принципами, выводимыми *ad hoc*, едва ли окажется возможным без серьезного совершенствования ее теоретико-методического аппарата. Не приходится сомневаться в том, что именно недостатки метода, равно как и заметная ограниченность эмпирической базы исследований, были причиной сравнительно невысокой эффективности некогда широкого фронта работ и, в конечном счете, неубедительности выдвигавшихся историко-типологических построений. И если нельзя не видеть постепенного расширения вовлекаемого в типологические штудии языкового материала, то разработка теории и методики историко-типологического исследования все еще остается на крайней периферии интересов лингвистической науки (одним из логических следствий такого положения является отнюдь не преодоленная тенденция описания разнотипных языков в терминах грамматической традиции, отрывающей номинативную структуру).

При анализе успехов и неудач историко-типологических штудий прошлого складывается убеждение в том, что совершенствование их теории и методов может быть достигнуто прежде всего при условии более последовательного внедрения в ведущие работы двух неотъемлемых принципов исследования любого исторически развивающегося объекта — системного подхода, с одной стороны, и историзма, с другой. Хорошо известно, что взаимодействие обоих факторов было весьма плодотворным на различных этапах истории лингвистической науки. Именно ему обязано своими общепризнанными достижениями генетическое (сравнительно-историческое) языкознание. И, естественно, именно с ним оказались связанными наиболее заметные вехи развития самой типологии.

Все еще широко распространенную недооценку важнейшей конструктивной роли обоих принципов в решении конкретных историко-типологи-

*² Ср.: Р. А. Будагов, Проблемы развития языка, М., 1965, стр. 55—59; L. Hjelmslev, *Le langage*, Paris, 1966, стр. 128—129; Т. С. Шарадзендзе, Типология языков (синхрония и диахрония), сб. «Вопросы современного общего и математического языкознания», III, Тбилиси, 1971; J. H. Greenberg, *The typological method*, «Current trends in linguistics», XI — Diachronic, areal and typological linguistics, The Hague — Paris, 1973, стр. 184—186.

ческих проблем нетрудно показать на множестве примеров. Здесь будет, вероятно, достаточным ограничиться приведением единственной иллюстрации подобного рода, особенно поучительной, поскольку она заимствована из наследия такого выдающегося типолога современности, каким был Т. Милевский. Характеризуя закономерности функционирования местоименных лексем 1-го лица множественного числа инклюзивной и эксклюзивной семантики типа аварских *милъ* «мы (с тобой, с вами)» и *ниж* «мы (без тебя, без вас)» в различных областях глоттогонии, исследователь приходил к выводу, что «развитие идет в направлении образования более широкого, более общего способа указывания. Только языки народов с примитивной, очень отсталой культурой отличают *inclusivus* от *exclusivus*, тогда как во всех иных функционировает общая форма 1-го лица множественного числа»³. Нельзя не заметить, что в этой короткой формулировке как в зеркале отражаются асистемные и неисторические тенденции, не преодоленные в современной типологии. Уже не останавливаясь на ее фактической неадекватности, несколько неожиданной в устах американиста (хорошо известно, что противопоставление инклюзива и эксклюзива засвидетельствовано в таких языках высокоразвитых цивилизаций, как юто-ацтекские и кечумара, и, напротив, отсутствует в языках целого ряда низкоразвитых этнических групп Южной Америки), бросается в глаза атомистический подход автора, который даже не пытается соотносить рассматриваемое явление с характерным для него структурным контекстом различных уровней языка и непосредственно сопоставляет его с уровнем культуры. Между тем, существуют основания полагать, что, как это уже неоднократно отмечалось в специальной литературе, встречаясь в некоторых номинативных и в целом ряде эргативных языков лишь на правах структурного архаизма, данное противопоставление принадлежит к числу импликаций активного строя, так как получает определенную мотивацию только в его принципах. Поскольку в языках иных типологий оппозиция инклюзива и эксклюзива не известна, естественно предположить ее исторический характер и, следовательно, прийти к мысли, что на определенном этапе развитие должно было идти в противоположном направлении, а именно по пути образования более конкретного способа указывания. Нельзя к тому же не учитывать того обстоятельства, что вне включенности того или иного структурного явления в некоторый целостный комплекс признаков-координат вообще едва ли возможно утверждать его принадлежность к числу типологически релевантных фактов языка.

Если нераскрытой остается типологическая соотносительность отдельных языковых явлений, то тем более бросается в глаза несистемность в существующих опытах обобщения закономерностей структурных преобразований. Так, по существу общим местом исследований по самым различным языкам стало признание таких положений, как примарность именной классификации относительно грамматической категории рода, историческая несформированность парадигмы именного склонения, архаичный характер форм двойственного и тройственного числа по сравнению с формами множественного, первоначальное неразличение транспозитивных и интранзитивных глаголов, неразвитость в глаголе морфологических категорий времени (замещающей категорией способа действия) и залога и т. п. Вместе с тем, даже в тех немногих работах, в которых суммируются перечисленные факты, они не рассматриваются с точки зрения их типологической совместимости (resp. несовместимости), а остаются во власти ато-

³ См.: Т. Милевский, Предпосылки типологического языкознания, сб. «Исследования по структурной типологии», М., 1963, стр. 23. Сходную точку зрения см.: W. Schmidt, Sprachfamilien und Sprachenkreise der Erde, Heidelberg, 1926, стр. 530.

мистических представлений. В итоге в них трудно усмотреть хотя бы наметки на присутствие сколько-нибудь общей перспективы соответствующих типологических преобразований. С другой стороны, во многих конкретных отраслях языкознания (очевидное исключение составляет индоевропеистика) все еще широко популярируется польза практика выведения исторически засвидетельствованного — как правило, развитого номинативного или эргативного — состояния непосредственно из некоторого аморфного, как оно представлено в западносуданских языках Африки, минуя закономерно ожидаемые этапы постепенного формирования морфологического строя (например, такие, как отделение морфологии от словообразования, становление глагольного словоизменения, возникновение именной морфологии). Подобная практика не учитывает того обстоятельства, что современный инвентарь флексий в языках далеко не всегда может трактоваться как изначальный и что, как правило, ему должны были предшествовать некоторые иные. Отчетливее многих других авторов это существенное обстоятельство было подчеркнуто М. Бреалем, заметившим, в частности, что категория времени является сравнительно поздним приобретением грамматического строя языков и что глагол должен был располагать определенной совокупностью морфологических форм задолго до своего превращения в *Zeitwort*⁴.

Имеются все основания связывать внедрение системного подхода в исследованиях по диахронической типологии с более последовательной опорой последних на понятие языкового типа, призванное аккумулировать в себе максимально широкие наборы разноуровневых признаков-координат языка. Такая опора послужила бы важнейшим залогом преодоления широко распространенного произвола в выборе критериев типологизации, признание которого автоматически приводит к отождествлению любой разновидности структурного анализа языка с типологическим исследованием⁵. Как известно, за последние полтора десятилетия разработка проблематики системности языковой структуры обрела особенно серьезный импульс со стороны целого направления работ, выявляющих имплицитивные зависимости между языковыми фактами. Нетрудно увидеть, что раскрытие причинных взаимоотношений подобных фактов позволяет установить соответствующие формулы типологического изменения. В. Скаличка справедливо указывает в этой связи, что «только лишь при допущении зависимости явлений можно объяснять зависимость изменений. Если отвергается зависимость изменений, то нельзя и развитие понимать иначе, чем беспорядочное нагромождение явлений»⁶.

Принцип историзма в диахронической типологии предполагает в качестве своего необходимого условия принятие идеи поступательного движения языка, призванного обслуживать развивающееся мышление. Последнее означает, что внедрение этого принципа в типологию немислимо без признания исторического характера лексических и грамматических категорий. Думается, что и в этом плане неопенимую пользу исследованию окажет понятие языкового типа, как оно формулируется в рамках формально-типологической и особенно континентально-типологической схематики (не видно оснований для отрицания определенной значимости в этом аспекте и формально-типологических построений, поскольку уже сам факт

⁴ См.: M. Bréal, *Essai de sémantique. Science des significations*, Paris, 1924, стр. 353.

⁵ Об этом см.: В. М. Соловьев, Установление подобия как метод типологического исследования, в кн.: «Лингвистическая типология и восточные языки», М., 1965, стр. 114—115.

⁶ В. Скаличка, О современном состоянии типологии, «Новое в лингвистике», III, М., 1963, стр. 34.

развитости в языке формальных средств грамматического выражения может быть истолкован с позиций историзма). Достаточно сказать, что к настоящему времени в лингвистике, особенно в том направлении, которое занимается установлением имплицативных универсалий, уже накоплена большая совокупность свидетельств о структурной совместимости (гезр. несовместимости) различных грамматических категорий с определенными языковыми типами, ожидающих своего включения в историческую перспективу. Внедрению этого принципа мог бы способствовать и более тесный контакт соответствующих исследований с генетическим языкознанием (прежде всего, учет общих закономерностей языкового изменения, устанавливаемых в сравнительных грамматиках).

Тесное взаимодействие обоих названных принципов, являющееся отражением глубокого внутреннего единства логического и исторического в изучении языка, нетрудно показать на конкретных примерах.

Так, в советском языкознании впервые было показано, что если именительный и винительный падежи суть закономерно мотивированные составные части парадигмы склонения языков номинативного строя, то в эргативных языках их место занимает функционально отличная корреляция эргативного и абсолютного⁷ (аналогичным образом, в языках активного строя они замещены активным и инактивным падежами). Последующее развитие науки о языке существенно расширило представления о структурной специфике каждой из соответствующих парадигм. В частности, было установлено, например, что родительный падеж представляет собой транспозицию именительного и винительного (ср. его основные функциональные разновидности — *genitivus subjectivus* и *genitivus objectivus*) и, таким образом, оказывается дифференциальным признаком падежной парадигмы языков номинативной типологии⁸. Действительно, помимо последних, с функционированием генитива, точнее с его формированием, сталкиваемся лишь в тех эргативных языках, которые прочно встали на путь номинативизации (естественно, что, как это показывает, например, материал нахско-дагестанских языков, генитив обнаруживает здесь не столько субъектную или объектную функцию, сколько атрибутивную).

Другой пример. Рассмотрев становление инфинитивов из отглагольных имен в таких номинативных языках, как индоевропейские, тюркские и уральские, М. А. Габинский заключает: «...приведенных фактов достаточно для того, чтобы констатировать полигенез возникновения инфинитива в разных группах языков и, следовательно, отражение в этом процессе общеязыковых тенденций развития, характеризующих по меньшей мере языки определенной типологической принадлежности»⁹ (помимо номинативных языков, инфинитивы встречаются только в некоторых языках эргативного строя). В последней связи интересно и недавнее наблюдение, согласно которому среди типов инфинитива, которые существуют в диалектах индоевропейского, налицо по крайней мере два разных класса, отражающих два хронологически различных этапа в истории раз-

⁷ Ср.: С. Д. Кацнельсон, К генезису номинативного предложения, М., 1936, стр. 56; И. И. Мещанинов, Новое учение о языке. Стадиальная типология, Л., 1936, стр. 169—172, 244—250.

⁸ См.: Е. Курилович, Проблема классификации падежей, в его кн.: «Очерки по лингвистике», М., 1962, стр. 195—196; Э. Бенвенист, К анализу падежных функций: латинский генитив, в его кн.: «Общая лингвистика», М., 1974, стр. 162—164.

⁹ М. А. Габинский, Возникновение инфинитива как вторичный балканский языковый процесс (на материале албанского языка), Л., 1967, стр. 35.

вития инфинитива¹⁰. Количество аналогичных примеров без труда можно было бы увеличить.

Между тем, в мировом языковедении, и прежде всего в отечественном, уже существуют достаточно богатые традиции совмещения системного и исторического подходов в типологии.

Как известно, строгий системный учет разноуровневых языковых корреляций привел И. И. Мещанинова и его ближайших учеников к построению трех параллельных комплексов синтаксических и морфологических явлений, соотносившихся со структурами посессивного, эргативного и номинативного строя (впоследствии И. И. Мещанинов показал принципиальную совместимость двух первых из этих типов, отказавшись от особого выделения посессивности). В типологический комплекс эргативности были, в частности, включены такие признаки-координаты, как корреляция эргативной и абсолютной конструкций предложения, противопоставление эргативного и абсолютного падежей имени или функционально эквивалентных им эргативной и абсолютной серий личных показателей глагола, отсутствие морфологической категории залога у транзитивных глаголов и др. Составом иного набора структурных признаков-координат был представлен номинативный строй: единая номинативная конструкция предложения, противопоставление именительного и винительного падежей имени и т. д.¹¹ В последнее время на аналогичных принципах была предпринята попытка построения в рамках этой же континентально-типологической классификации системы активного строя. Ныне с включением в число типологизируемых уровней языка лексик принцип системного подхода получает в исторической типологии более последовательную реализацию.

Немало сделано и в плане внедрения в типологические исследования принципа историзма. Так, начиная еще с работ А. А. Потебни в отечественном языковедении отчетливо заявило о себе направление, стремящееся обосновать исторический характер лексических и грамматических категорий языка и руководимое идеей о подлинной эволюции, переживаемой этими категориями с ходом развития человеческого мышления. С течением времени все более очевидными становятся содержательные отличия профилирующих компонентов номинативной, эргативной, активной и других типологий, обнаруживающих совершенно различную степень приспособленности к передаче субъектно-объектных отношений действительности. По-видимому, глубоко прав А. Е. Супрун, подчеркнувший недавно мысль, согласно которой «именно содержательная сторона эволюции грамматических явлений представляет собой существо их развития»¹². Если согласиться с последним утверждением, то станет ясным, что подлинным мерлом языкового развития должен быть не количественный критерий (например, богатства или бедности соответствующей морфологической системы), а качественный (например, содержание, на передачу которого ориентирована морфология). В свете сказанного очень показательна, в частности, квалификация Н. В. Солнцевой китайского языка как пред-

¹⁰ R. J. Jeffers, Remarks on Indo-European infinitives, «Languages», 51, 1, 1975.

¹¹ См.: И. И. Мещанинов, Новое учение о языке. Стадиальная типология; его же, Структура предложения, М.—Л., 1963, стр. 34—81; его же, Эргативная конструкция в языках различных типов, Л., 1967.

¹² А. Е. Супрун, Типологический аспект сравнительно-исторических исследований, «Всесоюзная научная конференция по теоретическим вопросам языковедения. Тезисы докладов секционных заседаний», М., 1974, стр. 46.

ставителя номинативного строя¹³. Действительно, несмотря на факультативность в нем некоторых средств грамматического выражения, содержание последних (дифференцированность глаголов по признаку переходности — непереходности, противопоставление форм действительного и страдательного залога в переходном глаголе, характерный субъектный принцип глагольного «спряжения» и т. д.) обнаруживает профилирующую ориентацию элементов языковой парадигматики на передачу субъектно-объектных отношений, типичную для номинативных языков. Вместе с тем, думается, что встречающееся объяснение типологического разнообразия языков мира наличием в их распоряжении разнообразных средств выражения одного и того же содержания является во всяком случае недостаточным.

Наиболее существенный вклад в реализацию принципа историзма в типологических исследованиях был внесен отечественными языковедами еще в 30—40-х годах в ходе предпринятых ими настоячивых поисков универсальных закономерностей развития языковых структур, составивших одну из наиболее интересных страниц в истории советского языкознания. Убедившись в том, что сопоставление фрагментарных формально-типологических характеристик (прежде всего — в рамках так называемой «морфологической» классификации языков) не способно создать сколько-нибудь прочных оснований для развертывания исторической перспективы, они разработали принципиально отличную контенсивно-типологическую схему, предполагающую ориентацию своих параметров на способы передачи внеязыковых (субъектно-объектных) отношений действительности и более широкий охват системно взаимосвязанных явлений разных уровней языка. «Историческая школа языкознания, — писал в этой связи И. И. Мещанинов, — еще в XIX в. устанавливала преемственный ход развития языковых структур от аморфных к агглютинативным, затем флективным и, наконец, к аналитическим. В течение длительного ряда лет, то соглашаясь с этой схемой, то оспаривая ее в попытках заменить новой, мы в итоге пришли к иному рода структурным сопоставлениям: аморфность, посессивность, эргативность, номинативность»¹⁴.

Первостепенную теоретическую значимость для историко-типологических исследований проведенного таким образом разграничения формальной и контенсивной (содержательной, функциональной) схем едва ли возможно переоценить. Действительно, в настоящее время, по-видимому, только очень немногие языковеды будут настаивать на соотносимости таких формальных языковых типов, как аморфный, агглютинативный и флективный с последовательными ступенями развития мышления. Напротив, многих лингвистов не покидает убеждение в определенной исторической увязанности активного, эргативного, номинативного и других языковых типов с некоторыми коррелятами в сфере мышления¹⁵ (в свете достижений науки было бы, конечно, неправомерным придерживаться выдвигавшихся ранее упрощающих концепций одно-однозначного соответствия языкового типа определенному «типу мышления»).

¹³ См.: Н. В. Солнцева, Строй глагольного предложения в китайском языке, сб. «Языки Китая и Юго-Восточной Азии. Проблемы синтаксиса», М., 1971.

¹⁴ И. И. Мещанинов, Проблема стадийности в развитии языка, ИАН ОЛЯ, 1947, 3, стр. 174.

¹⁵ Ср.: Н. Н. Holz, Sprache und Welt. Probleme der Sprachphilosophie, Frankfurt-am-Main, 1953, стр. 111—124; G. Höp, Evolution der Sprache und Vernunft, Berlin — Heidelberg — New York, 1970; Р. А. Будагов, О предмете языкознания, ИАН ОЛЯ, 1972, 5, стр. 410; А. Н. Савченко, К вопросу о происхождении эргативной конструкции предложения, сб. «Иберийско-кавказское языкознание», XVIII, 1973, стр. 139—142; Г. А. Климов, Очерк общей теории эргативности, М., 1973; Н. F ä h n r i c h, Wesenzüge des georgischen Sprachbaus, «Wissenschaftliche Zeitschrift (Friedrich-Schiller-Universität, Jena)», 24 Jg., 5—6, 1975, стр. 621.

Поскольку лишь языковые типы, выделяемые в рамках континентально-типологической классификации, могут иметь некоторые корреляты в сфере мышления, только среди них правомерен поиск тех или иных структурных свидетельств языкового развития (и нередко лишь схематика этой классификации позволяет увидеть подлинное, иногда весьма внушительное типологическое расстояние, существующее между языками, объединяемыми формальной типологией в единый класс). Однако до сих пор почти не существует работ, которые стремились бы показать на конкретном материале, как смена этих языковых типов может быть увязана с развитием мышления.

Трудно отказаться от впечатления, что значимость развивавшейся И. И. Мещаниновым и его учениками концепции для построения определенной историко-типологической перспективы оказалась, особенно в 50 — начале 60-х годов, недооцененной. До недавнего времени встречались, например, работы, претендующие на разработку учения о предсказуемости типологических преобразований, которые даже не упоминают о существовании этой концепции (неудивительно, что типологический анализ в них обычно прямо отождествляется с контрастивно-грамматическим, основанным на сопоставлениях любых структурных явлений языков)¹⁶. Однако в целом развитие языкознания, характеризовавшееся в последние десятилетия стремительным расширением эмпирической базы исследования, а также более последовательным вовлечением в орбиту своего рассмотрения лексических признаков языковых типов, скорее свидетельствует о том, что выработанная в ней схема может послужить отправной точкой для более широких и убедительных построений будущего. Так, И. М. Дьяконов считает необходимым отметить в этой связи, что «гипотеза закономерной последовательной смены синтаксических строев, выдвигавшаяся представителями „нового учения о языке“, не была просто надуманной и беспочвенной схемой; как и всякая научная гипотеза, она имела основания в наблюдаемых эмпирических фактах, в том числе фактах из истории языков древнего Востока. В самом деле, однородность типологического развития, в частности, и развития от безглагольного строя через эргативный к номинативному, действительно может быть наблюдаема на значительных территориях в течение продолжительного времени для целых групп языков, при этом языков различного происхождения»¹⁷. Недавно была высказана точка зрения, согласно которой активный, эргативный и номинативный типы по степени приспособленности своих основных парадигматических компонентов к передаче субъектно-объектных отношений действительности могут быть выстроены лишь в единственной последовательности при минимуме такой приспособленности в активном типе и максимуме — в номинативном. Если это наблюдение будет всесторонне обосновано, то, естественно, возникнет задача исторической интерпретации соответствующего факта.

Сказанное, естественно, возвращает современную науку о языке к непредвзятому обсуждению проблем периодизации языкового развития. В настоящее время нельзя не отдавать себе отчета в некорректности некоторых важнейших возражений в адрес стадильных концепций (достаточно заметить, например, что невозможность отнесения языка к совокупности надстрочных явлений еще не предопределяет невозможности его поэтапного развития). В то же время другие возражения направлялись против тех или иных частных слабостей существовавших историко-типологических построений. Поэтому слабости или по крайней мере недо-

¹⁶ Ср., например: G. Altman, W. Lehfeldt, *Allgemeine Sprachtypologie. Prinzipien und Messverfahren*, München, 1973.

¹⁷ И. М. Дьяконов, *Языки древней Передней Азии*, М., 1967, стр. 10.

статочная убедительность известных решений проблемы стадийности языкового развития не смогли скомпрометировать самого направления научного поиска. Как справедливо подчеркивается в предисловии к переизданию избранных работ И. И. Мещанинова, «разработка этой проблемы остается актуальной до настоящего времени и в модифицированном виде идея наличия общих закономерностей в развитии языков пронизывает типологические исследования на их современном этапе (выявление универсальных свойств языка, использование типологических сопоставлений, ведущихся в синхронном плане, в целях диахронических и т. п.)»¹⁸.

Вместе с тем, в истории языкознания постоянно сохранился и соблазн построения историко-типологических гипотез как таковых. Публикации последнего десятилетия свидетельствуют, в частности, о том, что целый ряд советских языковедов не утратил интереса к глоттогонической проблематике.

Следует заметить, что и в современном зарубежном языкознании популярность мысли о необходимости стадийных концепций в области типологии шире, чем это может показаться на первый взгляд. «Во всяком состоянии языка, — писал Л. Ельмслев, — есть отголоски предшествующего состояния и зачатки состояния в становлении, которое лишь едва и расплывчато брезжит. Несколько систем в потенция вырисовываются на экране языка рядом с реализованной системой... Если абстрагироваться от наших знаний или гипотез, касающихся эволюции, невозможно решить, являются ли эти потенциальные системы возникающими или отживающими...»¹⁹. Затрагивая проблему смены языковых типов, Дж. Гринберг придерживается мнения, что важной задачей типологии является «тщательное исследование преобразования типов с целью установления ограничений, накладывающихся на последовательность типов» и что «подобные знания, несомненно, обогащают наше понимание историко-лингвистического изменения и наши способности к предсказанию, поскольку с точки зрения некоторой синхронной системы одно развитие окажется в высшей степени вероятным, другое будет иметь меньшую вероятность, и, наконец, третье может быть практически исключенным»²⁰. Аналогичное высказывание принадлежит Э. Бенвенисту, согласно которому «являть не мешает предполагать, ... что лингвисты смогут обнаружить в языковых структурах законы преобразований, подобные тем, которые в рационалистских схемах символической логики позволяют переходить от данной структуры к производным структурам и определять постоянные соотношения между ними»²¹. Сходные формулировки нетрудно найти и в работах таких авторов, как А. Соммерфельд, У. Энтвисл, Г. Гольд, Т. Милевский и др.

Более того, отдельным западным лингвистам уже в настоящее время проблема представляется в принципе решенной положительно. Так, например, Дж. Бонфанте пишет: «Все языки мира обнаруживают определенные тенденции, следуют линии определенной эволюции; они проходят определенные стадии развития, так же как человечество проходит или проходило через каменный век, бронзовый век, железный век и т. д... Некоторые примитивные племена сохранили более или менее примитив-

¹⁸ См.: «Иван Иванович Мещанинов (1883—1967)», в кн.: И. И. Мещанинов, Проблемы развития языка, М., 1975, стр. 8.

¹⁹ L. Hjelmslev, Accent, intonation, quantité, «Studi baltici», 6, 1937, стр. 42—43; ср.: его же. Le langage, стр. 129.

²⁰ J. H. Greenberg, The nature and uses of linguistic typologies, IJAL, 23, 2, 1957, стр. 77; ср.: его же. The typological method, стр. 186.

²¹ Э. Бенвенист, Классификация языков, «Новое в лингвистике», III, стр. 59.

ный тип языка, не обнаруживающий изменений, которые ныне выявляют языки более развитых народов»²².

Следует заметить, однако, что подобные высказывания все еще редко оказываются итогом специальной работы того или иного лингвиста в сфере глоттогонической проблематики. Как правило, они полностью основаны на его исследовательской интуиции. Для того чтобы эти положения не оставались декларативными, необходимо установить общие и частные закономерности типологических преобразований на самом разнообразном языковом материале. Сказанное свидетельствует о том, что сам вопрос о периодизации языкового развития едва ли может быть снят с повестки дня лингвистического исследования.

Одним из очевидных недостатков историко-типологических исследований остается неразработанность методического аппарата типологической реконструкции. Можно надеяться, что серьезную предпосылку к его усовершенствованию составит обращение (конечно, при условии соблюдения специфики самого типологического подхода) к методике генетической реконструкции. Чрезвычайно важно, например, отказаться от абсолютизации понятий типологического архаизма и инновации и осознать их релятивность по отношению к конкретным языковым типам (так, если в языках активного, а особенно — эргативного и номинативного строя наблюдается постепенное сокращение удельного веса проявлений оппозиции одушевленности — неодушевленности, то в классных языках типа банту, как показывают работы советских африканистов, он, напротив, возрастает). Корректность типологической реконструкции немыслима без строгого учета существующих между разноразновными явлениями языка иерархических взаимоотношений. При этом прежде всего необходимо помнить о первичности лексического и вторичности грамматического, а также о подчиненном положении морфологии по отношению к синтаксису (последний тезис, успешно развивавшийся еще в трудах наших лингвистов 30—40-х годов, в настоящее время завоевал широкую популярность и в зарубежных исследованиях²³). Нетрудно видеть, что именно благодаря этим зависимостям диахроническая типология обретает определенные ориентиры в разработке относительной хронологии структурных преобразований. Изучение функциональных особенностей архаизмов и инноваций, свойственных языковым типам, способно обнаружить тенденции их развития. В этом плане очевидна важность замечания ряда лингвистов о том, что в историко-типологических штудиях вопрос о развитии языковой структуры в рамках единого языкового типа все еще обычно остается в тени²⁴.

Во многом поучительные уроки развития историко-типологических исследований не должны быть забыты. Они свидетельствуют о том, что это направление работ будет в состоянии справиться со своими задачами только при условии сохранения к ним устойчивого интереса со стороны языковедов. В последней связи обнадеживает то обстоятельство, что историческая типология оказалась ныне в сфере действия такого мощного и, надо полагать, долговременного фактора, каким является решительный поворот языкознания от формально ориентированных концепций к внимательному изучению содержательной стороны языка.

²² См.: «Encyclopedia of psychology», New York, 1946, стр. 844.

²³ Ср., например: T. Givón, Historical syntax and synchronic morphology: An archeologist's field trip, «Papers from the Seventh regional meeting. Chicago Linguistic Society», 1971; W. P. Lehmann, A structural principle of language and its implications, «Language», 49, 1, 1973, стр. 57; D. Ingram, A note on word order in Proto-Salish, IJAL, 41, 2, 1975.

²⁴ Ср.: Р. А. Будагов, Проблемы развития языка, стр. 58; L. Hjelmslev, Le langage, стр. 128—129.

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

В. М. СОЛНЦЕВ

ОТНОСИТЕЛЬНО КОНЦЕПЦИИ «ГЛУБИННОЙ СТРУКТУРЫ»

В лингвистических работах (зарубежных и отечественных) последнего времени довольно часто встречается понятие «глубинная структура», противопоставленное понятию «поверхностная структура». Существуют и специальные работы, посвященные понятию глубинной структуры¹. Обе эти структуры одновременно приписываются предложениям и словосочетаниям того или иного языка. Вследствие этого каждое предложение или словосочетание предстает как бы в двуслойном виде: сверху — доступная восприятию так называемая поверхностная структура, в глубине — недоступная прямому восприятию и поэтому постулируемая на основании косвенных данных глубинная структура. Эта глубинная структура, как принято считать, лежит в основе поверхностной, но не совпадает с ней полностью. Одна и та же поверхностная структура может соответствовать двум разным глубинным структурам, например, выражение *the shooting of the hunters* может быть истолковано двояко: «стрельба охотников» и «расстрел охотников» (эти два выражения представляют, как считают, две разные глубинные структуры). И, наоборот, двум разным поверхностным структурам может соответствовать одна и та же глубинная структура, как в выражениях *приход учителя* и *учитель пришел* (разные поверхностные структуры), где и в первом, и во втором случае можно обнаружить обозначение субъекта действия — *учитель* и самого действия — *приход* и *пришел*, что свидетельствует, как считают сторонники концепции глубинной структуры, о единой глубинной структуре, общей для указанных выше словосочетания и предложения.

Существуют разные интерпретации понятия «глубинная структура»². В генеративной лингвистике Н. Хомского (и в работах этого же или других «генеративных» направлений) под глубинной структурой понимается некое семантическое или понятийное образование, служащее исходной точкой для порождения поверхностных структур — словосочетаний и предложений³.

¹ См., например: Л. С. Бархударов, К вопросу о поверхностной и глубинной структуре предложения, ВЯ, 1973, 3; И. П. Сусов, Глубинные аспекты семантики предложения, сб. «Проблемы семантики», М., 1974; М. Я. Блох, О различных так называемых глубинной и поверхностной структур предложения, сб. «Теоретические проблемы синтаксиса современных индоевропейских языков», Л., 1975; Л. З. Сова, Аспекты глубинной структуры, там же.

² По этому поводу см.: Л. С. Бархударов, указ. соч., стр. 55—56.

³ Некоторые авторы считают, что «мы получаем бесспорные преимущества, рассматривая глубинную структуру как семантический генератор...» (Ю. В. Ванин-ков, О некоторых актуальных проблемах семантики, сб. «Проблемы семантики», стр. 45).

Разновидностью концепции глубинной структуры генеративного направления является концепция «семантических структур» У. Л. Чейфа⁴, по мнению которого «говорящий „порождает“ сначала семантическую структуру, и именно семантическая структура определяет то, что происходит в дальнейшем»⁵.

У авторов, не причисляющих себя к генеративному направлению, глубинные структуры, по утверждению Л. С. Бархударова, представляют собой «функционально значимые абстрактные синтаксические модели, реальными проявлениями которых являются структуры поверхностные, находящиеся друг с другом в вариативных отношениях»⁶.

Следует заметить, что между «генеративной» и «негенеративной» интерпретацией глубинной структуры не всегда имеется четкая разница. Некоторые авторы, определяя глубинную структуру как «отвлеченную структурную схему», отмечают, что «понятие „отвлеченной структурной схемы“, „образца построения“ по существу сходно с понятием „глубинного предложения“, о котором писали применительно к английскому языку В. Ингве и Н. Хомский»⁷.

У всех разновидностей понятия глубинной структуры «генеративной» интерпретации отношения между глубинной и поверхностной структурой суть отношения порождения: поверхностная структура с помощью набора трансформационных правил порождается глубинной структурой. При «негенеративном» истолковании глубинной структуры ее отношение с поверхностной иногда оценивается как отношения сущности и явления. Л. С. Бархударов пишет: «Нам представляется, что понятия поверхностной и глубинной структуры предложения находятся друг с другом в отношении, которое марксистская философия устанавливает для категорий явления и сущности»⁸.

При любой интерпретации понятия глубинной структуры допущение наличия у словосочетаний и предложений двух видов не всегда совпадающих структур — поверхностной и глубинной, логически предполагает раздвоение процесса речеобразования (т. е. образования словосочетаний и предложений) на два процесса — поверхностный и глубинный, которые разворачиваются одновременно или «почти» одновременно. Об одновременном протекании этих процессов, очевидно, можно говорить при «негенеративной» трактовке глубинной структуры как «функционально значимой абстрактной синтаксической модели». О «почти» одновременном протекании этих процессов приходится говорить при «генеративной» трактовке глубинной структуры: если поверхностная структура порождает глубинной, то глубинная в каком-то смысле и в какой-то мере должна предшествовать поверхностной (ср. у У. Л. Чейфа: «говорящий „порождает“ сначала семантическую структуру...», стр. 75).

Раздвоенность речеобразования на два параллельных одно- или одновременно протекающих процесса по меньшей мере не очевидна. Допущение такой раздвоенности создает ряд теоретических трудностей, на часть из которых указал В. Г. Адмони⁹. Разбирая основные положения генеративной (порождающей) грамматики Н. Хомского, В. Г. Адмони отметил

⁴ «...я не видел, да и теперь не вижу каких-либо оснований для отождествления глубинной структуры с чем-нибудь, кроме семантической структуры» (У. Л. Чейф, Значение и структура языка, М., 1975, стр. 21).

⁵ Там же, стр. 75.

⁶ Л. С. Бархударов, указ. соч., стр. 56.

⁷ См.: Н. Ф. Иртеньева, Информативное членение предложения, сб. «Теоретические проблемы синтаксиса современных индоевропейских языков», стр. 29.

⁸ Л. С. Бархударов, указ. соч., стр. 57.

⁹ См.: В. Г. Адмони, Опыт классификации грамматических теорий в современном языкознании, ВЯ, 1971, 5, стр. 41—45.

психофизиологическую немотивированность реальности трансформационных операций, используемых для перехода от глубинных структур к поверхностным, а также обратил внимание на невозможность рассмотрения соотношения глубинных и поверхностных структур «как иерархической грамматической системы», поскольку «... грамматическая система языка не может быть построена, если ее компоненты принадлежат разным временным пластам, а всякое порождение предполагает хотя бы минимальное (мгновенное) предшествование порождающего порождаемому. Грамматическая система существует как соотношение между одновременно находящимися в наличии структурами...»¹⁰.

Признание глубинных структур «абстрактными синтаксическими моделями» не дает убедительного ответа на вопрос, почему одной глубинной структуре (= абстрактной синтаксической модели) могут соответствовать разные поверхностные структуры, т. е. фактически разные синтаксические модели, например, модель атрибутивного словосочетания (*приход учителя*) и модель предложения (*пришел учитель*), и, наоборот, почему разные глубинные структуры (= абстрактные синтаксические модели) могут реализовываться в одной и той же поверхностной структуре, т. е. фактически в одной синтаксической модели. Утверждения о том, что реальным проявлением глубинных структур «являются структуры поверхностные, находящиеся друг с другом в вариативных отношениях»¹¹, не меняет положения дел, поскольку отношения между такими единицами как словосочетание и предложение (или между моделями словосочетания и предложения) никак не могут быть признаны вариативными¹². Не очевидна также трактовка соотношения поверхностных и глубинных структур как явления и сущности. Так, если поверхностную атрибутивную структуру *приход учителя* считать явлением, то неясно, почему сущностью этого явления должно быть фактически предикативное соотношение субъекта и действия, образующих, как принято считать, глубинную структуру названного словосочетания.

Концепция глубинной структуры в современном языкознании имеет как сторонников, полагающих, что «грамматическая теория не должна ограничиваться описанием лишь одной поверхностной структуры предложения, но должна идти дальше, от поверхностной структуры к глубинной»¹³, так и противников, считающих, что «особенно настораживает то, что «реально принадлежащие языку структуры объявляются „поверхностными“, а собственно грамматическими, „глубинными“ признаются структуры, реконструируемые лингвистом на основе своей собственной теории — пусть стройной, но основанной на чисто умозрительных предположениях»¹⁴.

*

Понятия глубинной и соответственно поверхностной структуры вошли в терминологический репертуар языкознания, по-видимому, в конце

¹⁰ Там же, стр. 43.

¹¹ Л. С. Бархударов, указ. соч., стр. 56.

¹² В самом деле, вариативные отношения, как известно, существуют только между функционально тождественными единицами. Что же касается словосочетания и предложения, то это как раз функционально разные единицы: функция словосочетания та же, что и у слова — номинация, а функция предложения — коммуникация. По этой причине невозможно признать отношения между словосочетаниями и предложениями вариативными.

¹³ Л. С. Бархударов, указ. соч., стр. 56.

¹⁴ Н. Ю. Шведова, Существуют ли все-таки детерминанты как самостоятельные распространители предложения?, ВЯ, 1968, 2, стр. 41.

50-х годов. По свидетельству Л. С. Бархударова, понятия «глубинной» и «поверхностной» грамматики, с которыми связываются понятия глубинной и поверхностной структуры, были впервые введены в научный обиход Ч. Хоккетом в 1958 г.¹⁵

С первой половины 60-х годов понятие глубинной структуры становится одним из важнейших понятий генеративной теории Н. Хомского, заменяя понятие «ядерных предложений», использовавшееся в его работах 50-х годов для обозначения исходного пункта трансформационного порождения¹⁶. Поскольку понятие глубинной структуры более всего ассоциируется с генеративной теорией, познанием подробнее с трактовкой этого понятия в работах Н. Хомского.

Н. Хомский вводит понятие глубинной структуры со ссылкой на «теорию Пор-Рояля». «Эта теория, — пишет Н. Хомский, — утверждает, что лежащая в основе глубинная структура, с ее абстрактной организацией языковых форм, «дана уму», в то время как сигнал с его поверхностной структурой производится или воспринимается телесными органами. А трансформационные операции, связывающие глубинную и поверхностную структуру, являются действительными операциями, выполняемыми умом, когда предложение производится или понимается»¹⁷. Н. Хомский вводит понятие глубинной структуры методом «показа», не давая определения того, что такое глубинная структура. Он пишет: «... поверхностная структура предложения *A wise man is honest* „Мудрый человек честен“ могла бы дать разложение этого предложения на субъект *a wise man* „мудрый человек“ и предикат *is honest* „честен“. Глубинная структура, однако, будет несколько иной. Она, в частности, извлечет из сложной идеи, которая составляет субъект поверхностной структуры, лежащее в его основе суждение с субъектом *man* „человек“ и предикатом *be wise* „быть мудрым“»¹⁸. Таким образом, получается, что поверхностному атрибутивному словосочетанию *a wise man* «мудрый человек» соответствует глубинная структура *a man is wise* «человек мудр». Почему это так — Н. Хомский прямо не объясняет. Объяснением такого положения вещей, по-видимому, должна служить отсылка к теории Пор-Рояля, упомянутой выше¹⁹. Из изложения Н. Хомского следует, что глубинная структура есть некоторое мыслительное образование, которое связано трансформационными переходами с поверхностной структурой — некоторым звуковым образованием. Глубинная структура в изложении Н. Хомского ведаёт формированием смысла предложения, а поверхностная — звуковым воплощением этого смысла. Глубинная структура, таким образом, выступает как некое дозвуковое, а стало быть дословесное образование, хотя, иллюстрируя глубинную структуру, Н. Хомский представляет ее как отношение вполне реальных слов (см., например, иллюстрацию глубинной структуры атрибутивного словосочетания *a wise man* в виде суждения с субъектом *a man* и предикатом *be wise*). Система правил, с помощью которых мыслительные (смысловые) образования вступают в связь со звуковыми образованиями, и составляет, по Н. Хомскому, грамматику. Сам он пишет: «Грамматика языка, в том смысле, в каком я употребляю этот

¹⁵ Л. С. Бархударов, указ. соч., стр. 55.

¹⁶ Так, в работе «Синтаксические структуры» (S-Gravenhage, 1957, русск. перевод в кн. «Новое в лингвистике», II, М., 1962) Н. Хомский отмечал, что двусмысленность выражения *the shooting of the hunters* есть «следствие того, что отношение между *shoot* и *hunters* различно в двух исходных ядерных предложениях» (стр. 501 русск. изд.).

¹⁷ Н. Хомский, Язык и мышление, М., 1972, стр. 29—30.

¹⁸ Там же, стр. 40.

¹⁹ Сам Н. Хомский отмечает, что «теория глубинной и поверхностной структуры Пор-Рояля... как исследование свойств нормального человеческого интеллекта относится к психологии» (там же, стр. 30).

термин, в общих чертах может быть охарактеризована как система правил, которые выражают соответствие между звуком и значением в языке»²⁰. Такое понимание грамматики, связанное с концепцией глубинной и поверхностной структуры, совершенно отлично от обычного понимания грамматики как системы или набора правил, регулирующих отношения между двусторонними единицами, т. е. единицами, включающими в себя и звук, и значение. По Н. Хомскому получается, что грамматика должна вестись отношениями между разными сторонами языковых единиц. Такая грамматика, если она существует, лежит в иной плоскости, чем грамматика, ведающая отношением двусторонних единиц. Но это — в теории. На практике же Н. Хомский оперирует только двусторонними единицами и их отношениями²¹. На практике глубинные структуры выступают в его работах как элементарные сочетания слов, обычно предикативного характера, к которым, может быть, больше подходит употреблявшийся раньше термин «ядерные предложения».

Понятие «ядерных предложений» вполне применимо для обозначения простейших, существующих в каком-либо языке реальных предложений. Однако вряд ли без риска вызвать полное несогласие можно утверждать, что поверхностной структуре — атрибутивному словосочетанию *честный человек* соответствует в глубине «ядерное предложение» *человек честен*, которое образует его глубинную структуру. Видимо, поэтому Н. Хомский предпочитает говорить, что глубинная структура есть «... система... суждений, ни одно из которых не утверждается, но которые взаимосвязаны таким образом, чтобы выразить значение предложения»²².

Отсутствие достаточных разъяснений о том, что же такое глубинная структура, побудили В. А. Звегинцева отметить, что глубинная структура, по-видимому, в значительной мере логической природы, что она напоминает понятийные категории О. Есперсена и скрытые категории Б. Уорфа, но что она требует еще внимательного рассмотрения, «тем более, что судя по всему, и сам Н. Хомский не очень отчетливо представляет себе ее существо»²³.

*

Итак, что же такое глубинная структура? Можно ли дать утвердительный ответ о реальном существовании глубинной структуры? Если нет, то какова та область и совокупность языковых фактов и явлений, которые побуждают многих лингвистов вводить в лингвистический анализ понятие глубинной структуры и говорить о нем, как о чем-то реальном?

По мнению У. Л. Чейфа, теория, по которой предложения имеют не только поверхностные, но и глубинные структуры, была разработана

²⁰ N. Chomsky, Deep structure, surface structure, and semantic interpretation, «Studies in general and oriental linguistics», Tokyo, 1970, стр. 52.

²¹ Вряд ли вообще теоретически оправдано понимать грамматику языка как некие правила, устанавливающие или регулирующие отношения между звуками и значениями. Проблема связи звука и значения — это лишь одна из научных проблем, находящаяся на стыке ряда наук — лингвистики, психологии, нейрофизиологии. Она не имеет прямого отношения к грамматике, понимаемой как система правил употребления единиц языка. Все единицы языка, находящиеся в ведении грамматики, — это двусторонние единицы, состоящие из звуковой и смысловой стороны. (Односторонними единицами — фонемами, занимается, как известно, особая отрасль лингвистики — фонология.) Именно эти единицы, комбинируясь друг с другом, образуют более сложные единицы, и именно из двусторонних единиц образуется то, что называют речью. Грамматика в обычном смысле как раз и занимается изучением всех видов комбинаторики двусторонних единиц, а не отношениями звука и значения. Связь значений и звуков — это скорее семиотическая, а не грамматическая проблема.

²² Н. Хомский, Язык и мышление, стр. 39—40.

²³ В. А. Звегинцев, Предисловие к кн.: Н. Хомский, Аспекты теории синтаксиса, М., 1972, стр. 7.

для того, чтобы учесть факты близости значений активных и соответствующих им пассивных предложений (типа *John admires sincerity* и *Sincerity is admired by John*), факты многозначности предложений типа *Flying planes can be dangerous* «Летающие самолеты могут быть опасны» и «Летать на самолетах может быть опасно», а также другие подобные факты²⁴. К числу других фактов можно отнести упомянутые в начале пары сочетаний типа *пришел учитель* и *приход учителя*, где «на поверхности» между словами в этих выражениях существуют соответственно атрибутивное и предикативное синтаксические отношения, а «в глубине» как будто бы одинаковое соотношение: действие — субъект. Правда, в одном случае «на поверхности» действие представлено глаголом, обозначающим его как процесс, протекающий во времени, во втором же случае действие представлено именем существительным (отглагольным существительным), обозначающим его как предмет мысли, как его наименование, название.

От этого различия сторонники концепции глубинной структуры обычно отвлекаются, полагая, что в обоих случаях имеется одна и та же глубинная или смысловая структура²⁵. Если действительно у указанной пары словосочетания и предложения имеется одна и та же глубинная структура, то следует усомниться в положении генеративной теории о том, что глубинная структура «задает семантическую интерпретацию» высказыванию. Ведь выражение *приход учителя* понимается отлично от выражения *пришел учитель* фактически в соответствии с особенностями их «поверхностной структуры», а именно в соответствии с тем, что в первом случае имеется атрибутивное словосочетание, стоящее в ряду сатрибутивными словосочетаниями типа *дом учителя*, *портфель учителя* и т. п., во втором же случае имеется предложение, повествующее о некоем произошедшем событии.

В какой мере можно считать, что разбираемые два выражения имеют одинаковую глубинную или семантическую структуру, — это достаточно открытый для дискуссии вопрос. Аналогично можно поставить вопрос: одинаково ли семантическое содержание (значение) таких пар слов, как: *приходит* и *приход*, *бег* и *бежать*, *чистить* и *чистка*, *читать* и *читка* и т. п. и т. д.? Полное тождество смыслового содержания во всех указанных случаях вряд ли имеет место. Тем не менее невозможно отрицать и наличие общего в значениях таких пар, как *приход учителя* и *пришел учитель*. За счет чего и как возникает это общее?

Как известно, полнозначное слово вне речи (вне предложения), взятое как единица словарного состава, имеет ряд значений, которые слиты воедино и различаются исследователями лишь при научном анализе. Можно указать три вида таких значений: во-первых, индивидуальное лексическое значение, присущее только данному слову и отличающее его от всех других слов какого-либо языка; во-вторых, общее грамматическое значение, которое наряду с данным словом присуще и целому классу слов (значение части речи); в-третьих, значение подкласса — общее значение для разрядов слов, на которые распадаются классы слов, или части речи (например, в русском языке: одушевленность и неодушевленность у существительных, переходность и непереходность у глаголов и т. д.). Последний вид значения иногда называют лексико-грамматическим значением.

Грамматическое (синтаксическое) поведение слова в речи (в предложении) регулируется общеграмматическим значением слова как части речи,

²⁴ У. Л. Чейф, указ. соч., стр. 78.

²⁵ Ср. утверждение Л. З. Сова о том, что выражения *the doctor's arrival* и *the doctor arrived* «имеют одну и ту же смысловую структуру» (см.: Л. З. Сова, указ. соч., стр. 58).

а также значениями различных словоформ (как в русском языке). В зависимости от своего грамматического значения слово вступает в те или иные синтаксические отношения с другими словами и наделяется в предложении теми или иными функциями. В терминах традиционной грамматики — это функции различных членов предложения: подлежащего, сказуемого, дополнения, определения, обстоятельства. Лексическое значение слова не влияет на установление синтаксических связей этого слова с другими словами, но значение слова как подкласса имеет прямое отношение к грамматическому использованию слова. Например, в русском и ряде других языков пассивная конструкция образуется при участии переходных глаголов и не образуется с участием непереходных глаголов.

Входя в состав предложения, которое можно рассматривать как некоторую систему, и становясь членами предложения, слова приобретают, как известно, особые значения, которых они не имеют вне предложения. Это значения субъекта, объекта, предиката и т. п. Например, слово *дерево* вне предложения не является ни субъектом, ни объектом. В составе предложения *Дерево растет* это слово приобретает значение субъекта действия, а в составе предложения *Я вижу дерево* это же слово приобретает значение объекта. Эти значения, появляющиеся у слов как у членов предложения (или компонентов систем), являются функциональными, поскольку связаны с приобретением словом определенной функции. Между функцией слова как члена предложения и его функциональным значением существует обязательная зависимость (слово приобретает функциональное значение, становясь членом предложения), но нет жесткого однозначного соответствия. Например, слово в функции подлежащего может иметь значение как субъекта, так и объекта (например, в пассивных предложениях). То, что слово, употребляясь в некоторой функции, например, в роли подлежащего, может иметь разные функциональные значения, объясняется тем, что возникновение функциональных значений обусловлено не только взаимодействием слов как частей речи (представителей классов), определяющим синтаксические связи и функции слов как членов предложения, но и взаимодействием слов как представителей подклассов, а также значением и взаимодействием словоформ, участвующих в данном построении. Сказанное можно показать на известных примерах из русского языка: *Братья переписываются* и *Письма переписываются*. Общие значения и свойства существительных *братья* и *письма* как частей речи определяют (благодаря взаимодействию с глаголом *переписываются*) их функции как подлежащих. В то же время их принадлежность к разным подклассам (в классе существительных) и, соответственно, разные «подклассные» значения и свойства обуславливают их разные функциональные значения. В первом предложении слово *братья* имеет значение субъекта действия, во втором предложении слово *письма* имеет значение объекта действия. В данном случае различие функциональных значений слов определяется значением подклассов слов. В этих примерах у слов одинаковы их классные значения и одинаковы их формы. В некоторых случаях различие функциональных значений целиком обусловлено разным значением словоформ. Так, различие функциональных значений подлежащего в предложениях *Мальчик побил* (подлежащее — субъект) и *Мальчик побит* (подлежащее — объект), обусловлено наличием в предложениях разных глагольных форм — активного и страдательного залога.

То, что слова в составе предложений приобретают значения, которых у них нет вне предложений, достаточно очевидный и известный факт. Это фактически отмечает и Н. Хомский, когда он вводит так называемые «функциональные понятия», которые он называет «относительными по своей природе» и противопоставляет «грамматическим категориям» (фак-

тически классам слов, или частям речи). Функциональные значения для Н. Хомского — это субъект, предикат и т. д.²⁶ Примерно те же понятия, но несколько иначе названные («агенс», «паценс», «орудие действия», «адресат действия»), выделяют другие исследователи, например, И. П. Сусов в качестве «денотатов синтаксических выражений»²⁷. И. П. Сусов называет их «элементарными синтактико-семантическими единицами» и предлагает обозначать термином «релятема». Он отмечает, что «сущность релятемы заключается в ее соотношенности с одним из моментов в строении ситуации или системы отношений, отображаемой в целом в реляционной структуре»²⁸. По его мнению, «релятемы являются единицами самого глубокого уровня синтаксической семантики»²⁹. (Ниже я еще вернусь к вопросу о глубинности этих понятий.)

Те же понятия («субъект», «объект», «инструмент», «средство» и т. п.) Ю. Д. Апресян называет «частями лексических значений слов»³⁰. С этим вряд ли можно согласиться. Эти понятия — не часть лексического значения, а те значения, которые слова приобретают в системе (в предложении), взаимодействуя с другими словами, и утрачивают их полностью вне этой системы³¹.

Функциональные значения (субъекта, объекта, действия, адресата и т. п.) суть обобщенные понятия, в которых отображены компоненты реальных или мысленных ситуаций. В этих понятиях отображается в обобщенном виде роль тех или иных предметов и явлений в реальных или мысленных ситуациях, о которых что-либо сообщается в предложении. Так, в предложении *Лошадь бежит* роль лошади как реального производителя действия в описываемой ситуации отображена в значении субъекта, которое имеет существительное *лошадь*. Поэтому указанные значения, может быть, следует именовать ситуационными³².

Как отмечалось выше, приобретение словами функциональных значений происходит на основе их значений как подклассов слов (если только в данном построении не нейтрализованы различия подклассов, в этом случае функциональное значение возникает непосредственно как результат взаимодействия классов слов), а также иногда и значений словоформ.

В некоторых случаях функциональное значение у слов возникает как бы вопреки тем синтаксическим связям, в которые они вступают как представители грамматических классов. Так, в примере *приход учителя* классная принадлежность слов (а также их словоформы) обуславливает нали-

²⁶ См.: Н. Хомский, Аспекты теории синтаксиса, стр. 65—66. Следует согласиться с Н. Хомским в том, что эти значения относительно по своему характеру в том смысле, что они появляются у слов только тогда, когда слова становятся в определенные отношения друг с другом.

²⁷ И. П. Сусов, указ. соч., стр. 59—62.

²⁸ Там же, стр. 60—61.

²⁹ Там же, стр. 62.

³⁰ Ю. Д. Апресян, Лексическая семантика, М., 1974, стр. 120.

³¹ Трактовку функциональных значений как системоприобретенных свойств слов в отличие от значений классов как системообразующих свойств слов см.: В. М. Солнцев, Язык как системно-структурное образование, М., 1971, стр. 207—210.

³² Значения, о которых идет речь, являются в полной мере ситуационными в тех случаях, когда они обнаруживаются у слов как членов предложений, участвующих в формировании предикативного центра. В этих случаях в данных значениях непосредственно отображаются компоненты реальных или мысленных ситуаций, о которых идет речь в соответствующем предложении. В то же время эти значения продолжают быть функциональными. Поэтому эти значения можно определить как функционально-ситуационные. В тех случаях, когда значения субъекта, объекта и т. д. обнаруживаются у членов словосочетаний и членов предложений типа определений, не участвующих непосредственно в формировании предикативного центра предложения, эти значения не отображают прямо компонентов ситуации. Их можно по-прежнему называть функциональными, но нецелеобразно — ситуационными.

чие атрибутивной связи между словами. В то же время мы видим, что *учитель* как бы «по смыслу» является субъектом по отношению к действию, представленному здесь как предмет мысли отглагольным существительным *приход*. Возникновение здесь данных функциональных значений не обусловлено классными свойствами слов. Но оно не есть также результат взаимодействия только лексических значений слов. Возникновение соответствующих значений связано с тем, что в основе отглагольного существительного *приход* лежит идея непереходного действия. При возникновении функциональных значений в подобных словосочетаниях вообще часто проявляется подклассная принадлежность тех глаголов, от которых образуется отглагольное существительное или причастие. Ср. *купленная книга* и *лежащая книга*, где в первом случае *книга* — объект (поскольку страдательное причастие *купленный* происходит от переходного глагола), а во втором — субъект (так как причастие *лежащий* произведено от непереходного глагола)³³.

В атрибутивных словосочетаниях указанные функциональные значения возникают обычно благодаря тому, что определение выражено теми или иными отглагольными словами (*приход* — *приходить*, *купленная* — *покупать*, *лежащая* — *лежать*). Эти функциональные значения в рамках атрибутивного словосочетания можно назвать сопутствующими, поскольку всякое атрибутивное словосочетание состава «определение — определяемое» имеет собственные функциональные значения «признак — носитель признака». Если определение выражено любым неотглагольным словом (существительным, прилагательным и т. д.), то сопутствующих функциональных значений не возникает³⁴. Не возникает в этом случае также расхождения между синтаксическими связями слов и соотношением их функциональных значений («определению» соответствует значение «признака», а «определяемому» — «носителя признака»).

Мы можем констатировать, что в рамках различных синтаксических связей слов функциональные значения слов вступают в соотношения, которые либо согласуются с данной синтаксической связью, как, например, в случае *Мальчик купил книгу*, где синтаксической схеме «подлежащее — сказуемое — дополнение» соответствует соотношение функциональных значений «субъект — действие — объект»³⁵, либо не согласуются, как при возникновении сопутствующих функциональных значений в атрибутивных словосочетаниях.

Согласование синтаксической связи слов с соотношением функциональных значений тех же слов имеет место тогда, когда функциональное значение есть основное значение, приобретаемое словом в данном синтаксическом построении. В том случае, когда функциональное значение есть значение сопутствующее, возникает несогласование синтаксической связи

³³ Ср. в китайском языке: наличие в определении переходного глагола (*май ды шу* «купленная книга»; букв. «покупать» + атрибут. показ. + «книга») придает определяемому существительному объектное значение, а наличие в определении непереходного глагола (*май ды жань* «пришедший человек»; букв. «приходить» + атрибут. показ. + «человек») придает определяемому существительному субъектное значение. Появление этих значений у существительных связано с их подклассным значением.

³⁴ Как мы видели выше, Н. Хомский любому атрибутивному словосочетанию приписывает глубинную структуру по существу предикативного характера; так, поверхностной структуре *a wise man* приписывается глубинная — *a man is wise*. В этом случае глубинная структура не есть соотношение значений, присущих словам данного образования, а просто иная синтаксическая конструкция.

³⁵ В пассивных предложениях схеме «подлежащее — сказуемое — косвенное дополнение» обязательно соответствует, как известно, иное соотношение функциональных значений: «объект — действие — субъект». Для пассивных предложений это также есть согласование синтаксической схемы и соотношения функциональных значений. «Сигналом» такого согласования является залоговая форма глагола.

и соотношения функциональных значений. С этой точки зрения, в словосочетаниях типа *купленная книга* и т. п. следует говорить о двух видах функциональных значений — основных (признак — носитель признака) и сопутствующих (переходное действие — объект). В первом случае синтаксическая связь согласуется с соотношением функциональных значений, а во втором — нет.

Функциональные значения слов (основные и сопутствующие) и их отношения и составляют ту область или сферу языковых фактов и явлений, на основании которых говорят о глубинных явлениях, глубинном синтаксисе, глубинных структурах.

Надо сказать, что эти, как их называют, глубинные явления вскрываются отнюдь не «только путем сопоставления данного предложения с другими, семантически идентичными предложениями того же языка...»³⁶. Функциональные значения слов и их соотношения (=глубинные явления) обнаруживаются в той же мере, как и синтаксические значения слов и их синтаксические связи (=поверхностные явления). Для обнаружения глубинных явлений надо знать значения слов и словоформ, точно так же как надо знать значения слов и словоформ для понимания так называемых поверхностных явлений. Так, если мы понимаем значение «поверхностной структуры» предложения *Мальчик побит*, то мы на основании пассивного значения словоформы *побит*, без обращения к другим предложениям, устанавливаем, что в этом предложении подлежащее имеет значение объекта и, соответственно, «глубинная структура» имеет вид «объект — действие». Точно так же в словосочетании *приход учителя*, зная, что слово *приход* есть отглагольное существительное, причем образованное от непереходного глагола, мы устанавливаем, что в данном предложении имеется «глубинная структура» «действие — субъект» (как сопутствующая другой структуре — «признак — носитель признака»).

Изложенное выше подводит нас к выводу, что различие «поверхностности» и «глубинности» создается за счет разных отношений и связей, в которые вступают одни и те же слова, реализуя при этом разные стороны или аспекты своих значений. Используя для простоты тот же самый пример, можно констатировать, что, реализуя свое классное значение «существительного», слово *приход* вступает в синтаксическое атрибутивное (=«поверхностное») отношение со словом *учитель*, а реализуя отраженное в нем как в отглагольном существительном значение непереходного действия, это слово вступает в «глубинное» отношение с сочетающимся с ним словом. Аналогично, реализуя свои классные значения как существительного, а также значения формы именительного падежа, слова *братья* и *письма* вступают в одинаковые синтаксические «поверхностные» отношения со словом *переписываются* в предложениях *Братья переписываются* и *Письма переписываются*. Реализуя³⁷ же свои разные функциональные значения «субъекта» и «объекта», эти слова с последующим глагольным словом образуют разные «глубинные» отношения.

Одно и то же слово в одном и том же предложении, будучи взято в разных отношениях к другим словам того же предложения, приобретает неодинаковые функциональные значения и вступает в разные «глубинные» отношения. Так, в предложении *Купленная книга лежит на столе* слово

³⁶ Л. С. Бархударов, указ. соч., стр. 54.

³⁷ Строго говоря, слово «реализуя» здесь не совсем точно. Оно как бы предполагает наличие у слов *братья* и *письма* функциональных значений до вхождения этих слов в соответствующие предложения, в то время как функциональные значения возникают у слов, только когда слова находятся в определенных соотношениях с другими словами. Поэтому здесь выражение «реализуя функциональное значение» следует понимать как констатацию участия соответствующих слов (*братья*, *письма*) в определенном отношении, где они имеют соответствующие функциональные значения.

книга есть субъект по отношению к сказуемому *лежит*, но в словосочетании *купленная книга* это же слово есть объект по отношению к действию, отраженному в причастии *купленный*.

В этом предложении слово *книга* имеет следующие значения: 1) индивидуальное лексическое, 2) классное (существительное), 3) подклассное (неодушевленность), 4) субъекта (как подлежащее активного предложения), 5) объекта (по отношению к причастию *купленный*). У слова *книга* здесь можно еще отметить значение «носителя признака», как у члена определенного словосочетания. Первые три вида значений присущи слову *книга* до его вхождения в предложение или словосочетание. Эти значения не зависят от связи этого слова с другими словами. Остальные значения возникают вследствие вступления данного слова в те или иные отношения. Они и являются функциональными значениями.

Собственно синтаксические связи слов устанавливаются между словами как между представителями разных классов (частей речи), при этом в установлении связей, как говорилось выше, играют роль значения подклассов и словоформ. Эти связи, именуемые «поверхностными», по существу являются основными связями, определяющими синтаксическую роль слов в тех или иных синтаксических построениях, а также определяющими приобретение словами тех или иных функциональных значений, связывающих высказывание с той или иной ситуацией. Тем самым эти связи определяют и общий смысл соответствующих предложений и словосочетаний.

Если отношения, устанавливающиеся между словами на основе их функциональных значений, именовать «глубинными», то ясно, что эти «глубинные» отношения не возникают и не могут возникать до формирования «поверхностных» синтаксических отношений, а образуются одновременно с ними. Если, далее, связь высказывания с ситуацией (реальной или мысленной), устанавливаемая за счет функциональных значений и их соотношения, дает общий смысл или значение данного высказывания, то следует констатировать, что рождение этого смысла идет «сверху», а не «снизу», как считает концепция глубинных структур, поскольку именно в момент складывания «поверхностных» структур образуются и функциональные значения.

По сути дела, о «поверхностных» и «глубинных» явлениях мы можем говорить только образно, только метафорически, называя разные значения одних и тех же слов более «глубокими» или менее «глубокими», поскольку различия так называемых поверхностных и глубинных структур в конечном счете сводятся к различию тех связей, в которые одни и те же слова вступают, реализуя свои разные значения. Более точным, с нашей точки зрения, было бы разделение значений не на более или менее глубокие, а на системообразующие, присущие словам до вхождения в системы — словосочетания и предложения, и системоприобретенные, приобретаемые словами при их вхождении в системы — предложения и словосочетания. Системоприобретенные значения по сути дела и являются теми значениями, которые называют глубинными. Они всегда функциональны. Поскольку эти значения отражают обобщенные компоненты ситуаций, т. е. отражают в обобщенном виде определенные категории внешнего мира (субъекта, объекта, действия, признака, инструмента, адресата и пр.), постольку эти значения обнаруживаются во всех языках, и потому они универсальны. Точно так же универсальны и те отношения, которые устанавливаются между этими значениями (субъект — действие, действие — объект, действие — адресат и т. п.). Универсальность функциональных значений и их соотношений (= глубинных структур) обуславливает их в целом неспецифический для каждого данного языка характер. Так, выше мы ви-

дели, что в китайском языке, где в отличие от русского нет ни причастий, ни отглагольных существительных, использование в определении переходного или непереходного глагола ведет к образованию в рамках атрибутивного словосочетания того же «глубинного соответствия», что и в русском языке. Поэтому специфика грамматического строя каждого языка заключена не в его «глубинных», а в его так называемых «поверхностных структурах».

Многозначность тех или иных предложений или словосочетаний (англ. *I disapprove of John's drinking* «Мне не нравится, что Джон пьет»; русск. *приглашение доктора* и т. д.), может быть объяснена без обращения к понятию глубинной структуры. Так, двузначность слова *drink* и его производного *drinking*, которые могут иметь как переходное, так и непереходное значение (кстати, как и русский глагол *пить*), создают двузначность приведенного предложения. Двузначность словосочетания *приглашение доктора* обусловлена, как известно, тем, что словоформа *доктора* может иметь разные значения — родительного падежа (субъектное значение) и винительного падежа (объектное значение)³⁸. Соответственно и все сочетание означает либо, что кто-то пригласил доктора, либо, что доктор кого-то пригласил.

Двузначность упомянутого в начале статьи предложения *Flying planes can be dangerous* создается за счет возможности установления разных связей между *flying* и *planes* «летающие самолеты» и «летать самолетом», где *flying* — омонимичные словоформы, и особого характера сказуемого, в котором нейтрализовано значение числа.

Введение здесь понятия глубинной структуры для объяснения разных значений в рамках одной и той же формально-синтаксической структуры есть не что иное, как образное, метафорическое объяснение того, что одни и те же элементы, или омонимичные слова или словоформы, будучи взяты в разных значениях, вступают в разные отношения и порождают, тем самым, различное общее содержание (смысл).

Если разбираемые функциональные соотношения слов именовать глубинными структурами, то фактически ни о каких трансформационных переходах от этих глубинных структур к поверхностным говорить невозможно. Ведь глубинные структуры означают не что иное, как определенные зависимости, возникающие между словами при формировании предложений и словосочетаний наряду с теми формально-синтаксическими зависимостями, которые устанавливаются между словами, как представителями классов слов (частей речи), т. е. наряду с так называемыми поверхностными структурами. Сказанное отнюдь не отвергает возможности использования того, что называют трансформационными преобразованиями. Последние, по-видимому, могут быть полезным средством, например, для раскрытия разных значений внешне одинаковых построений (*Письма переписываются* → *Письма переписаны*, но невозможен переход *Братья переписываются* → *Братья переписаны*), а также для других исследовательских целей.

В рамках настоящей статьи нет возможности более или менее подробно касаться вопроса о трансформациях. Здесь можно лишь отметить, что трансформационные отношения — это отношения не между глубинными и поверхностными явлениями, но между реальными синтаксическими построениями, включающими либо одни и те же слова, либо те же слова, взятые в разных формах, либо однокоренные, т. е. лексически родственные слова.

³⁸ По существу здесь имеет место омонимия словоформ.

По-видимому, условием существования трансформационных отношений между двумя или более разными синтаксическими построениями является одинаковость функциональных значений у одних и тех же или у однокоренных слов (или у разных словоформ одного слова) и одинаковость соотношения между этими значениями, например, *купить книгу* — *купленная книга*, *Письма переписываются* — *Письма переписаны* и т. д.³⁹

Итак, то, что называют глубинной структурой, есть определенное соотношение функциональных значений слов, которое не существует вне и отдельно от так называемой поверхностной структуры, т. е. того соотношения, которое в речевых произведениях устанавливается между конкретными словами. Все богатство и вся специфика грамматического строя каждого языка заключена в его непосредственно данных нашему восприятию так называемых поверхностных структурах. Поэтому для более адекватного и глубокого познания строя языка надо не столько проникать в его «глубинные структуры» (они мало отличаются от языка к языку), сколько нужно углубляться в многообразие типов и видов предложений и словосочетаний, именуемых поверхностными структурами.

³⁹ По поводу трансформационных преобразований имеется большая литература, в которой трансформации обычно рассматриваются как «глубинные преобразования» (см., например: Ю. Д. Апресян, *Лексическая семантика*, стр. 316, раздел «Глубинно-синтаксические преобразования»), в то время как трансформации по существу — это установление определенных соответствий между вполне «поверхностными» предложениями и словосочетаниями.

Р. В. ПАЗУХИН

«КИБЕРНЕТИЧЕСКИЕ» МОДЕЛИ В ЛИНГВИСТИКЕ

1. Лингвистические модели обычно делят на «аналитические» и «синтетические»¹. Модели последнего типа называют также «порождающими», «функциональными», «кибернетическими»² (из этих синонимических наименований мы будем в дальнейшем пользоваться последним).

К «кибернетическим» моделям относят прежде всего различные «порождающие грамматики» (Н. Хомского, Р. Монтегю, Р. Барч и Т. Венемана и пр.) и «целевые модели» (например, модель «смысл — текст» И. А. Мельчука и А. К. Жолковского). «Кибернетические» модели языка являются, несомненно, наиболее авторитетной разновидностью лингвистических моделей, и именно по ним судят об успехах и недостатках современного лингвистического моделирования в целом.

Настоящая статья представляет собой второй этап исследования теоретических оснований сегодняшнего лингвистического моделирования. На первом этапе мы подвергли методологическому анализу «аналитические модели»³, здесь же рассмотрим понятие «кибернетических» моделей языка.

Это значит, что нас будут интересовать следующие вопросы: 1) на основе каких закономерностей функционируют «кибернетические» модели языка и 2) что гарантирует надежность результатов, получаемых с помощью этих моделей.

Под кибернетической моделью языка (КМЯ) обычно понимают систему формальных правил, порождающих и/или преобразующих комбинации условных символов или языковых элементов: КМЯ имитируют различные языковые процессы, чаще всего процесс производства высказываний собеседниками в его разнообразных аспектах. Так, например, на модели Хомского структура фразы *I was annoyed by his refusal to participate* получается при помощи формальных преобразований из структур *I was annoyed by it* и *He refuses to participate*⁴. Принцип использования этих моделей таков. Считается, что психический механизм «языка» (langue) недоступен прямому наблюдению; о нем языковеды судят на основе «речи», т. е. наблюдаемых высказываний. В связи с этим лингвисты-моделисты предлагают рассматривать речевую деятельность людей как «черный ящик», т. е. как механизм, внутреннее устройство которого скрыто от наблюдателя⁵. При этом утверждают, что, если нам удастся постро-

¹ И. И. Ревзкин, Модели языка, М., 1962, стр. 12.

² С. Маркус, Теоретико-множественные модели языков, М., 1970, стр. 10, 13 и сл.; И. А. Мельчук, Опыт теории лингвистических моделей «Смысл ↔ Текст», М., 1974, стр. 13 и сл.; Ю. А. Шрейдер, Модели в лингвистике и математике, в кн.: «Математическая лингвистика», М., 1973, стр. 75 и сл.

³ Р. В. Пазухин, О моделях вообще и моделях в лингвистике, «Вестник ЛГУ», 1975, 2.

⁴ Н. Хомский, Объяснительные модели в лингвистике, в кн.: «Математическая логика и ее применения», М., 1965, стр. 259.

⁵ Ср.: У. Росс Эшби, Введение в кибернетику, М., 1959, стр. 127 и сл.

ить модель, удачно имитирующую производство фраз носителями какого-либо языка, мы получаем право судить о скрытых от нас «механизмах языка» на основе того, что нам известно об устройстве модели (так называемый «принцип параллелизма») ⁶.

2. Однако моделисты отнюдь не единодушны в интерпретации «принципа параллелизма». Этот принцип первоначально выступал (у Мельчука) в самой категоричной форме: «Предположим, что мы рассматриваем совокупность каких-либо объектов, порождаемых скрытым от нас механизмом... Анализируя доступную нам совокупность объектов, ... мы создаем гипотетическое описание этого механизма. Чтобы проверить наше описание, можно построить на его основе модель механизма... Если эта модель, функционируя, будет порождать в точности те же самые объекты, что и исследуемый механизм, то можно считать, что в интересующем нас отношении наша модель адекватна и что, следовательно, наше описание верно». Именно таким способом, по мнению Мельчука, употребляются в языкознании модели, порождающие «речевые объекты» ⁷.

В настоящее время, однако, Мельчук признает, что сходное поведение объекта и модели еще не гарантирует сходства в их внутреннем устройстве. Отсюда следующие оговорки: «Если реакция объекта Y и его функциональной модели X совпадают в очень большом числе весьма сложных и достаточно разнообразных ситуаций, в особенности — если подобное совпадение относится не только к окончательным, но и промежуточным результатам (т. е. если поведение X и Y сходно на всех известных уровнях), то практически мы можем, начиная с некоторого порога, исходить из предположения о структурном сходстве объекта Y и его модели X . Такого предположения следует придерживаться лишь до тех пор, пока не будет найдена ситуация, в которой X и Y поведут себя по-разному» ⁸.

Но и такая умеренная позиция также кажется сейчас моделистам не реалистической. Фрумкина пишет: «Модель или закон, объясняющие функционирование „черного ящика“, иногда называют „белым ящиком“. При этом модель никогда не претендует на единственность и... на структурное сходство с исследуемым объектом, т. е. „белый ящик“ — это всегда один из возможных белых ящиков» ⁹. В то же время «...ученому, работающему в области наук о человеке, приходится мириться с тем, что в большинстве случаев хотя бы частично проверяемыми оказываются только очень простые модели» ¹⁰.

Итак, использование КМЯ не только не имеет строгого обоснования, но даже вызывает разногласия среди моделистов. Удивительно, что при этом наиболее спорным оказывается вопрос: дает ли модель, способная порождать «правильные» высказывания данного языка, возможность судить о внутренних «механизмах порождения высказываний» данного языка?

Нас с самого начала приучили верить, что КМЯ, и особенно «порождающие грамматики», способны точно, формально и адекватно описывать и объяснять языковые данные ¹¹. Но о какой же «точности описания» может ид-

⁶ Ю. Д. Апресян, Идеи и методы современной структурной лингвистики, М., 1966, стр. 78 и сл.; Ю. К. Лекомцев, Вопросы моделирования синтаксиса естественных языков, в кн.: «Вопросы структуры языка (синтаксис, типология)», М., 1974, стр. 52 и сл.

⁷ О. С. Ахманова и др., О точных методах исследования языка, М., 1961, стр. 40—41.

⁸ И. А. Мельчук, Опыт теории..., стр. 13.

⁹ Р. М. Фрумкина, в кн.: «Прогноз в речевой деятельности», М., 1974, стр. 11.

¹⁰ Там же, стр. 12—13.

¹¹ Н. Хомский, Синтаксические структуры, «Новое в лингвистике», II, М., 1962, стр. 412 и сл.

ти здесь речь, если принцип, призванный обеспечивать адекватность КМЯ, не доказан и всего лишь п р а в д о п о д о б е н?

Ниже мы исследуем доводы, с помощью которых авторы КМЯ обосновывают их адекватность. Наше исследование мы, разумеется, начнем с анализа «принципа параллелизма», его происхождения и реальных возможностей.

3. Как мы уже упоминали, лингвисты связывают идею КМЯ с идеей «черного ящика». Они узнали о методе «черного ящика» из публикаций по кибернетике. Особую роль в этом сыграла книга Эшби, где говорится также об исследовании «черных ящиков» с помощью моделей¹².

При этом, однако, произошли досадные недоразумения. Лингвисты не заметили того, что кибернетики исследуют внутреннюю структуру «черных ящиков» не при помощи моделей, но на основе п р я м о г о н а б л ю д е н и я и э к с п е р и м е н т а над входами и выходами «ящиков»¹³. Модели же служат кибернетикам лишь для имитации «входных» и «выходных» состояний (особенно в случаях, когда их трудно воспроизвести на самом «черном ящике») ¹⁴. И это полностью согласуется с общими принципами кибернетического моделирования, «которое сводится в основном к непосредственному моделированию некоторых функций исследуемой системы функциями модели, без раскрытия природы и структуры явлений как внутри системы, так и внутри ее модели»¹⁵.

Ограничения кибернетического моделирования вытекают из следующего обстоятельства. Как известно, даже п р я м о е исследование «черного ящика» не обеспечивает однозначного определения внутренней структуры «ящика»¹⁶. Связано это с тем, что любое данное поведение «черного ящика» может быть обусловлено любым из бесконечно большого числа возможных внутренних устройств («связей») ¹⁷.

Очевидно, что еще меньше шансов «угадать» внутреннее строение «черного ящика» при его к о с в е н н о м исследовании (с помощью моделей): в этом случае даже постановка такого вопроса лишена смысла. Но еще большая неопределенность возникнет в том случае, если мы попытаемся приложить метод «черного ящика» к р е ч е в о й д е я т е л ь н о с т и. Речевая деятельность принадлежит к высшим психическим функциям человека, содержащим в себе оценочные, волевые и логические компоненты. Поэтому ее нельзя исследовать теми же способами, какими мы исследуем механические устройства и нервные схемы врожденных, автоматических реакций организма. В этих случаях мы имеем дело с детерминированными системами, построенными на причинно-следственных или «окказиональных» связях¹⁸. Между «входами» и «выходами» этих систем существуют постоянные механические соответствия. Ибо поведение детерминированных систем почти исключительно предопределяется их у с т р о й с т в о м.

Указанная особенность детерминированных систем позволяет исследователю представить себе хотя бы в самых общих чертах какие-то постоянные скрытые схемы, обеспечивающие стандартное поведение этих систем¹⁹. Но мы не можем, как это делают некоторые лингвисты, рассматривать лингвистические з а д а н и я испытуемому как «воздействия на вход», а о т в е т ы испытуемого — как «результаты на выходе» речевого устройства,

¹² У. Росс Эшби, указ. соч., стр. 137 и сл.

¹³ Там же, стр. 128—134.

¹⁴ Там же, стр. 140—141, 157—158.

¹⁵ В. А. Веников, О моделировании, М., 1974, стр. 27.

¹⁶ У. Росс Эшби, указ. соч., стр. 131 и сл.

¹⁷ Там же, стр. 136—137.

¹⁸ Р. Пазухин, The concept of signal, «Lingua Posnaniensis», XVI, 1972, стр. 40 и сл.

¹⁹ У. Росс Эшби, указ. соч., стр. 133—134; ср. также стр. 43 и сл.

и ждать от них «подсказки» о внутренней структуре этого устройства²⁰. Ибо речевая деятельность (в ее лингвистическом аспекте) предопределяется не конституцией организма, но произвольными решениями индивидов. По этой причине нет оснований допускать, что существуют какие-либо стандартные схемы производства высказываний, свойственные носителям данного языка. Мы не имеем даже права утверждать, что одна и та же фраза, повторенная одним и тем же индивидом в аналогичных ситуациях, «порождена» по какой-либо одной схеме!

4. Итак, «принцип параллелизма», с помощью которого пытаются обосновать использование КМЯ, оказался иллюзорным. Выяснилось, что он представляет собой произвольную комбинацию принципов «черного ящика» и кибернетического моделирования, которая, с методологической точки зрения, является некорректной и недопустимой.

Очевидно, что успешному использованию КМЯ препятствует непреодолимая практическая трудность, которую мы назовем трудностью отождествления. Она связана с принципиальной невозможностью доказать из внешних совпадений в функционировании языка и модели, что данная модель является единственным адекватным представлением «внутренних механизмов» языка (или хотя бы одним из конечного числа адекватных представлений) и исключает как неадекватные все прочие (число которых неопределенно велико) возможные представления.

Было бы, однако, ошибкой спешить с полным отрицанием кибернетического моделирования в лингвистике. Как видно из сказанного в начале статьи, моделисты заметили существование «трудности отождествления». Естественно, что они попытались каким-то образом ее преодолеть. Очевидно при этом, что устранение «трудности отождествления» можно произвести двумя возможными способами. Во-первых, можно полностью или частично отказаться от «принципа параллелизма», что повлекло бы за собой фактический отказ от намерения раскрыть «внутренние механизмы» языка с помощью КМЯ. Во-вторых, можно поискать какие-либо дополнительные критерии адекватности, которые могли бы, в сочетании с «принципом параллелизма», обосновать предпочтительность какой-либо данной модели.

5. Рассмотрим сначала попытки спасти идею КМЯ с помощью отказа (хотя бы частичного) от «принципа параллелизма». Так, иногда предлагали понимать КМЯ не как средство подтверждения или гипотез о речевых механизмах, но как источник гипотез, т. е. как объект, свойства которого наталкивают исследователя на различные предположения о таких «механизмах». В других случаях полагают, что КМЯ могут быть использованы как изофункциональные аналоги речевых механизмов, имитирующие внешнюю деятельность последних, но не их внутреннее устройство. Мельчук предлагает рассматривать КМЯ как относительно адекватные отображения языковых механизмов. Они должны считаться условно верными до обнаружения языковых фактов, противоречащих модели. В этом случае модель заменяется новой моделью (см. § 2). По мнению Фрумкиной, следует отказаться от глобального изучения языка и ограничиться лишь выборочным исследованием с помощью моделей отдельных явлений речевой деятельности (там же).

На первый взгляд, устранение (ограничение) «принципа параллелизма» выводит моделистов из затруднений: отказываясь от нереалистических целей (адекватная реконструкция «внутренних механизмов» языка), моделисты тем самым приводят моделирование языка в соответствие с общи-

²⁰ Ср.: Р. М. Фрумкина, указ. соч., стр. 11.

ми принципами кибернетического моделирования (ср. § 3), где «трудность отождествления» практически отсутствует. Выясняется, однако, что здесь мы наталкиваемся на новое препятствие, каким является специфическая природа изучаемого нами объекта, а именно языка. Действительно, отказ от «принципа параллелизма» было бы легко реализовать, если бы язык обладал конечными, обозримыми параметрами. Нам же известно, что фундаментальным, характерным свойством языка является его неограниченность: считается, что с помощью «языковых механизмов» можно построить бесконечно (неопределенно) большое число высказываний, которые «во всей их совокупности» не в состоянии наблюдать ни один реальный индивид²¹. Поэтому нам приходится учитывать следующее обстоятельство.

Как известно, модель какого-либо объекта можно построить только в том случае, если свойства данного объекта достаточно известны (в качестве модели подбирается или изготавливается некий другой объект, аналогичный по своим свойствам первому)²². Адекватную модель объекта создать невозможно, если его свойства слишком мало известны.

Лингвисты, конструируя свои модели языка, исходят из наблюдений над каким-нибудь конечным корпусом высказываний, созданных носителями данного языка. Но достаточно ли этого конечного опыта для построения модели речевых механизмов, способных порождать бесконечно большое число предложений?

Из опыта математиков, имеющих дело с бесконечными объектами (множествами, рядами), известно, что знания какого-либо конечного числа (оно может быть очень большим) элементов, входящих в состав бесконечного множества (ряда), недостаточно для определения «всего» множества (ряда). Например, обнаружив, что последовательность сумм первых натуральных чисел 1, 3, 6, 10, 15, ..., 141 778 подчиняется закономерности $n' = n(n+1)/2$ (где n и n' — соответственно предшествующий и последующий элемент ряда, при $n = 1, 2, 3, \dots, 532$), математик не имеет еще права утверждать, что «все» дальнейшие члены ряда будут подчиняться этой же закономерности. Такой общий вывод можно сделать только на основе специального («индуктивного») доказательства²³.

Подобным же образом любое удачное практическое опробование фразопорождающей модели (при этом, естественно, удастся обследовать только конечное число предложений) не доказывает еще того, что модель способна порождать бесконечно большое число «правильных» предложений данного языка и только эти предложения. Чтобы признать за моделью такую способность, нужно располагать специальным доказательством (вроде индуктивного доказательства в математике).

Лингвисты-моделисты не представляют таких специальных доказательств. По этой причине предложенные ими модели нельзя рассматривать как модели языка: фактически это будут всего лишь модели данного конкретного корпуса наблюдаемых высказываний. Это — очень низкий уровень адекватности, уровень описания *ad hoc*. Такое описание не содержит сведений о бесчисленных потенциальных (т. е. еще не встреченных в практике) предложениях²⁴. Подобный уровень адекватности никоим образом не может гарантировать того, что данная модель

²¹ Подробнее см.: Р. В. Пазухин, К определению универсального кода, ВЯ, 1969, 5, стр. 55 и сл.

²² А. А. Зинovieв, Логика науки, М., 1971, стр. 253—254.

²³ Р. Курант, Г. Роббинс, Что такое математика?, М., 1967, стр. 33 и сл.

²⁴ Н. Хомский, Логические основы лингвистической теории, «Новое в лингвистике», IV, М., 1965, стр. 482—484, 507.

не станет в будущем порождать «неправильные», неприемлемые предложения, слова, морфемы, слоги, сочетания фонем и т. п. Ибо выводимые из такого описания правила *ad hoc* «могут не отражать действительных языковых закономерностей и даже противоречить им» (Мельчук). Очевидно, что такие модели могут привести к неверному обобщению, совершенно ложную гипотезу, послужить средством дезориентирующего эксперимента и пр.

Мы видим, что исключение «трудности отождествления», связанной с «принципом параллелизма», приводит лингвистов к столкновению с другой практической трудностью, которая вытекает из природы языка. Это — **трудность экстраполяции**: у нас нет каких-либо надежных доказательств того, что способ формального представления языка, выведенный из наблюдений над конечным корпусом высказываний данного языка, может быть распространен на потенциальные, еще не встреченные продукты речевой деятельности («новые» предложения, слова, слоги и т. п. данного языка).

Итак, отказ от «принципа параллелизма» до известной степени реабилитирует идею КМЯ, но в то же время лишает КМЯ надежной опоры. Поскольку «трудность экстраполяции» делает невозможным доказательство **изофункционализма** модели и языка, мы не можем считать КМЯ указанного выше типа настоящими кибернетическими моделями. Ибо доказательство **изофункционализма** модели и объекта является непременным условием успешного кибернетического моделирования. По этой причине модели данного типа весьма ограничены по своему употреблению: их роль в лучшем случае может свестись лишь к условному, приблизительному представлению того, что нам известно о языке из других источников.

6. Обратимся теперь к попыткам спасти «принцип параллелизма» введением **дополнительных критериев адекватности**. Чаще всего выдвигается требование, согласно которому КМЯ должна не просто порождать «правильные» высказывания данного языка произвольным способом, но делать это по заданной схеме. Например, модель должна «выдавать» предложения в соответствии с концепцией «языковых уровней», учитывать иерархию языковых единиц, системные отношения на «уровнях», между «уровнями» и т. п. И эти отношения должны быть скоррелированными между собой²⁵.

Смысл данного предложения таков. Напомним, что КМЯ обычно рассматривается как материальное воплощение некоторой гипотезы о «внутреннем устройстве» языка, а результаты опробования КМЯ — как свидетельство состоятельности (несостоятельности) гипотезы. В данном случае считается, что КМЯ подтверждает соответствующую гипотезу, если обнаруживается, что порождаемые моделью высказывания соответствуют, с одной стороны, наблюдаемым высказываниям определенного языка, а, с другой, — какой-либо непротиворечивой концепции «уровней языка». Иными словами, нам предлагают верить, что подобное «двойное подтверждение» позволяет выбрать действительно адекватную КМЯ среди неадекватных. Данный подход вызывает следующие возражения.

Если под «взаимным соответствием КМЯ и концепции уровней» подразумевается требование, чтобы КМЯ обязательно отражала в своей структуре понимание языка как «многоуровневой», иерархической системы знаков, то этот критерий явно недостаточен. Ибо концепция «уровней» является обязательной составной частью всех гипотез о «порождающих механизмах» языка. Создатели КМЯ неизменно исходят из допущения нали-

²⁵ Е. В. Падучева, Некоторые проблемы моделирования соответствия между текстом и смыслом в языке, ИАН ОЛЯ, 1975, 6, стр. 550.

ция «первичных» элементов (участвующих в комбинаторных операциях) и «вторичных» элементов (результаты этих операций), и это «распределение ролей» происходит всегда в соответствии с той или иной концепцией «уровней языка»²⁶. С помощью подобного критерия невозможно отличить адекватную КМЯ (гипотезу) от неадекватной.

Если же имеется в виду соответствие КМЯ какой-либо определенной концепции «уровней», то и в этом случае этот критерий оказывается неэффективным.

Как известно, концепция «уровней языка» представляет собой лишь образное сравнение, метафорический способ условного представления связей между сегментами высказываний²⁷. И для каждого лингвиста характерен свой субъективный способ видения системы «уровней» (эти индивидуальные представления различаются числом постулируемых «уровней», характером отношений между ними и пр.). Поэтому конкретные концепции «уровней языка» можно рассматривать лишь как допущения, рабочие гипотезы.

Общезвестно, что совместимость одной гипотезы с другой гипотезой не доказывает справедливости одной из них или их обеих вместе. Например, популярная в прошлом гипотеза о «каналах» на Марсе не стала более приемлемой оттого, что она была дополнена гипотезой о наличии на Марсе цивилизации.

По этой причине доказательство совместимости КМЯ (и соответствующей гипотезы) с той или иной конкретной концепцией «уровней» языка не может рассматриваться как доказательство адекватности этой КМЯ (гипотезы).

Среди предложенных дополнительных критериев встречаются и совсем наивные требования эстетического характера (согласно им, лингвистическую модель следует считать адекватной, если в ее структуре обнаруживаются определенная упорядоченность, изящная симметрия, «чуждые» числовые совпадения и т. п.)²⁸.

Большое значение лингвисты придают «критерию простоты», безапелляционно утверждая, что из двух грамматик та грамматика соответствует лингвистической реальности, которая имеет более простую форму. Но «критерий простоты» имеет конвенциональный характер и не связан непосредственно с доказательством адекватности гипотез. Он применяется в науке в случаях, когда имеют дело с альтернативными и равносильными гипотезами: нам должны быть известны доказательства того, что данные гипотезы в равной степени успешно (хотя и разными способами) объясняют одну и ту же совокупность наблюдаемых фактов. И если при этом нет никаких эмпирических и логических оснований предпочесть какую-либо одну из этих гипотез, мы можем для удобства рассуждений избрать самую простую гипотезу и пренебречь прочими.

Какими же средствами располагают лингвисты для доказательства равносильности гипотез о «речевых механизмах»? Обычно такие гипотезы объявляются альтернативными на том основании, что они равно успешно описывают порождение какого-либо одного корпуса наблюдаемых предположений.

²⁶ Например: Н. Хомский, Синтаксические структуры..., стр. 415; P. Sgall, Generativní popis jazyka a česká deklinace, Praha, 1967, стр. 70 и сл., и др.

²⁷ Ср.: Фр. Данеш, К. Гаузенблас, Проблематика уровней с точки зрения структуры высказывания и системы языковых средств, в кн.: «Единицы разных уровней грамматического строя языка и их взаимодействие», М., 1969, стр. 7 и сл.

²⁸ Например: Ю. С. Степанов, Методы и принципы современной лингвистики, М., 1975, стр. 111 и сл.

Но мы уже знаем, что любое конечное число эмпирических подтверждений не может свидетельствовать о способности гипотезы (модели) описывать порождение бесконечно большого числа «правильных» высказываний данного языка. Поэтому мы не можем быть уверенными в том, что имеем дело с гипотезами, в равной степени способными описывать «весь» язык. Очевидно, что приложение к ним «критерия простоты» не имеет никакого смысла: ведь равновероятно, что простейшая гипотеза, выбранная нами, может оказаться и наиболее и наименее адекватной.

7. Нам остается рассмотреть наиболее интересную попытку использовать дополнительные критерии для обоснования КМЯ. Это — попытка Хомского. Хомский, в отличие от своих коллег, дает себе отчет в существовании не только «трудности отождествления», но и «трудности экстраполяции». Он предлагает такую комбинацию критериев (в нее входит и «критерий простоты»), которая, по его мнению, обеспечивает преодоление этих трудностей.

Язык, согласно Хомскому, «предоставляет средства для выражения бесконечно большого числа мыслей и для соответственного реагирования на бесчисленные новые ситуации». Владение же языком оказывается, по Хомскому, возможным благодаря тому, что посетителям каждого языка свойственна некая интуитивная «языковая способность» (linguistic competence, intuition), которая позволяет им отождествлять, строить, понимать бесконечно большое число предложений данного языка. Адекватная модель («грамматика») должна описывать эту «способность».

О competence мы можем судить, однако, преимущественно по речевым актам (performance)²⁹. При этом из наблюдений над одним и тем же корпусом предложений можно, очевидно, вывести несколько различных моделей «речевых механизмов» («грамматик») ³⁰. По-видимому, многие из этих «грамматик» смогут в действительности порождать только конечный корпус предложений (модели ad hoc) и лишь некоторые из них окажутся верным представлением «языковой способности» носителей языка (такая «грамматика», очевидно, будет способна описывать и бесконечное множество предложений данного языка, не представленных в данном корпусе) ³¹. Задача лингвиста и состоит, согласно Хомскому, в опознавании и выделении моделей последнего типа (считается, что они достигают уровня «описательной адекватности») ³².

Хомский считает, что выделить модель, соответствующую уровню «описательной адекватности», невозможно только на основании сходства между порождаемыми ею предложениями и наблюдаемыми высказываниями носителей данного языка (это — «внешний критерий» Хомского, который до известной степени аналогичен «принципу параллелизма»). Поэтому Хомский начинает с приложения «критерия всеобщности» (condition of generality).

Согласно последнему, описания конкретных языков должны находиться в соответствии с той или иной общей «лингвистической теорией», содержащей универсальные определения «фонемы», «предложения» и пр. Это значит, что каждая модель («грамматика») должна строиться в этих обобщенных терминах и по какому-либо одному из существующих методов ³³.

Хомский приходит, таким образом, к понятию типа модели («грамматики»). Эти «типы» он и сравнивает между собой в отношении такого

²⁹ N. Chomsky, Aspects of the theory of syntax, Cambridge (Mass.), 1965, стр. 4—16, 18 и сл.

³⁰ Н. Хомский, Синтаксические структуры..., стр. 417, 457.

³¹ Там же, стр. 418, 456.

³² Н. Хомский, Логические основы..., стр. 482 и сл.

³³ Н. Хомский, Синтаксические структуры..., стр. 417, 456—457.

свойства «грамматик», как способность «с помощью конечного набора средств порождать бесконечное число предложений». В результате этого Хомский выделяет три типа моделей, обладающих такой способностью: стохастическую модель, НС-модель, и «трансформационную модель» языка.

Очевидно, что три выделенные модели можно рассматривать как альтернативные и равносильные. По этой причине к ним можно применить не только «внешний критерий», но и «критерий простоты». В результате этого выясняется, что имеются такие синтаксические структуры, которые стохастическая модель не способна построить, и такие, которые НС-модель порождает недопустимо сложным способом.

Отсюда вывод Хомского: «трансформационная модель» обеспечивает наибольшую адекватность описания языка. Такое описание будет способно представить явно, просто, точно и формально «все» возможные (т. е. произвольные) предложения каждого данного языка. Можно предположить, что подобное описание явится наиболее точным отображением постулируемой Хомским «языковой способности».

Считая принципиальную адекватность «трансформационной модели» доказанной, Хомский переходит к обоснованию трансформационных описаний конкретных языковых явлений и «трансформационно-порождающих грамматик» (ТГ) конкретных языков. Хомский справедливо допускает, что возможно неопределенное число различных трансформационных описаний какого-либо одного языкового явления (одного и того же языка). Но все эти варианты можно, очевидно, считать альтернативными и равносильными (в силу доказанной адекватности «трансформационной модели» — см. выше). Поэтому Хомский вполне обоснованно снова применяет здесь «критерий простоты» и предлагает считать наиболее адекватным самый простой вариант описания (ТГ), соответствующий «внешнему критерию»³⁴.

Хотя «описательная адекватность» не обеспечивает получения «окончательных», исчерпывающих «грамматик» языков (это признает сам Хомский)³⁵, тем не менее его рассуждения производят солидное впечатление. Многие даже считают, что Хомскому удалось решить проблему обоснования КМЯ.

Это впечатление оказывается, к сожалению, ошибочным. Как выясняется, Хомский допускает в своем доказательстве незаметную, но фатальную ошибку. Она связана с применением критерия «всеобщности» и понятием бесконечности языка. Ниже мы покажем, что Хомский неверно толкует это понятие, что обесценивает все его доказательства.

8. Главным компонентом ТГ, который, по мысли Хомского, обеспечивает этой модели неограниченность (т. е. способность порождать бесконечно большое число предложений) является набор рекурсивных правил. Эти правила допускают неограниченное повторное применение формальных преобразований («трансформаций») к синтаксическим структурам с целью их усложнения. Хомский придает принципу рекурсивности решающее значение, утверждая, что он лежит в основе природы языка: «Естественный язык располагает рекурсивными механизмами, благодаря которым говорящий может... выражать бесконечно много разных мыслей, чувств, намерений и т. д.»³⁶.

³⁴ Н. Хомский, Синтаксические структуры..., стр. 460—461; N. Chomsky, Aspects of the theory of syntax, стр. 38 и сл. Мы не касаемся здесь «объяснительной адекватности» Хомского, поскольку он сам считает ее пока недостижимой.

³⁵ Н. Хомский, Синтаксические структуры..., стр. 457.

³⁶ Н. Хомский, Предисловие, в кн.: М. Гросс, А. Лакте, Теория формальных грамматик, М., 1971, стр. 10—11.

Попытаемся установить, какое понимание бесконечности языка заложено в эту схему. Для этой цели исследуем ТГ с помощью примитивной (мета)модели.

Пусть этой моделью будет «язык», который содержит: 1) словарь из пяти слов *я, он, удивляться, что, приход*; 2) набор трансформаций, которые, при рекурсивном применении, позволяют строить фразы: *Я удивился его приходу; Я удивился, что я удивился его приходу; Я удивился, что я удивился, что я удивился его приходу*. И так сколь угодно долго ³⁷.

В полном соответствии с принципиальной схемой ТГ мы можем получить таким образом бесконечно большое число грамматически и содержательно правильных, и в то же время отличных друг от друга предложений. Очевидно, однако, что этот «язык» не в состоянии выразить сообщений *Идет дождь, Билеты проданы*, а также «бесконечно много разных мыслей, чувств, намерений» (ср. выше), которые в состоянии выразить любой «естественный» язык (например, русский).

Рассмотренная модель вскрывает серьезную исходную ошибку Хомского, который, считая неограниченную выразительность языка его существенным свойством, не различает (и даже отождествляет) способность кодов порождать бесконечно большое число синтаксических структур (sentences) и способность кодов выражать бесконечно разнообразные сообщения (messages) ³⁸. Между тем рассмотренный «язык» свидетельствует о том, что код, обладающий неограниченностью в первом смысле, может не обладать неограниченностью второго типа ³⁹.

Рассмотрение данного «языка» показывает также, что два вышеуказанных типа кодовой неограниченности вызываются разными причинами. Если первый тип — действительно результат рекурсивных процессов порождения, то для второго, очевидно, нужно искать какое-то иное объяснение. Предполагается, например, что он связан со способностью носителей языка неограниченно расширять выразительные возможности конечного словаря ⁴⁰.

Мы обнаружили, таким образом, что Хомский и его последователи, стремясь создать модель языка, моделируют в действительности код совершенно иного типа. Этому коду также свойственна неограниченность, но это не та неограниченность, которая характерна для нашего языка. По этой причине ТГ Хомского не только не могут считаться адекватными, но, наоборот, их следует признать заведомо неадекватными.

9. Этот вывод имеет серьезные последствия для всех КМЯ. Мы можем констатировать, что все серьезные попытки обосновать их употребление оказались несостоятельными. И простая мысль о том, что модель, имитирующая речевую деятельность, позволяет постичь тайну «механизмов языка», управляющих этой деятельностью, остается по-прежнему такой же заманчивой и неосуществимой, как идея «вечного двигателя».

В связи с этим следует весьма сдержанно относиться к различным КМЯ. Не следует, в частности, принимать всерьез утверждения о том, что описания языка «по Хомскому», «по Мельчуку» и т. п. точно и адекватно отображают реальные языковые закономерности. Ибо мы уже знаем, что

³⁷ Ср.: E. V a c h, An introduction to transformational grammars, New York, 1964, стр. 12—13.

³⁸ См.: Р. В. П а з у х и н. К определению универсального кода..., стр. 58 и сл.

³⁹ Этот код, очевидно, не станет неограниченно выразительным, даже если его словарь и список трансформаций будут дополнены любым конечным (и неизменным) числом соответствующих единиц (ср.: Р. В. П а з у х и н, К определению..., стр. 56—57).

⁴⁰ Р. В. П а з у х и н, О месте языка в семиологической классификации, ВЯ, 1968, 3, стр. 62 и сл.

авторы этих описаний не в состоянии доказать, что явления языка должны быть описаны именно так, как это делают они, а не любым другим способом.

10. Достижения лингвистического моделирования в целом оказались, таким образом, не столь значительными, как утверждают энтузиасты. Сейчас в лингвистике с успехом (но по отношению к ограниченным целям) применяются, пожалуй, только вспомогательные типы моделей: «демонстрационные» и «эвристические»⁴¹. Эти нестрогие модели весьма полезны в преподавании, в рассуждениях, в дискуссиях. Что же касается собственно исследовательских моделей, с помощью которых надеются получать информацию о природе и устройстве языка, то здесь мы пока имеем дело лишь с недоразумениями. В этой функции выступают либо обычные описания языковых фактов (иногда очень интересные), замаскированные (псевдо)логической символикой, либо произвольные конструкции, основанные на ошибочных предположениях.

Было бы, однако, ошибкой считать «модели» последнего типа абсолютно бесполезными. Авторы их ставят перед собой задачи часто фантастического и неосуществимого характера. Но этим они привлекают внимание лингвистов к серьезным методологическим проблемам языкознания и заставляют задуматься о действительных возможностях нашей науки.

⁴¹ Ср.: Р. В. П а з у х и н, О моделях вообще..., стр. 108.

Р. Г. КОТОВ

ЛИНГВИСТИКА И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ
МАШИННОГО ПЕРЕВОДА В СТРАНЕ

В последние годы в связи с обсуждением проблем развития Государственной системы научно-технической информации машинный перевод (МП) стал упоминаться в качестве составной части этой системы. Но в этом случае МП рассматривался уже не как «увлекательнейшая и перспективнейшая область лингвистических исследований», а как практическое средство получения массовых «грубых» по качеству переводов научно-технических текстов в целях информационного обслуживания. В этот же период в зарубежной печати стали появляться сообщения об успешном и экономически рентабельном применении ЭВМ для массового («промышленного») перевода текстов. Однако эти изменения во взглядах на возможности практического использования МП остались незамеченными, поскольку в отечественной литературе утвердилось мнение об МП как о задаче будущего, для решения которой необходима еще длительная разработка теоретических основ перевода.

Не стал достоянием лингвистической общественности и другой факт, имеющий непосредственное отношение к обсуждаемой теме. В конце 1973 — начале 1974 г. вопрос о состоянии МП в стране рассматривался специально созданной временной научно-технической комиссией Государственного комитета Совета Министров СССР по науке и технике. Задача комиссии, в состав которой вошли представители ряда организаций, заинтересованных в практическом МП, специалисты по автоматизации информационных процессов и специалисты по МП, состояла в том, чтобы определить возможность и целесообразность создания уже в настоящее время практических систем МП.

Под практической системой МП понимается реализованная на ЭВМ система словарей, необходимой лингвистической информации и программ для регулярного массового перевода научно-технических текстов относительно «грубого» качества, трудоемкость редактирования которых не превышала бы трудоемкости редакторской работы над обычными переводами. «Грубое» качество в данном случае означает, что перевод понятен заказчику с точки зрения ясности выражения смысла, соответствует по смыслу оригиналу и, следовательно, его можно и целесообразно использовать в качестве источника информации.

В выводах комиссии, сделанных на основе детального анализа состояния работ по МП за рубежом и в нашей стране, указывалось:

«Достигнутый уровень разработок в области теории и эксперимента по МП позволяет ставить вопрос о переходе к практической реализации МП в СССР».

«Экономическое значение практического МП можно оценить, исходя из следующих положений:

— машинная обработка текста примерно в пять раз дешевле человеческого перевода...;

— ввод текста в ЭВМ можно по трудоемкости сравнить с перепечаткой перевода, сделанного человеком;

— по скорости МП может быть осуществлен (вместе с постредактированием) не менее, чем в десять раз быстрее человеческого перевода».

«Работу по созданию и внедрению практических систем МП необходимо проводить уже в настоящее время, не ставя предварительным условием решение всего комплекса теоретических проблем, связанных с получением качественного МП высшего уровня».

Комиссия также констатировала, что отсутствие работ по созданию практических систем МП уже сегодня является тормозом дальнейшего развития поисковых исследований (не только в интересах МП).

Основной же вывод состоит в том, что в стране, несмотря на имеющиеся достижения в теории и реальные возможности, практических систем МП нет, в то время как за рубежом МП вступил в стадию промышленного применения коммерческими и государственными организациями.

В выводах обращают на себя внимание два момента. Во-первых, пора начинать создание практических систем МП, не дожидаясь окончания теоретических исследований языка, которые, заметим, ведутся с начала 60-х годов и, поскольку область исследований все время расширяется, неизвестно когда могут быть завершены. Во-вторых, отсутствие практики уже тормозит развитие самой теории. Это дает повод для рассмотрения причин сложившегося положения в МП и, в частности, состояния лингвистических исследований по МП.

Предпримем небольшой экскурс в историю, некоторые факты которой, может быть, помогут понять своеобразие развития МП в стране. В короткой истории МП можно выделить несколько этапов:

Первый этап (1954—1958). В Институте точной механики и вычислительной техники АН СССР группа сотрудников под руководством Д. Ю. Панова и И. С. Мухина, в состав которой входили Л. Н. Королев, С. Н. Разумовский, И. К. Бельская (лингвистическая часть работы) и др., осуществила в декабре 1955 г. первый в стране экспериментальный перевод с английского языка на русский на ЭВМ БЭСМ. Затем в 1956 г. в Математическом институте им. Стеклова АН СССР группа А. А. Ляпунова и О. С. Кулагиной провела на ЭВМ «Стрела» эксперименты по переводу с французского и английского языков на русский (лингвистическая часть работ выполнялась соответственно И. А. Мельчуком и Т. Н. Молошной).

Результаты этих экспериментов по МП были изложены в совместной работе руководителями обеих групп¹. Не затрагивая вопросов реализации алгоритмов на ЭВМ, различия в подходах к использованию лингвистического материала и построению алгоритмов можно свести к различиям между «эмпирическим» (И. К. Бельская) и «аналитическим» (И. А. Мельчук, Т. Н. Молошная) путями решения одной и той же задачи. Однако важно отметить не столько различия, сколько тот факт, что руководители обеих групп признавали наличие и правомерность разных подходов к решению новой и сложной задачи МП. В этой же работе Д. Ю. Панов, предостерегал об опасности увлечения анализом логической структуры языка как средством решения задачи перевода. Этот путь, судя по направлению исследований в США, представлялся весьма заманчивым, особенно с точки зрения математиков, так как позволял представить МП в основном как математическую проблему. Однако «сама природа проблемы перевода такова, что нельзя полностью игнорировать индивидуальные особенности

¹ Д. Ю. Панов, А. А. Ляпунов, И. С. Мухин, Автоматизация перевода с одного языка на другой, М., 1956.

переводимого текста. По-видимому, здесь мы сталкиваемся с проблемой, которая требует специальных методов анализа, сходных с теми экспериментальными методами, которые используются при изучении явлений природы².

Группой Д. Ю. Панова были также сформулированы и основные принципы построения алгоритма МП, часть из которых сохранила свое значение и в настоящее время, например:

- максимально возможное отделение словаря от программы;
- помещение в машинный словарь постоянных грамматических характеристик слов;
- определение значений многозначных слов по контексту и их грамматических характеристик из анализа грамматического строя предложения; и др.

После опубликования результатов этих первых работ по МП в стране стали возникать другие группы энтузиастов МП, но многие из них, не имея возможности проверять свои алгоритмы на ЭВМ, по существу занимались разработкой отдельных вопросов теоретического характера.

Второй этап (1958—1961). На первой конференции по машинному переводу в 1958 г. большинство участников, несмотря на приведенное выше предостережение Д. Ю. Панова, сочло направление И. К. Бельской слишком «эмпирическим». Более заманчивыми и обещающими успех представлялись направления, предполагающие использование языка-посредника и формальных моделей, воспроизводящих логическую структуру языка. Дискуссии на конференции показали не только различия во взглядах на пути решения задачи МП, но и склонность ряда исследователей к канонизации своих направлений. Этап «подавления эмпириков» и безрезультатных поисков «универсальных решений» задачи МП был завершен Всесоюзной конференцией по обработке информации, машинному переводу и автоматическому чтению текста в 1961 г. На заключительном заседании было объявлено, что по общему мнению МП как практическая задача должен быть снят с повестки дня и все усилия следует направить на разработку теоретических основ перевода.

В этот период прекратил существование коллектив Д. Ю. Панова, И. С. Мухина, И. К. Бельской. Стали свертываться постепенно работы и других групп.

Третий этап (1961—1974) характеризуется уже преимущественным развитием теоретических исследований языка вне связи с конкретными задачами построения практических систем МП.

Следует заметить, что в период конца 50 — начала 60-х годов «переоценка ценностей» в области МП происходила не только у нас, но и за рубежом. Проведенные работы по МП позволили сделать ряд важных выводов.

1. Выяснилось, что существующие грамматики и опыт формализации языковых фактов оказались недостаточными. Не было формального аппарата для описания морфологии, синтаксиса и семантики в такой степени, чтобы они могли быть использованы при построении алгоритмов. Это, в частности, послужило стимулом для развития различных направлений структурной и математической лингвистики.

2. Стала очевидной необходимость экспериментальной проверки на ЭВМ не только алгоритмов, но и теоретических построений лингвистики, без которой невозможно оценить их практическое значение для МП.

3. Построение системы МП даже в простейшем варианте — это не кратковременное занятие, а длительная трудоемкая работа, успех в ко-

² Там же, стр. 15.

торой может быть достигнут только совместными усилиями лингвистов, программистов и инженеров.

Вывод о недостаточных возможностях ЭВМ и возникшая в связи с этим дискуссия о необходимости специальных машин для перевода вскоре утратили актуальность, так как появились универсальные ЭВМ с большими ресурсами памяти, быстродействием и общим математическим обеспечением.

Однако наиболее важным было осознание того факта, что исследования языка и поиски способов формализации языковых структур необходимы не только для МП, но и для других более общих задач переработки информации с помощью ЭВМ, а также в интересах развития теории языкознания. Но если исследования языка в рамках задачи МП определяются и вместе с тем ограничиваются реальными возможностями использования их результатов в алгоритмах, то в плане теории языка и общих кибернетических проблем никаких ограничений нет. Таким образом, фактически наметились два направления лингвистических исследований, прикладных и поисковых, разных по целям, задачам, глубине и предполагаемым срокам получения результатов.

Поэтому для правильной оценки современного состояния МП и составляющих его основу лингвистических исследований и разработок следует отделять МП как научно-техническую задачу построения систем перевода текстов с помощью ЭВМ в целях информационного обслуживания от МП, если сохранять этот термин, как общей проблемы использования естественного языка в процессах переработки информации на ЭВМ. В соответствии с этим необходимо рассматривать и оценивать проблематику лингвистических исследований. МП как общая научная проблема является точкой пересечения интересов многих наук: языкознания, математической логики, семиотики, психологии, ряда кибернетических дисциплин и т. д. В рамках этой проблемы лингвистические исследования в стране развиваются, охватывая все новые научные области, в сторону углубления описаний языка вне связи с задачами МП. В совершенно ином положении оказались исследования и разработки, направленные на решение задачи собственно МП. Этим работам уделялось мало внимания, в результате чего, как уже отмечалось, в стране нет ни одной действующей системы МП, имеющей практическое значение.

Одной из основных причин такого положения является сознательное и пессимистическое смещение и отождествление МП как научно-технической задачи с МП как общей научной проблемой. В результате в последовательности «цели — средства» было нарушено соотношение между уровнями работ, обеспечивающих решение поставленной научно-технической задачи (в данном случае — МП): поисковые исследования (без ориентации на конкретные задачи) — прикладные исследования (для МП) — опытно-конструкторские работы (создание практических систем МП)³. Прикладные лингвистические исследования фактически превратились в поисковые и, утратив связь с первоначальной целью, естественно не могли обеспечить решение задачи МП.

С начала 60-х годов дальнейшее развитие собственно МП на Западе и в СССР шло разными путями. Здесь можно полностью согласиться с оценкой путей развития МП, данной специалистами-практиками⁴.

За рубежом, несмотря на дискуссию о «кризисе МП», не прекращались попытки решить задачу МП методом «грубой силы», путем использования

³ Г. Поспелов. Объект управления — наука, «Наука и жизнь», 1975, 11.

⁴ В. Н. Герасимов, Ю. Н. Марчук, Современное состояние машинного перевода, сб. «Машинный перевод и автоматизация информационных процессов», М. 1975.

больших словарей и сравнительно простых алгоритмов⁵. Но при этом велись и теоретические исследования по формализации языковых структур в режиме тесной связи с ЭВМ. Так, например, программировались и экспериментально проверялись принципы синтаксического анализа предложения и порождения «микропредложений»⁶, трансформационная модель синтаксиса на основе идей Н. Хомского⁷, способы графического представления синтаксических структур языка⁸ и другие теоретические построения лингвистики. Это давало возможность оценивать результаты теории с точки зрения их практической ценности для решения задачи МП, выбирать уровень реально необходимой детализации и формализации лингвистических описаний, корректировать направление дальнейших исследований.

Нельзя сказать, что привязка этих исследований к конкретным задачам МП, ограничение формальных построений лингвистики возможностями их использования в алгоритмах и реализации последних на ЭВМ подавляет творческое мышление исследователей и заводит в научный тупик, как склонны считать некоторые сторонники чистой теории. Практика показала обратное. Сочетание теории с решением практических задач и экспериментальная проверка теорий привели к созданию ряда действующих систем МП, сколь бы ни были «ненаучны» принципы их построения, с разной степенью автоматизации процесса перевода. Так, например, имеются большие автоматические словари, использование которых обеспечивает более быстрое и высококачественное выполнение переводов человеком⁹, системы перевода информационных материалов¹⁰, системы МП, дающие «грубый» массовый перевод текстов, а при дополнительном редактировании — переводы высокого качества и при том значительно быстрее и дешевле, чем вручную¹¹.

Использование таких систем дает не только практическую пользу, но и создает реальную основу для дальнейшего совершенствования МП и развития поисковых исследований в интересах перспективных задач. Эти работы продемонстрировали роль лингвистических исследований и для развития электронной вычислительной техники, в частности, позволили сформулировать новые требования к архитектуре ЭВМ следующих поколений с учетом особенностей переработки информации человеком¹².

В нашей стране после 1961 г. развитие МП пошло другим путем. Утвердилось новое направление лингвистических исследований, рассматривавшее МП как общую научную проблему, но с сохранением старого «прикладного» названия «автоматический перевод». В рамках исследования этого направления научно-техническая задача МП представлялась как одна из многих частных задач, решение которых оказывалось возможным только после завершения всего комплекса теоретических работ в лин-

⁵ J. M. Daniel, Translation by computer, «Electronics weekly», 304, 1966, стр. 7.

⁶ B. T. Carmody, P. E. Jones, Automatic derivation of microsentences, «Communications of the ACM», 9, 6, 1966.

⁷ B. J. Friedman, A computer system for transformational grammar, «Communications of the ACM», 12, 6, 1969.

⁸ W. A. Woods, Transition network grammars for natural language analysis, «Communications of the ACM», 13, 5, 1970.

⁹ H. J. Schöck, Zusammenarbeit Mensch/Maschine beim Umgang mit elektronisch gespeicherten Wörterbüchern, «Nachrichten für Dokumentation», 1959.

¹⁰ С. Першке, Машинный перевод: вторая стадия развития, М., 1968. B. H. Dostert, User's evaluation of machine translation. Georgetown MT System, 1963—1973, Texas ACM University, AD-768451/7, 1973.

¹¹ «Logos», Newsweek, Feb. 26, 1973, стр. 2—8; E. I. Lehman, Machine translation. A bibliography with abstracts, Nat. Techn. Inform. Service COM-73-11747/8, 1973.

¹² D. G. Hayes, Linguistics and the future of computations, «AFIPS Conference Proceedings», New York, 1973.

гвистике. Сохранение названия «автоматический перевод» способствовало укреплению позиций этого направления в период его становления, так как оно создавало иллюзию продолжения работ по решению актуальной научно-технической задачи МП, в то время как фактически оно ставило другие цели и задачи, далекие от МП.

Основы этого теоретического направления в лингвистике наиболее полно изложены в предисловии к книге «Автоматический перевод 1949—1963»¹³. В нем, в частности, говорится, что исследования по «автоматическому переводу» имеют своей целью формализацию языка лингвистических описаний и «быть может, даже создание новой (в ряде отношений) науки о языке» (стр. 7). АП как таковой есть «частная задача в рамках более общей и научно более привлекательной задачи — обучения электронных машин человеческим языкам» (стр. 7). Таким образом, вместо решения частной задачи, ставится глобальная перспективная проблема в целом. Из этого следует, что «описание закономерностей, по которым тексты связаны со смыслами, есть центральная задача лингвистики — и теоретической и описательной» (стр. 8). При такой широкой формулировке цели и задач «естественной границы между работами по лингвистике и работами по АП в настоящее время нет... Любая достаточно строгая или содержащая хорошо обработанный фактический материал лингвистическая работа имеет прямое или хотя бы косвенное отношение к АП» (стр. 9). (Можно заметить, что в качестве объективного критерия «строгости» и принадлежности работы к АП используется факт помещения ее реферата в разделе «Автоматический анализ текста и автоматический перевод» РЖ «Информатика», редактором которого является сам И. А. Мельчук¹⁴.) Далее, все вопросы алгоритмизации процедур, использования результатов лингвистических исследований в прикладных целях и экспериментальной проверки лингвистических алгоритмов, поскольку они только стесняют исследователя, объявляются ненужными, так как это «дело математиков», которые «ждут» от лингвистов только абстрактных описаний языка (стр. 9). В результате окончательная формулировка нового направления гласит: «Автоматический перевод без перевода, без машин, без алгоритмов? Да, именно таково выраженное в несколько парадоксальной форме современное представление об АП» (стр. 9).

При таком определении «автоматического перевода» упоминания о создании «автоматической действующей модели языка (т. е. создание системы автоматического анализа и синтеза, а затем и перевода)» (стр. 7) представляются пустой декларацией. При этом широко используемые термины «автоматический анализ», «автоматический синтез», «действующая модель» и т. п. понимаются весьма необычно, только как совокупность правил, применение которых исследователем не связывается ни с алгоритмами, ни тем более с их реализацией на ЭВМ.

Центральным понятием данного направления является модель языка. В одной из последних работ этого направления модель языка, модель типа «смысл ↔ текст», рассматривается как основное средство исследования и описания языка¹⁵. По существу модель «смысл ↔ текст» — это система описаний лингвистических структур разных уровней, от уровня смысла до уровня его выражения на естественном языке, с использованием спе-

¹³ И. А. Мельчук, Предисловие к кн.: И. А. Мельчук, Р. Д. Равич, Автоматический перевод 1949—1963. Критико-библиографический справочник, М., 1967 (указания на стр. даны в тексте).

¹⁴ И. А. Мельчук, Ю. Д. Апресян, Русский язык в исследованиях по автоматическому переводу (Материалы для обсуждения), М., 1973, стр. 18—21.

¹⁵ И. А. Мельчук, Опыт теории лингвистических моделей «Смысл ↔ Текст», М., 1974 (указания на стр. даны в тексте).

циально создаваемых формальных языков, и формальных описаний правил перехода между уровнями (алгоритмическая часть модели). Прикладная значимость этих лингвистических исследований усматривается в том, что после создания более или менее полной модели «смысл ↔ текст» можно будет поместить в память ЭВМ систему формальных описаний всех уровней естественного языка (в целом!), включая запись смысла лингвистических единиц, а на основе правил перехода между уровнями построить соответствующие алгоритмы и программы. Такой программный «механизм», реализованный на ЭВМ, будет осуществлять универсальные преобразования между смыслами и текстами (моделировать речевое поведение человека). В этом и состоит идея так называемого «языкового процессора» — универсального преобразователя информации на естественном языке. При наличии в ЭВМ описаний двух языков будет решаться и задача автоматического перевода текстов с одного языка на другой (стр. 5—15).

Однако поставленная глобальная цель — формальное описание естественного языка без каких-либо ограничений при весьма широком понимании самой формализации и отсутствии представления о реальных возможностях использования создаваемых формальных описаний в будущем неизбежно должна была привести и привела исследователей к громоздким и необозримым построениям. Распространение этих исследований на разные языки и углубление в частные вопросы с целью выработки универсальных методов описания еще больше усложняют задачу и позволяют сомневаться в том, что первоначально поставленная цель будет когда-нибудь достигнута такими методами. Даже при отказе от рассмотрения алгоритмического аспекта моделей, т. е. описания правил перехода между уровнями описания языка, предпринятом для облегчения теоретических исследований (стр. 5, 15, 27), завершение их остается проблематичным. Это приводит к дальнейшему расширению области исследований, к еще большей детализации лингвистических описаний, без учета их последующего использования в алгоритмической части модели, вследствие чего перспектива получения пригодных для практики результатов становится все более неясной. Следует также иметь в виду, что если формальные описания языка и будут завершены, то для их использования все равно потребуется вторая половина модели «смысл ↔ текст», а именно алгоритмическая. Это связано с разработкой формального языка описания правил перехода между уровнями и самих алгоритмических процедур. По сложности эта работа сопоставима с созданием первой части модели — описания уровней языка. Однако эти вопросы не ставятся и не рассматриваются в работах данного направления.

Результатом 15 лет работы над теорией лингвистических моделей «смысл ↔ текст» является создание фрагментов не связанных между собой описаний языкового материала, частные неполные «модели», перечень принципиальных, пока не решенных вопросов лингвистической теории, полный отказ от рассмотрения алгоритмического аспекта моделей и признание невозможности завершения этих исследований в какие-либо обозримые сроки (стр. 5, 15). Когда после этого продолжают уверения, что формализация языка методами данной теории является единственно серьезной задачей языкознания, то уместно вспомнить замечание С. Лема по аналогичному поводу: «...они, конечно, знают, что им не удастся до конца формализовать ни дедуктивный язык, ни обиходный, но все же полагают, что между „не удастся до конца“ и „сейчас пока не удастся“ простирается область достаточно обширная для того, чтобы они могли в ней долго и прилежно трудиться»¹⁶.

¹⁶ С. Л е м, Сумма технологий, М., 1968, стр. 213.

В этих условиях вряд ли можно серьезно говорить о непосредственной связи данных исследований с конкретными научно-техническими задачами сегодняшнего дня и ближайшего будущего, о получении результатов для решения актуальных задач МП, информационного поиска, АСУ и т. п.¹⁷ Такого рода заявления не подтверждаются ни фактическим состоянием исследований, ни полученными к настоящему времени результатами. Поэтому правильное рассматривать и оценивать эти исследования как чисто теоретические, обещания обеспечить в ближайший период времени потребности научно-технических задач — как необоснованные, а полученные пока результаты — как попытку «уяснения, какой уровень строгости достигим сегодня в содержательных лингвистических описаниях»¹⁸.

Таким образом, в прикладной лингвистике сложилось теоретическое направление со своими целями и задачами, далекими от научно-технической задачи МП. По существу это одно из теоретических направлений современного языкознания, и именно так оно оценивается за рубежом¹⁹. Обсуждение значимости идей этого направления для теории языкознания не входит в задачи статьи. Здесь важно выяснить только действительную степень связи его с задачами МП, поскольку она подчеркивается сохранением названия «автоматический перевод» и соответствующими утверждениями его представителей.

В прикладном плане это направление исследований неудовлетворительно своей необозримостью²⁰ и, следовательно, невозможностью достижения поставленных целей без существенного ограничения объекта изучения и формализации. Что касается «строгости» лингвистических описаний, то, помимо уже приведенного «критерия», имеются серьезные замечания к описанию лексики в форме толково-комбинаторного словаря²¹, а также к весьма вольной трактовке общеупотребительных терминов и понятий²². Вряд ли можно считать достоинством рассматриваемого направления работ то, что разработка универсального метода описания языка опирается только на формальные языки, в основе которых лежат внешние относительно языка логические построения. При этом совершенно не используются особенности «организации естественного языка», в то время как именно этот путь представляется наиболее продуктивным²³. Статистико-вероятностные, алгоритмические и другие особенности структуры языковых единиц разного уровня и текстов оказываются весьма полезными как при построении словарей, алгоритма анализа и синтеза, так и при описании необходимого для них языкового материала. Поэтому вполне справедливо утверждение о необходимости рационального сочета-

¹⁷ Л. Л. Иомдин, И. А. Мельчук, Н. В. Перцов, Фрагмент модели русского поверхностного синтаксиса, I. Предикативные синтагмы, НТИ, сер. 2, 1975, 7, стр. 30.

¹⁸ Ю. А. Шрейдер, Предисловие к сб. «Семиотика и информатика», 6, М., 1975, стр. 3.

¹⁹ «Trends in Soviet theoretical linguistics. D. Reidel Publ. Comp.», Dordrecht — Holland/Boston — USA, 1973.

²⁰ М. В. Арапов, В. Б. Борщев, Ю. А. Шрейдер, Язык, грамматика, семантика, в кн.: «Труды III Всесоюзной конференции по информационно-поисковым системам и автоматической обработке научно-технической информации», II, М., 1967, стр. 15.

²¹ Н. З. Котелова, Значение слова и его сочетаемость, Л., 1975; П. Н. Де-нисов, Очерки по русской лексикологии и учебной лексикографии, М., 1974.

²² Б. Н. Головин, Лингвистические термины и лингвистические идеи, ВЯ, 1976, 3.

²³ М. В. Арапов, В. Б. Борщев, Ю. А. Шрейдер, указ. соч., стр. 15.

ния разных подходов к использованию всех свойств языковых структур²⁴. Видимо, только при таком комплексном подходе и будет решена в будущем перспективная проблема универсального преобразования информации на естественном языке, т. е. создан «языковый процессор» на ЭВМ для разнообразных технических задач, в том числе и для получения высококачественного МП.

Недостатки рассматриваемого подхода к формализации лингвистических описаний не означают, что он не заслуживает внимания. Задача создания средств формального описания языка важна и для теоретической, и для прикладной лингвистики. При более скромных целях, строгой постановке задач и существенном ограничении объекта исследования, видимо, можно было бы получать результаты, имеющие прикладное значение. Но дело не в недостатках или достоинствах исследований данного направления. Нельзя согласиться с попытками представить его как единственно правильный путь к решению всех теоретических и прикладных задач лингвистики, тем более что связь с практическими задачами, в первую очередь с МП, оказывается чисто декларативной.

Видимость непосредственной связи данного направления с МП поддерживается также периодическими обзорами истории, состояния и перспектив работ в области МП за рубежом и в нашей стране, примером которых может служить предисловие к сборнику переводов по АП²⁵. В этом обзоре изложена концепция так называемых «трех поколений» МП: первое — системы пословного перевода, второе — системы грамматического МП и третье — системы семантического МП. Эта концепция представляет собой попытку провести аналогию между развитием ЭВМ и развитием систем МП. Но если каждое поколение ЭВМ отличается от предшествующего новой элементной базой (лампы — транзисторы — интегральные схемы на твердом теле), архитектурой и техническими характеристиками, то никаких «поколений» систем МП нет, что подтверждается практикой их построения за рубежом. Существующие системы МП не обнаруживают установленных этой концепцией различий и могут быть отнесены условно к одному «первому» или «нулевому» поколению (автоматический словарь Бундесвера). Концепция «трех поколений МП» отражает не реально имеющиеся в системах различия, а только эволюцию взглядов части специалистов на то, как можно было бы создать МП²⁶.

Так, одним из принципиальных отличий МП «третьего поколения» предлагается считать независимость описания языкового материала от «механизма», т. е. алгоритмов перевода. Однако этот принцип не является общепризнанным и, что более важно, не подтверждается практикой работ по МП. Сами исследователи, предложившие ввести такое разделение²⁷, рассматривают его только как способ повышения эффективности алгоритмов, но не как самоцель. Они подчеркивают своеобразие процесса перевода, требующего операций с языковыми единицами разных уровней и учета перекрестных связей между ними, что уже не позволяет полностью осуществить этот принцип. Другие специалисты вообще не признают возможности такого разделения, считая, что это приводит к чрезмерному услож-

²⁴ Н. Д. Андреев, Статистико-комбинаторные методы в теоретическом и прикладном языковедении, Л., 1967, стр. 5—6.

²⁵ О. С. Кулагина, И. А. Мельчук, Автоматический перевод: краткая история, современное состояние, возможные перспективы, сб. «Автоматический перевод», М., 1971.

²⁶ См.: В. Н. Герасимов, Ю. Н. Марчук, указ. соч.

²⁷ С. М. Лемб, Стратификационная лингвистика как основа машинного перевода, НТИ, 1964, 10; В. И. Гиве, Значение исследований в области машинного перевода, НТИ, 1965, 7.

нению алгоритмов и не оправдывается никакими особыми выгодами²⁸. Следует заметить, что разделение описания языка от «механизма» оказывается весьма сложной задачей даже при построении транслятора для перевода программы с алгоритмических языков в коды команд ЭВМ²⁹, хотя алгоритмические языки просты по сравнению с естественными.

Также нереальными оказываются и другие теоретические отличия систем «третьего поколения», а именно, полная независимость алгоритмов анализа и синтеза, выделение уровней алгоритмов (морфологического, синтаксического и семантического анализа), разделение описаний лингвистических данных по отдельным уровням, множественность перевода, включение в словарные статьи сведений «энциклопедического характера» и т. п. (стр. 20). На деле, как показывает опыт построения алгоритмов МП, реализация этих принципов связана с неоправданно большими трудностями.

Данная концепция, особенно принцип разделения лингвистического описания («грамматики») от алгоритмов («механизма»), послужила «техническим» обоснованием выдвинутого направлением «автоматический перевод» тезиса, что лингвист должен заниматься только описанием языкового материала, не интересуясь тем, как могут быть использованы результаты его работы. Фактически это облегчило превращение прикладных исследований для МП в часть теоретической лингвистики. Последствия такой «разгрузки» лингвистов-прикладников от алгоритмических (прикладных) аспектов исследований не замедлили сказаться. Литература по МП и информатике стала заполняться публикациями теорий универсальных преобразований языка, описаниями «действующих» (только в представлении их создателей) моделей языка и другими «прикладными» (по названию) работами. Ко многим из них, к сожалению, вполне приложимы критические замечания, высказанные 15 лет тому назад по поводу «претензий структурной лингвистики» на решение задач МП лидным специалистом в области автоматизации информационных процессов М. Таубе³⁰. Именно о такой ситуации едко заметил С. Лем: «Профессионал-программист знает, чего можно ожидать от цифровых машин, и знает алгоритмическую ограниченность программ; зато его окружает рой „специалистов“, которые несколько не помогают ему в преодолении трудностей, и попросту отрицают их своими многочисленными совершенно голословными декларациями»³¹.

Итоги работ и действительное отношение направления «автоматический перевод» к задаче построения систем МП лучше всего формулируют сами его представители в уже упоминавшемся «Предисловии». Начиная 60-х годов: «Выяснилось, что сначала должна быть проделана весьма трудоемкая лингвистическая работа по формализованному описанию языков и только затем ее результаты могут быть использованы для построения системы АП» (стр. 12). 1971 г. (итоги 10 лет): «Занятия автоматическим переводом стали источником большого числа разнообразных и интересных задач чисто лингвистической природы» (стр. 12); «создана почва для перехода к новому, более высокому этапу исследований по АП» (стр. 13). 1975 г. (итоги 15 лет подведены в работе «Опыт теории лингвистических моделей „Смысл ↔ Текст“»): «Однако указанная цель в настоящее время

²⁸ П. Гарвин, Алгоритмы синтаксического анализа «Фулькрум» (для русского языка), сб. «Автоматический перевод»; Н. Н. J o s s e l s o n, Machine translation in review, «Computer and automation», 8, 1968.

²⁹ П. Ингерсол, Синтаксически ориентированный транслятор, М., 1969; И. Л. Братчиков, Синтаксис языков программирования, М., 1975.

³⁰ М. Таубе, Вычислительные машины и здравый смысл, М., 1964, стр. 59—73.

³¹ С. Лем, указ. соч., стр. 218.

недостижима, по крайней мере для автора этих строк. Ни одна полная модель „Смысл ↔ Текст“, хотя бы в виде чисто экспериментального варианта, ему неизвестна...». «Что касается теории, то и здесь имеют место огромные лакуны...»; «Восполнить все эти пробелы в обозримый срок... невозможно» (стр. 5). Если учесть, что алгоритмическая сторона модели вообще не рассматривается (стр. 15, 27), то это можно расценивать только как научный тупик теоретического направления АП.

При таком состоянии исследований направления «автоматический перевод» даже в части теории, не говоря уже о его прикладных аспектах, странное впечатление производят заявления отдельных его представителей о бессмысленности возобновления практических работ по МП до завершения теории, так как это якобы ничего не даст, кроме повторения экспериментов двадцатилетней давности³². Трудно сказать, что лежит в основе такой позиции: непонимание изменившихся условий или стремление любой ценой оградить свою «научную территорию», в которую по-прежнему включается и МП, от вторжения практиков.

Нельзя сказать, что никто не замечал того одностороннего развития, которое приобретали исследования в области МП. Были и предостережения об опасности увлечения теорией в отрыве от практики. Например, с оценкой состояния МП в 1964 г. выступили Г. Г. Белоногов и Р. Г. Пиотровский³³. В 1965 г. вышла книга Д. Жукова, в которой была изложена история МП, рассматривалась в весьма остром полемическом стиле конфликт между его прикладным и теоретическим направлениями, а также освещались вопросы создания практического МП³⁴. В 1970 г. Р. Г. Пиотровский, анализируя причины «кризиса МП» в стране, писал: «В конце пятидесятых годов у нас в стране имелись коллективы, целеустремленно работавшие над созданием промышленного перевода и получавшие отдельные обнадеживающие результаты. Эти коллективы, преодолевая технические и лингвистические трудности, могли бы, вероятно, получить к середине шестидесятых годов на новых отечественных ЭВМ промышленный перевод. К сожалению, отсутствие технической базы, организационно-психологическая обстановка в математическом языкознании и поворот к теоретическому автоматическому переводу, обозначившийся в начале шестидесятых годов, парализовали эти работы... Наше отставание от передовых западноевропейских и американских коллективов можно оценить здесь в 8—10 лет»³⁵.

В условиях увлечения «машинным» переводом «без перевода, без машин, без алгоритмов», когда представители этого направления оценивали все работы в области МП только с точки зрения их соответствия своим теоретическим концепциям, а возможность успешной разработки практических систем МП ставили в зависимость от завершения своей «теории», лишь немногие организации отваживались на проведение работ по практическому МП при «научно» гарантированной неудаче. Само же «теоретическое направление АП» не могло дать практических результатов и поэтому создался замкнутый круг: теория для теории. Именно в этом мы

³² Например, выступления Вяч. В. Иванова и И. А. Мельчука на Всесоюзной конференции по теоретическим вопросам языкознания в 1974 г. (секция «Теоретические аспекты прикладного языкознания»).

³³ Г. Г. Белоногов, Р. Г. Пиотровский, О машинном переводе, ФН, 1964, 1.

³⁴ Д. Жуков, Переводчик, историк, поэт? Слово тебе, машина, М., 1965. Следует заметить, что при переиздании этой книги в 1975 г. под названием «Мы переводчики» издательством «Знание» из нее без согласия автора были изъяты все места, связанные с критикой структурализма и теоретического направления МП.

³⁵ Р. Г. Пиотровский, Отраслевой вероятностный «машинный» перевод, сб. «Статистика текста», II — Автоматическая переработка текста, Минск, 1970, стр. 7.

усматриваем вред от отождествления и смешения прикладных и теоретических исследований, при котором оказалось возможным свертывание прикладных исследований по МП и замена их чисто теоретическими изысканиями в области языка.

В интересах не только решения научно-технической задачи МП, но и развития лингвистической теории, необходимо восстановить уровень прикладных исследований. Существующее в лингвистике теоретическое направление не может именоваться «автоматическим переводом». Поисковые исследования в области универсальных языковых преобразований относятся к проблематике теоретического языкознания и в общенаучном плане соприкасаются с проблемами кибернетики. К МП как к конкретной научно-технической задаче сегодняшнего дня эти исследования не имеют прямого отношения ни сейчас, ни в ближайшем будущем. Сохранение же за ними «прикладного» названия «автоматический перевод» позволяет предположить, что оно используется, с одной стороны, для престижа и защиты своих идей от критики другими специалистами по языкознанию, с другой — для создания видимости развития МП в стране. Иное объяснение найти трудно.

Каково же реальное состояние лингвистических работ по МП и его ближайшей перспективе? Как показала работа комиссии, основные трудности построения практических систем МП — лингвистические (описание языка и процедур), математические (составление алгоритмов и программ) и технические (ЭВМ и внешние устройства) — в настоящее время действительно преодолимы. Несмотря на отсутствие поддержки со стороны представителей «теоретического АП», у нас все же велись, хотя и в недостаточной степени, действительно прикладные исследования и разработки. Имеется немалый опыт построения больших машинных словарей, алгоритмов анализа и синтеза, программирования и экспериментов на ЭВМ. Все это является хорошей основой для создания практических систем МП. Организационные трудности также в значительной мере снимаются благодаря созданию специальной организации — Всесоюзного центра переводов (ВЦП), на которую возложена задача координации всех работ в этой области и построения практических систем МП в течение ближайших лет. Проходивший в Москве осенью 1975 г. Международный семинар по машинному переводу показал, что лингвисты снова все больше начинают интересоваться прикладными исследованиями, направленными на решение задачи МП³⁶.

Общее направление работ по созданию практических систем МП должно опираться на реально имеющийся опыт формализации описания языкового материала, разработки алгоритмов и программирования, а не на непроверенные гипотезы и теории. При этом исследования и разработки должны исходить из следующих принципов:

- 1) ориентация на системы перевода для конкретных пар языков, для отдельных подязыков и, если необходимо, для отдельных классов информационных документов;
- 2) изучение и описание конкретных подязыков с той степенью детализации, которая реально необходима и может быть использована в алгоритмах;
- 3) широкое использование статистических данных о распределении лингвистических единиц в текстах с учетом их окружения и особенностей языковых структур при построении словарей и алгоритмов;

³⁶ «Международный семинар по машинному переводу. Москва, 25—27 ноября 1975 г. Тезисы докладов и сообщений». М., 1975.

4) согласованность и подчиненность описания лингвистического материала алгоритмам;

5) построение полных систем алгоритмов и программ по модульному принципу с учетом возможности (в определенных пределах) изменений состава лингвистической информации и самих алгоритмов;

6) использование имеющихся средств автоматизации программирования для составления экспериментальных и рабочих программ и современных машин серии ЕС ЭВМ;

7) накопление опыта, экспериментальная проверка частных правдоподобных гипотез и совершенствование систем МП³⁷.

В соответствии с этими принципами, очевидно, нужно вести и прикладные лингвистические исследования в области МП, ориентируясь сначала на более простые задачи, затем, по мере их решения, на более сложные. Это обычный путь решения любой научно-технической задачи, к сожалению, забытый в «лингвистике АП», которая предполагает сначала получить универсальное решение проблемы в целом (одновременно признавая недостижимость этой цели) и только затем на этой основе браться за решение частных задач.

Сказанное не означает недооценки теории и соответствующих исследований и не должно пониматься как требование свертывания теоретических исследований в угоду потребностям сегодняшнего дня. Теоретические исследования, разные по целям, задачам и ожидаемым срокам их завершения, должны проводиться и в прикладном, и в общем языкознании. Однако несомненно, что, не дожидаясь их завершения, должны производиться поиски и разработки «приближенных» методов лингвистических решений для задач практического МП при достигнутом уровне знаний и на имеющихся в настоящее время технических средствах. Наличие хотя бы простейших систем МП и их эксплуатация позволяют своевременно проверять промежуточные результаты теоретических построений в области языка и корректировать их дальнейшее развитие. Именно такой путь обеспечит непрерывность совершенствования систем МП на основе приобретаемого опыта, проверенных результатов теории и новых технических средств.

Современное состояние лингвистических исследований, таково, что дальнейшее отсутствие практики, т. е. действующих систем МП, тормозит не только его развитие, но и разработку самой лингвистической теории. Поэтому и необходимо рациональное сочетание теории с практикой и усиление прикладных лингвистических исследований в интересах реализации машинного перевода и решения других актуальных задач, связанных с автоматизацией информационных процессов в народном хозяйстве страны.

³⁷ Более подробно стратегия и тактика решения задачи построения практических систем МП в ближайшее время изложены в указанной статье В. Н. Герасимова и Ю. Н. Марчука.

М. П. ЧХАИДЗЕ

ЕЩЕ РАЗ О МИФАХ И ПРАВДЕ МАШИННОГО ПЕРЕВОДА

Как известно, машинный, или автоматический, перевод не получил того мощного развития, которое пророчили ему зачинатели этого дела. Началось оно недавно, всего два десятка лет назад; официальным годом рождения машинного перевода (МП) считается 1954 г. (январь), когда впервые был получен перевод одной русской фразы на английский язык с помощью электронно-вычислительной машины типа IBM-701. Этот эксперимент носит название «джорджтаунского эксперимента» и осуществлен группой специалистов во главе с П. Гарвином, П. Шериданом и Л. Достертом¹. Предсказание дальнейшего успешного развития автоматического перевода (АП) основывалось на бурном развитии молодой науки кибернетики и на огромных возможностях электронно-вычислительных машин (ЭВМ).

На первом же этапе разработки процедур МП выявились непреодолимые барьеры на его пути: омонимия, многозначность слов, различие от языка к языку в синтаксических конструкциях при выражении одной и той же мысли — немец говорит «учусь на университете» (*an die Universität*) вместо русск. «учусь в университете», француз говорит «живу Москва» (*j'habite Moscou*, как бы «обживаю Москву») вместо русск. «живу в Москве», и так далее без конца; языковые способы передачи одной и той же мысли на разных языках оказываются сплошь и рядом неподходящими.

Но в самом начале условия казались настолько обнадеживающими, что считалось несомненным достижение полного, высококачественного машинного перевода в течение каких-нибудь четырех-пяти лет. Однако прошло намеченных пять и даже двадцать лет с того периода, а в стране нет не только высококачественного, но и «грубого» промышленно пригодного автоматического перевода. Более того, под сомнение была поставлена вообще возможность его получения в ближайшем будущем. Об этом недвусмысленно было сказано уже десять лет спустя после начала работы в решении специальной правительственной комиссии ученых США, опубликованных в 1966 г.² Однако за рубежом это не помешало осуществлять «грубый» машинный перевод научно-технических текстов.

В нашей стране этот документ, поворот к теоретическим исследованиям, а также некоторые другие факторы сыграли решающую роль в немедленном и широком распространении мнения о полной бесперспективности АП. Это мнение официально было высказано в таком авторитетном сборнике, как «Общее языкознание», в следующей форме: «...заманчивая, но несбывшаяся идея машинного перевода»³.

¹ B. Renard, *Traduction mécanique des langues*, «Premier congrès international de cybernétique, Namur 1956», Paris — Namur, 1958.

² «Language and machines», сб. «Computers in translation and linguistics», Washington, 1966; см. также сокращенный русский перевод: «Язык и машины», НТИ, 1968, 8, стр. 25—36.

³ «Общее языкознание», М., 1970, Предисловие, стр. 5.

И неудивительно, что после распространения такого мнения о МП, основанного на досадных, временных (в определенном смысле) неудачах, стали повсюду более или менее свертываться соответствующие работы по АП. Причем некоторые ученые сочли нужным специально говорить об этих неудачах, по-видимому, с целью предостеречь других от занятия таким бесперспективным делом. Другие же, обходя АП, развернули работы по смежным областям. Например, группа Р. Г. Пиотровского определила цель своих исследований так: вместо МП развивать инженерную лингвистику (что, кстати, представляет большой интерес), которая «сосредоточила свое внимание на построении таких машинных моделей, которые перерабатывают, в основном, легко формализуемые и алгоритмизуемые стороны языка»⁴, и таким путем осуществляет информационные поиски по текстам.

А вот А. Л. Пумпянский, ведя исследование (и не без успеха) в русле той же инженерной лингвистики, более резко «отмежевывается» от АП, как бы уверяя своего читателя в том, что его работа свободна от «грехов» сомнительного занятия по машинному переводу. Он пишет: «Инженерная лингвистика» предполагает заниматься не переводом, а выявлением с помощью машины информации, дающей сведения об основной тематической направленности обрабатываемых научных и технических текстов. Никакого отношения к проблеме высококачественного перевода научной и технической литературы эти предполагаемые исследования не имеют»⁵.

Между тем, не только работа А. Л. Пумпянского, но и инженерная лингвистика в целом, как занимающаяся теорией и практикой организации информационного поиска по тексту, имеет в конечном счете несомненное отношение к теории и практике машинного перевода, пусть невысококачественного, но автоматического перевода. Ибо достижение автоматического поиска языковых информации по тексту мыслится как о с н о в а для осуществления перевода с языка на язык. Наряду с этим, имеются и оптимистические высказывания, согласно которым МП, представляющий перспективнейшую область исследований и одновременно область экспериментальной проверки лингвистических теорий, в принципе, безусловно, осуществим. Однако выдвигается условие, что «сначала должна быть проделана весьма трудоемкая лингвистическая работа по формализованному описанию языков и только затем ее результаты могут быть использованы для построения системы АП»⁶. Это может быть понято как уход от решения практической задачи АП на неопределенный срок.

Будучи лингвистом старшего поколения, но имеющим более чем десятилетний стаж экспериментальной работы по осуществлению автоматического перевода с русского на грузинский и обратно, я позволю себе высказать свои соображения по затронутому вопросу.

Мне кажется, что преждевременно и несправедливо был вынесен «смертный приговор» машинному переводу, возможностям его осуществления вообще. Следовало, прежде всего, строго разграничить между собой две вещи: возможность создания «грубого» автоматического перевода промышленного характера и теоретические исследования в интересах получения высококачественного перевода в будущем.

⁴ К. Б. Бектаев, С. К. Кенесбаев, Р. Г. Пиотровский, Об инженерной лингвистике, ВЯ, 1973, 2, стр. 20.

⁵ А. Л. Пумпянский, Информационная роль порядка слов в научной и технической литературе, М., 1974, стр. 8.

⁶ О. С. Кулагина, И. А. Мельчук, Автоматический перевод: краткая история, современное состояние, возможные перспективы, сб. «Автоматический перевод», М., 1971, стр. 12, 24.

Под промышленным, «грубым», автоматическим переводом подразумеваем создание такой процедуры (правил перевода, алгоритма, таблиц и т. п.), которая обеспечивала бы автоматический перевод с языка на язык текста (на первых порах только научно-технического) в любом размере с помощью машины. Смысл такого АП состоит в том, что он должен успешно обеспечивать растущие потребности информационного перевода. Легко понять, что в случае осуществления такого АП, его эффект был бы огромным. Достижение же высококачественного АП на современном этапе оказалось, по всеобщему признанию, утраченной для современности мечтой.

И оглядываясь немного назад, приходится удивляться тому, как тот или иной ученый вообще мог подумать о достижимости промышленно пригодного перевода (и не только такого, — даже универсального АП!) за какие-нибудь десять лет. Я имею в виду не только трудности чисто переводческие, о которых немало написано в специальной литературе — о барьерах на этом пути (о них упоминалось вскользь и выше), о специальных машиннопереводческих грамматиках, которые еще не написаны ни для какого языка. Поучителен один, давно имевший место случай из практики одной тбилисской лаборатории по АП. При экспериментах машина упорно выдавала форму «биный» вместо «битый» как причастие страдательного залога от «бить». Стали доискиваться причины. Выяснилось: составители правил, алгоритма для машины, забыли различить (в правилах) две формы страдательного причастия — на *-ни-* (*сделать — сделанный, убрать — убранный* и т. д.) и на *-т-* (*бить — битый, крыть — крытый* и т. д.). А раз люди не различили предварительно, то, естественно, машина не могла «догадаться» различить их (она таких способностей не имеет — ей надо все предусмотреть и предсказать заранее, только тогда она выполняет задание безукоризненно). Но легко сказать «предусмотреть»! В данном случае это означало бы: 1) дать машине (записать в ней) два списка русских глаголов (а их тысячи), в одном списке поместить глаголы, образующие страдательные причастия через *-т-*, в другом — глаголы, образующие страдательные причастия через *-ни-*; 2) записать дополнительный приказ машине, примерно так: «Проверь, в первом ли списке тот глагол, причастие которого формируется» (это значит, что машина должна перебрать все глаголы первого списка, чтобы удостовериться в нахождении там искомой формы); далее: 3) «если да, то образуй его причастие через *-т-*. Если нет, образуй причастие через *-ни-*». В современных грамматиках, рассчитанных на человеческое комплексное мышление, это правило формулируется двумя-тремя словами и двумя-тремя примерами — *сделать — сделанный* и т. д., *бить — битый* и т. д. Но для машинного дискретного «мышления» это «и т. д.» ничего не означает, ей подавай все полностью списочно и каждую словоформу отдельно, однозначно. Такую грамматику по всем грамматическим правилам (их сотни тысяч) лингвистам предстоит еще составить, если мы серьезно думаем о машинном переводе.

И разве только формы надо предусмотреть машине? А семантику! Вряд ли сейчас найдется лингвист, который остался бы безучастным к актуальнейшим проблемам дня — проблемам соотношения поверхностного и глубинного синтаксиса, соотношения смысла и текста, разрабатывая которые можно будет «снять» поразительные расхождения от языка к языку в поверхностно-синтаксических структурах при выражении одной и той же мысли (иначе люди, говорящие на разных языках, не понимали бы друг друга). На очередь дня поставлен вопрос о выработке единой системы записи этого общего для всех языков смысла сказанного при всем различии их синтаксических структур в плане выражения (семанти-

ческая запись), а потом выработки правил, которые позволят нам (стало быть и машине) разобраться, когда какую форму надо брать для выражения данного смысла согласно законам поверхностного синтаксиса данного языка. Тут непочатый край работы, необходимой для продвижения вперед в деле формализации лингвистических фактов и дальнейшей автоматизации их анализа и синтеза. При этом необходимо сочетание теории с практикой, т. е. создание практических систем АП и их постепенное улучшение.

И все же, выражая удивление по поводу детски наивных просчетов в отношении сроков создания промышленно пригодного перевода, я имею в виду не эти барьеры, которые можно считать преодолимыми если не скоро, то во всяком случае в течение ориентировочно намечаемого длительного времени. Я имею в виду прогнозы, которые само собой вытекают из марксистско-ленинского учения об истине, о путях достижения научной истины и закономерности развития науки. Марксизм учит, что истина всегда конкретна и что восхождение на научную вершину происходит не прямолинейным ходом, не «лобовой атакой», а постепенно, посредством ряда проб и отыскиваний новых позиций для такого восхождения (восхождение по спирали). Достигнув доступной для данного этапа вершины, исследователь обнаруживает новые горизонты, новые манящие к себе вершины. Этому прогрессу науки не может быть конца.

Наука служит благородной цели восхождения на вершину знаний. Эта задача решается наукой не оптом и не в форме, пригодной для всех грядущих эпох, а в размере, доступном для данной эпохи развития. В нашем деле самой большой вершиной является создание системы у н и в е р с а л ь н о г о автоматического перевода, так же как для кибернетиков — создание искусственного мозга, искусственного интеллекта, что тоже нельзя решить сразу, в одну эпоху. В этом смысле эти проблемы — не актуальные проблемы сегодняшнего дня. Но актуальны проблемы, связанные с восхождением на ближайшие «пики», доступные нам уже сейчас и подготовленные для решения ходом истории.

Из этого следует, что желательно сочетать эксперименты и лабораторные исследования с теоретическими разработками по линии АП. Кстати, для этого советская наука располагает прекрасной теоретической базой: общеизвестно (и у нас, и за границей), что теория машинного перевода разработана в Советском Союзе лучше, чем где-либо. Препятствие дороге претворению в жизнь АП, браваדות усилия практиков этого дела на том основании, что создание высококачественного машинного перевода пока не завершено, равносильно тому, если бы кто-нибудь вздумал забракковать теоретическое наследие Циолковского на том основании, что сам Циолковский не решил всех проблем на будущее.

Дальнейший успех АП зависит также от состояния и развития кибернетических машин, тех самых ЭВМ, которые ввиду универсальности системы с одинаковым успехом сажают луноход на луну, управляют заводом, играют в шахматы, переводят с языка на язык пробные (пока) предложения и т. д.

Развитие машинного перевода не следует связывать с отсутствием до настоящего времени так называемого читающего устройства для ЭВМ, т. е. такого приспособления, с помощью которого текст вводится в машину прямо со страницы книги: его пока приходится подавать машине разными способами о т р у к и. Сейчас в этом деле наметились определенные сдвиги, отраженные и в решениях той же американской комиссии: «Работы по созданию автоматического читающего устройства достигли сейчас той стадии, когда уже нельзя оставлять без внима-

ния вопрос о том, насколько это последнее сократит стоимость и повысит эффективность АП» (Language, 1966: 32—33) ⁷.

Уже при беглом просмотре работ по АП последних лет у нас и за границей видно, что почти все они сосредоточены вокруг одной основной проблемы на сегодня — проблемы автоматизации поиска языковых и формаций самого различного характера. Сюда входит информационный поиск по тексту с целью автоматического анализа, т. е. подготовки входного языка для перевода, также поиск с целью автоматического синтеза, т. е. подбора форм выходного языка. Особенно актуален и труден поиск семантических соответствий между языками.

Не имеет смысла в данной статье детально знакомить читателя с проводимыми у нас в группе (в Вычислительном центре АН ГрузССР) работами по АП (кстати, они пока весьма скромны). Определенное представление о них может дать изданная печатная литература ⁸. Но хотелось бы поделиться опытом, который мы извлекли из этих работ.

Прежде всего, желательно работу проводить поэтапно, имея в виду постепенное усовершенствование выработанной системы (процедуры) автоматического перевода от этапа к этапу, чтобы к каждому следующему этапу (следующему «заходу») прийти обогащенным опытом, с расширенной и определенным образом приближенной к «сто процентному АП» системой перевода.

В опубликованных итогах экспериментов одной из московских групп АП сказано: «Анализ полученных на ЭВМ переводов показал, что 84% фраз переведены по смыслу правильно, а 16% фраз или труднопонимлемы, или совсем непонятны» ⁹. Успешный перевод 84% фраз — это уже немалое достижение. Но из нашего опыта несомненно и то, что при дальнейшем усовершенствовании взятой системы задачи усложняются невероятно; так, к примеру, улучшение на каждый один (следующий) процент требует, чтобы было проделано работы примерно вдвое больше, чем на предыдущем этапе. При этом нужно учесть еще увеличение работы, вызванное переходом на анализ сплошного текста вместо выбранных фраз, и увеличение, вызванное расширением тематики перевода, переходом от одного вида научно-технических текстов к другому, затем к другим видам текста — общественно-политическому и т. д. ¹⁰.

Оказалось, что если на начальном этапе работы лингвистическую часть исследования и удобно вести независимо от плана работы математи-

⁷ М. Мастерман, Полуавтоматический перевод с английского языка на французский: система «человек — машинный тезаурус», сб. «Автоматический перевод», стр. 266.

⁸ М. П. Чхайдзе, Алгоритмы грузинского синтеза при машинном переводе с русского языка, Тбилиси, 1968. Имеется также ряд публикаций и других сотрудников АН ГрузССР.

⁹ Ю. А. Моторин, Ю. Н. Марчук, Реализация автоматического перевода на современных серийных ЭВМ общего назначения. «Вопросы радиоэлектроники», серия ЭВТ, 1970, 7, стр. 28.

¹⁰ Научно-технические тексты считаются более легкими для АП, чем, скажем, общественно-политические, ввиду наличия в первых большего количества однозначных слов и терминов. Но эта легкость относительная: неадекватность, прежде всего, словарных единиц одного и того же содержания налицо в любой паре языков и в большом количестве. Достаточно для иллюстрации сослаться на один пример: англ. *push-down-store* в русском принято передавать через «магазинная память». И это довольно удачно: это память машины, куда вводится и откуда выводится информация по принципу «последнее ввел, первым выбрал» (на манер магазинной коробки винтовки). Но дословно *push-down-store* означает «толкай-вниз-склад». Из этого сочетания слов, без подачи его в определенной словарно-алгоритмической переработке, машина никак не сможет «догадаться», что речь идет о системе работы памяти и подыскать в переводе именно сочетание «магазинная память».

ков-программистов, ответственных за создание программы перевода и ее машинное обеспечение, то в дальнейшем между ними должна быть очень тесная связь¹¹. Такая необходимость диктуется тем, что программисты могут помочь лингвистам определить возможности реализации их работы, экспериментально проверять их построения. Существующее отставание в сроках реализации лингвистической программы у математиков от времени создания продукции у лингвистов на 2-3 года, а то и на 5-6 лет трудно считать нормальным явлением. Ввиду специфики машинной обработки языковых фактов, главным образом ввиду сложности лингвистического алгоритма, у лингвистов должна быть возможность проверить действенность отдельных частей его на машине, не дожидаясь его завершения в целом. А если алгоритм и таблицы построены по открытой системе, позволяющей вносить изменения (улучшения) в ходе работы алгоритма без изменения самой системы в целом, то можно постепенно совершенствовать систему.

У лингвистов и математиков-программистов действительно непростой край работы в области АП. Эти работы по исследованию лингвистического материала и подготовке его к реализации на машине можно разделить на шесть главных этапов или уровней: 1) словари основ обоих языков (входного и выходного); 2) морфологический анализ входного языка; 3) синтаксический анализ входного языка; 4) семантический анализ и синтез; 5) синтаксический синтез выходного языка; 6) морфологический синтез выходного языка.

Работа на этих уровнях может вестись параллельно и относительно независимо друг от друга, иногда еще с дроблением задачи одного уровня на определенные подтемы, но при четкой постановке общей задачи¹². Однако после того, как созреют плоды исследования на всех уровнях, следует нацелить всю работу на решение основной задачи, на создание «сквозной» системы процедуры перевода «от входа — до выхода» и реализации ее на ЭВМ. А этого можно достигнуть только при том условии, если на всех упомянутых уровнях исследование велось целенаправленно, имея в виду, что данные одного уровня значимы не сами по себе (как некая ценность, завязанная в узел и брошенная на месте), а для приобщения их к данным следующего уровня, а затем следующего и т. д., пока все они не разрешатся в наивысшем уровне семантической интерпретации, снятия семантических неадекватностей между языками и создания автоматически действующей полной системы перевода.

Задачи настолько сложны, что без привлечения большого количества ученых-энтузиастов (и только их!) эти задачи никак не решить. В то же время нелишне предупредить новичков, решивших посвятить себя этой трудной, но актуальной области прикладной лингвистики, не браться за дело без специальной на то подготовки и предварительно не взвесив всесторонне, насколько трудный путь деятельности они для себя выбирают.

За последнее время наметилось некоторое оживление работы по АП как у нас, так и за границей. Чтобы правильно судить об этих сдвигах,

¹¹ С самого начала работы в этом направлении стало ясно, что успех в осуществлении АП может быть достигнут только на основе сотрудничества лингвистов и математиков, ибо осуществление перевода происходит на ЭВМ, созданной в первую очередь для решения математических задач и обслуживаемой математиками-программистами (не говоря об инженерах), и это ставит лингвиста в зависимое положение. Конечно, ideally было бы иметь достаточное количество специалистов, глубоко ориентировавшихся одновременно и в математике, и в лингвистике; но так как таких специалистов единицы, приходится делать ставку на сотрудничество.

¹² В нашей группе на данном этапе ведется словарная работа, рассчитанная на несколько лет: составляется Автоматический словарь грузинских глаголов, этого исключительно сложного и трудно формализуемого класса слов в грузинском языке.

надо иметь в виду, что вопросы теории и практики машинного перевода обсуждаются не всегда на чисто машиннопереводческих форумах и семинарах, но и на других совещаниях по разным вопросам языкознания, а также обработки информации вообще. Эти работы, выполняемые с применением вычислительной техники, известны под названием **вычислительной лингвистики** (computational linguistics).

В 1973 г. состоялась Международная конференция по вычислительной лингвистике, на которой обсуждались следующие вопросы: 1) алгоритмы автоматической обработки текстов, 2) семантические исчисления, 3) организация лингвистических данных, 4) построение лингвистических моделей, 5) проблемы грамматического анализа текстов на разных уровнях и др.¹³ В частности, «конференция показала, что вычислительные машины на данном этапе находят широкое применение также при решении самых разнообразных лингвистических задач — сбор данных о языке, автоматизация лингвистических исследований, анализ устной речи. Во многих странах ведутся работы по построению систем машинного перевода, информационно-поисковых систем и т. п.»¹⁴.

Что касается работ по построению систем машинного перевода, то следует особо выделить работы, ведущиеся в Гренобле (Франция) и в ряде исследовательских центров США. В частности, значение того, что сделано в гренобльском Центре исследований по автоматическому переводу (ЦИАП) под руководством проф. Б. Вокуа для развития теории и практики машинного перевода, трудно переоценить. К этому мнению приходят специалисты, близко знакомые с созданным там автоматическим словарем в 700 000 слов, с целым рядом взаимоувязанных алгоритмов, а также с формализованными описаниями грамматики и т. д.¹⁵.

Обращают на себя внимание также работы Б. Достерт в Америке, которая, как видно было из ее докладов в Институте систем управления АН ГрузССР в 1974 г., сумела однажды за сутки перевести на английский язык (с помощью сорока девушек, выполнявших техническую работу) на машине целую русскую научно-техническую книгу размером в 400 с лишним страниц. Правда, перевод был, по выражению самого экспериментатора, «ужасным», но настолько доброкачественным с точки зрения передачи смысла оригинала, что инженер-потребитель, специалист по данной отрасли знания, легко его отредактировал и с благодарностью воспользовался переводом на другой же день. Кстати, ввиду сложности русского формообразования получить автоматический обратный перевод (с английского на русский) такого же качества и в такой короткий срок с помощью существующих алгоритмов значительно труднее.

Достойны упоминания также работы, ведущиеся в ФРГ. Там широко ведутся опыты по использованию машины в качестве помощника человеку в подборе нужных слов и форм. И легко заметить, насколько облегчается этим задача писателя, переводчика, ученого, когда, работая рядом с машиной и интересуясь, скажем, синонимом какого-нибудь слова, он может получить мгновенно от машины (одним нажатием соответствующей кнопки) все синонимы данного слова на выбор (они заранее записаны в машину). А ведь известно, что на придумывание нужного синонима люди порой тратят часы и даже дни.

¹³ Н. Г. Арсентьева, О. С. Кулагина, Международная конференция по вычислительной лингвистике (Пиза, Италия, 27 августа — 1 сентября 1973 г.), «Машинный перевод и прикладная лингвистика», 17, М., 1974, стр. 197.

¹⁴ Там же, стр. 207.

¹⁵ Б. Вокуа, О деятельности Центра исследования по автоматическому переводу при Национальном центре научных исследований, Франция, сб. «Автоматический перевод».

Определенное оживление работы по АП наблюдается и у нас. Сошлюсь на два факта: 1) образован Всесоюзный центр переводов научно-технической литературы и документации ГКСМ СССР НТ и АН СССР (ВЦП), в котором создан специальный отдел машинного перевода с широкой программой работ на базе проводившихся в стране исследований по АП; 2) 25—27 ноября 1975 г. в Москве состоялся Международный семинар по машинному переводу, на котором были представлены интересные доклады работников по АП из Москвы, Ленинграда, Киева, Минска, Иркутска, Чимкента, Кишинева, Горького, Харькова, Новочеркасска, Махачкалы, Еревана, а также из зарубежных стран — ГДР, Чехословакии и Польши¹⁶.

Подводя итоги, мы можем сказать, что период застоя сейчас преодолевается и что дальнейший успех в области разработки проблем АП во многом зависит от правильной оценки задач на сегодня, в частности, от понимания того, что не следует сразу замахиваться на решение проблемы во всем ее объеме, а нужно стараться улучшать достигнутое и, вооружаясь все большими и большими знаниями, двигаться вперед.

¹⁶ «Международный семинар по машинному переводу. Москва, 25—27 ноября 1975 г. Тезисы докладов и сообщений», М., 1975.

Н. Д. АНДРЕЕВ

КВАЗИЛИНГВИСТИКА ХОМСКОГО

(О причинах неудачи порождающих грамматик)

Чтобы оценить адекватность какой-либо теории тому объекту, который она стремится описать, нужно исходить не из правил игры, декретируемых авторами этой теории, а из существенных свойств объекта, не зависящих от наличия или отсутствия теоретиков вокруг него.

Из этого следует, что, применяя математические методы за пределами собственно математики, т. е. к изучению объектов нематематической природы, мы не имеем права переносить на последние ту свободу обращения со своим предметом, которую так любят математики и которая кончается у проходной математического цеха.

Математическая модель, примененная за пределами математики, оказывается на уровне тени или отражения в воде: во-первых, никакая модель в конечном счете не тождественна воспроизводимому объекту, во-вторых, ее конструктивные характеристики отнюдь не свободны, а, напротив, заданы реальными свойствами моделируемого объекта.

Об этом радикальном различии между математикой и вещественно-предметными науками забывают многие исследователи, занимающиеся построением логико-математических моделей языка, — с тем результатом, что их продукция, небезынтересная для психологии научного творчества, в итоге оказывается иррелевантной по отношению к естественным языкам.

Именно к этому классу ситуаций принадлежит тупик, в который зашли трансформационный анализ, порождающая грамматика и порождающая семантика, которые мы в дальнейшем будем обозначать общим названием квазилингвистики Хомского. В корпусе накопленных наукой достоверных знаний о языке содержатся многочисленные факты, свидетельствующие о том, что к числу наиболее существенных, фундаментальных свойств языка принадлежат четыре пары диалектически противоречивых характеристик: 1) язык одновременно оказывается синхронически стабильным и диахронически изменчивым; 2) язык одновременно выступает как социально обусловленная система и как индивидуально варьируемое отклонение от нее; 3) язык одновременно характеризуется структурной упорядоченностью своих единиц и вероятностной неопределенностью их выбора; 4) язык одновременно обладает синтагматической однозначностью составных единиц и парадигматической многозначностью их компонентов.

Если концептуальная схема, претендующая на роль теории по отношению к языку, не в состоянии удовлетворительным образом объяснить четыре названные выше антиномии, то из этого следует, что данная схема, быть может, и является теорией чего-то, но это описываемое ею что-то представляет собой некий специфический объект, который нельзя отождествить с естественным языком.

Именно так обстоит дело с квазилингвистикой Хомского: по отношению к естественным человеческим языкам эта концептуальная схема продемонстрировала очевидное бессилие. Ни изменчивость языка, ни его социаль-

ная обусловленность, ни его вероятностные характеристики, ни полиморфизм компонентов его сложных целых не получили удовлетворительного объяснения в квазилингвистике Хомского.

В квазилингвистике Хомского объект исследования выступает, во-первых, как имманентно стабильная система, употребляемая в рамках некоторого панхронически фиксированного набора правил порождения; во-вторых, как система, возникающая у индивида в силу его врожденной способности к речевой деятельности; в-третьих, все элементы и операторы этой системы в равной мере безразличны по отношению к вероятностным распределениям; в-четвертых, язык представляется как вполне детерминированная система перехода от глубинных структур к поверхностным.

Начнем с последнего положения как легче всего поддающегося анализу. Оно построено на молчаливом предположении того, что переход от мысли к высказыванию *о д н о з н а ч н о* определяется некоторой детерминированной последовательностью операций, т. е. *а л г о р и т м о м* перехода. Однако это чрезвычайно ответственное допущение нигде не доказывается: ни в одной из многочисленных работ самого Хомского, а также ни в одном из еще более многочисленных сочинений его последователей не делается хотя бы слабой попытки доказать существование такого детерминизма. Конечно, допущение Хомского об алгоритмическом характере перехода от мысли к высказыванию может быть сформулировано и без доказательств, на уровне постулата, однако это возможно лишь при том условии, что ему не будут противоречить факты естественных языков.

Рассмотрим простейший пример из русского языка. Внук спрашивает своего деда после месячного отсутствия: *А куда девался тот слабенький цыпленок?* Один из возможных ответов будет таким: *Тот слабенький цыпленок давно уже съеден соседской кошкой.* Другой прозвучит почти тождественно первому: *Того слабенького цыпленка давно уже съела соседская кошка.*

Совершенно очевидно, что в этих двух ответах совпадают: а) денотат, б) лексическая семантика, в) стилистическая характеристика, г) актуальное членение. Различие между ответами сводится к оппозиции залоговых конструкций — пассивной в первом случае, активной во втором. Спрашивается, каким внутренним элементом языковой структуры детерминирован выбор одного из этих двух ответов? Иначе говоря, где тот оператор, который обязывает говорящего предпочесть — в терминах квазилингвистики Хомского — переход от ядерной структуры к развертыванию фразы в пассиве переходу от этой последней к развертыванию фразы в активе? Или, наоборот, где тот оператор, который заставляет говорящего поступить противоположным образом? Если же таких операторов безусловного перехода нет, иначе говоря, если наличествуют лишь операторы условного перехода, т. е. существует альтернатива выбора, то каковы те условия, которыми этот выбор определяется?

В книге «Синтаксические структуры»¹ Хомский рассматривал пассивную трансформацию как *ф а к у л т а т и в н у ю*, т. е. истолковывал выбор между активной и пассивной конструкциями в терминах работы оператора *у с л о в н о г о* перехода. Однако относительно условий, определяющих эту работу, во всей книге не было сказано ни слова; тем самым, вопрос о том, являются ли эти условия внутрilingвистическими или экстралингвистическими, на том этапе попросту не рассматривался.

¹ N. C h o m s k y, Syntactic structures, The Hague, 1957, Section 2.4.

После выхода в свет работы Каца и Посталя² Хомский пересмотрел свою точку зрения и в книге «Аспекты теории синтаксиса»³ стал расценивать пассивную трансформацию уже как обязательную — в том смысле, что существует некий фразовый маркер (а именно № 26), появление которого где-то на полпути между глубинной структурой и поверхностной делает применение пассивной трансформации принудительным. Иначе говоря, переход к пассивной конструкции рассматривается теперь в терминах работы оператора без условного перехода.

Рассмотрим внимательнее ситуацию, возникающую после введения такого оператора в трансформационную грамматику. Оператор «фразовый маркер № 26» ни в коем случае не может принадлежать глубинной структуре, весь смысл постулирования которой именно в том, чтобы сконструировать и вариант различных поверхностных структур (в данном случае активной и пассивной). Об имманентной непричастности глубинной структуры к специфическим чертам разных поверхностных образований Хомский говорил так часто и столь обязывающим образом, что отказаться от данного постулата значило бы лишить фундамента все «здание», после чего оно либо повисло бы в воздухе, либо рухнуло бы. Поэтому остается единственный выход: поместить «фразовый маркер № 26» между глубинной и поверхностной структурами, т. е. в *н и т р ь* алгоритма перехода от первой ко второй.

Известно, что любой оператор алгоритма (независимо от того, условный он или безусловный) имеет не только выход, но и вход, т. е. включает некоторым другим оператором. Однако никакого указания на связь «фразового маркера № 26» с работой каких-либо предшествующих операторов в трудах Хомского, опубликованных до 1976 г., не содержится.

Таким образом, в лице «фразового маркера № 26» мы получаем удивительный феномен: данный оператор однозначно детерминирует переход к пассивной грамматической конструкции и благодаря этому составляет часть грамматического уровня языка, однако природа включения самого этого оператора остается полностью скрытой, в силу чего цена его собственного детерминизма неотличима от нуля.

Все это означает, что в логической строгости алгоритма, предложенного Хомским для синтезирования синтаксических конструкций, обнаруживается большая и неприятная лакуна. Таким образом, надо либо указать на источник включения оператора безусловного перехода, либо признать его оператором условного перехода, одновременно назвав те условия, которые определяют его работу. Последнее может оказаться сопряженным с отказом от однозначности и алгоритмичности процессов синтеза предложения, что, по-видимому, и послужило причиной тупика, создавшегося в этом месте квазилингвистики Хомского.

Коль скоро мы разрешим себе выход за пределы этой квазилингвистики, сразу же возникает возможность получить естественный ответ на вопросы, поставленные выше. Прежде всего обратим внимание на то, что в ряде подязыков построение фразы в пассиве значительно более распространено, чем это имеет место для языка в целом. Рассмотрим следующие примеры.

В новой серии экспериментов нами были исследованы параметры фазового перехода вместо: В новой серии экспериментов мы исследовали параметры фазового перехода (физика); Гипотеза Римана с этой точки зрения нами еще не рассматривалась вместо: Мы еще не рассматривали гипотезу Римана с этой точки зрения (математика); Формула бензойного кольца

² J. J. Katz, P. M. Postal, An integrated theory of linguistic descriptions, Cambridge (Mass.), 1964.

³ N. Chomsky, Aspects of the theory of syntax, Cambridge (Mass.), 1965.

была открыта ее автором во сне вместо: Автор формулы бензойного кольца открыл ее во сне (химия); В нашей стране паровозы давно уже заменены тепловозами и электровозами вместо: В нашей стране тепловозы и электровозы давно уже заменили паровозы (техника).

Естественно, что человек, часто употребляющий такие конструкции в силу принадлежности к соответствующей профессии, будет иметь подсознательную тенденцию переносить привычные для него обороты речи за пределы своего профессионального подязыка и произвольно предпочтет первый ответ второму.

С другой стороны, диалогический контекст индуцирует особые корреляции между вопросом и ответом: структура вопроса тем сильнее влияет на структуру ответа, чем большей внушаемостью характеризуется отвечающий. Личностные особенности участника диалога в этом случае также повысят вероятность выбора первого варианта ответа. Эти два совершенно разнородные аспекта языковой ситуации объединяются не столько тем, что в обоих случаях повышена вероятность выбора пассивной конструкции (хотя это вполне справедливо), сколько тем, что и в первом и во втором случае фактор, влияющий на выбор, оказывается безусловно экстралингвистическим.

Но ведь признание экстралингвистичности каких-то факторов, работающих в тесном взаимодействии с внутрилингвистическими факторами в процессе синтеза речи, означает, что, во-первых, нельзя утверждать, будто однозначность (и тем более алгоритмичность) органически свойственна этому процессу, и что, во-вторых, наряду с внутрилингвистическими компонентами, т. е. наряду с компонентами, при описании которых еще можно питать какие-то надежды на полную формализацию, в процессе синтеза речи участвуют и экстралингвистические факторы, т. е. такие, полная формализация которых, согласно теореме Гёделя, вообще недостижима.

Конечно, участие экстралингвистических факторов в синтезе текста делает все причинно-следственные отношения в речи не жестко детерминированными, а вероятностными, но именно эта их особенность и не укладывается в трансформационные и генеративные модели.

Стремление к однозначным решениям в квазилингвистике Хомского выражается не только в попытках жестко детерминистского объяснения переходов от мысли к речи, но и в пренебрежении к типологическим различиям между языками. Порождающие схемы у Хомского строятся с очаровательно наивной верой в то, что все необходимое и достаточное для описания английских структур будет так же необходимым и столь же достаточным при описании прочих разных языковых систем, т. е. он исходит из допущения, что трансформационные и генеративные компоненты английской языковой системы являются сплошными универсалиями.

На англоцентризм построений Хомского уже указывали многие, например, Коллиндер⁴, однако с наибольшей решительностью эту слабость квазилингвистики вскрыл Даниэльсен⁵. Опираясь на материал более чем тридцати языков, он показал, что выполненный Хомским в его книге «Язык и мышление»⁶ анализ предложения *A wise man is honest*, во-первых, плохо экстраполируется внутри даже английского языкового материала,

⁴ B. Collinder, Noam Chomsky und die generative Grammatik. Eine kritische Betrachtung, Uppsala, 1970, стр. 24.

⁵ N. Danielsson, Das generative Abenteuer, «Språkliga bidrag. Meddelanden från seminariet för slaviska språk vid Lunds Universitet», 6, 26, Lund, 1971.

⁶ N. Chomsky, Language and mind, New York — Chicago — San Francisco — Atlanta, 1968.

во-вторых, никак не может быть сочтен достаточным для изучения содержательно эквивалентных предложений других языков.

Поэтому нет ничего странного в том, что для синтеза русских пассивных конструкций действие одного лишь «фразового маркера № 26» оказывается явно недостаточным. В самом деле, вместо активной конструкции *Мы рассматривали этот вопрос еще в прошлом году* можно синтезировать равнозначную ей пассивную *Этот вопрос был рассмотрен нами еще в прошлом году*, но можно синтезировать и другую пассивную конструкцию, опять-таки лексически равнозначную: *Этот вопрос рассматривался нами еще в прошлом году*.

Соответственно, наряду с «фразовым маркером № 26» порождающая грамматика должна была бы ввести для русского языка дополнительный оператор условного перехода, который мы закодируем номером 026: этот оператор должен осуществлять выбор между причастным пассивом (*был рассмотрен*) и рефлексивным (*рассматривался*).

На первый взгляд, условием, определяющим работу «фразового маркера № 026», является видовая соотношенность пассивной конструкции с ославленной за кадром активной конструкцией:

Мы рассматривали вопрос — *Вопрос рассматривался нами;*
Мы рассмотрели вопрос — *Вопрос был рассмотрен нами.*

То же и для двух других времен:

Мы рассматриваем вопрос — *Вопрос рассматривается нами;*
Мы рассмотрим вопрос — *Вопрос будет рассмотрен нами.*

Действительно, по-русски нельзя сказать ни **Вопрос рассмотрелся нами*, ни **Вопрос рассмотрится нами*; в обоих случаях обязателен причастный пассив; т. е. дело выглядит так, как если бы выбору одного из двух залоговых вариантов предшествовал выбор глагольного вида на пути из «глубины» к «поверхности».

К сожалению, стройность этой картины нарушается тем, что существуют полуразрешенные, полузапретные корреляции. Рядом с вполне корректным переходом: *Дело это делают вполне определенные люди* — *Дело это делается вполне определенными людьми*; и далее, по приведенному выше правилу: *Дело это сделают вполне определенные люди* — *Дело это будет сделано вполне определенными людьми*; при расширении обозреваемого материала вдруг возникает нечто трудно объяснимое: *Дело это, если и с д е л а е т с я, то не само собой, а вполне определенными людьми*.

При разборе такого неконформного случая выясняются сразу три противоречия: во-первых, некоторые носители русского языка (их, правда, меньшинство) не склонны признавать такую конструкцию имеющей право на существование; во-вторых, диапазон функционирования этой структуры заметно ограничен стилистически; в-третьих, далеко не каждый русский глагол способен вести себя с такой свободой.

В итоге «фразовый маркер № 026» оказывается в незавидном положении: где-то условия его «включения» (triggering) «в причастность/в возвратность» вполне определены, а где-то они начинают колебаться и вести себя совсем неопределенно.

Разумеется, на такой зыбкой основе нельзя построить достаточно изящную алгоритмическую схему порождения русского пассива, но в том-то и беда, что подобные зыбкие ситуации характерны не только для русского грамматического строя, но и для английского; это хорошо показали как упоминавшиеся выше Коллиндер и Даниэльсен, так и ряд других языко-

ведов, среди которых в первую очередь должны быть отмечены Чейф⁷, Итконен⁸, Бреккле и Люльсдорфф⁹.

При чтении этих насыщенных фактами работ, острая критичность которых видится на фундаменте типологически разнообразного языкового материала, непредубежденному читателю становится ясным, что стремление к описательной однозначности и жесткому детерминизму в квазилингвистике Хомского возникает отнюдь не случайно: во-первых, такое стремление основывается на определенном философском базисе (о котором мы скажем позднее), во-вторых, оно порождается автодидактной узостью лингвистического кругозора.

Но того, что в какой-то мере простительно Хомскому, который в сущности не лингвист, а логик¹⁰, нельзя простить последовавшим за ним языковедам, в любом случае обязанным знать факты на профессиональном уровне.

Что же касается философской подоплеки стремления Хомского к алгоритмическому построению теории грамматики, то у него в этом смысле есть предшественники, из числа которых наиболее заметны Т. Гоббс и Ж. Ламетри. Конечно, Гоббс не создавал трансформационного анализа, но его стремление уподобить все науки механике и разложить любой процесс на последовательность элементарных актов с несомненностью обнаруживается в современных опытах выстроить цепочки однозначно определенных микроопераций, должественующих перевести мысль в речь. В свою очередь и Ламетри не строил порождающих грамматик, но его концепция человека как часового механизма, каждый поворот колесиков внутри которого жестко детерминирован, очевидным образом просматривается в компьютероподобном нагромождении операторов условного и безусловного перехода, приписываемом человеческому языку.

Не подлежит сомнению, что неверная философская концепция языка, принятая на вооружение в квазилингвистике Хомского, в немалой степени ответственна за неадекватность его однозначно определенной, сугубо алгоритмизированной модели тому лишенному однозначности и отнюдь не алгоритмически построенному человеческому языку, который мы употребляем в повседневной жизни.

Переходя к панхронизму трансформационного анализа, порождающей грамматики и порождающей семантики, отметим, что для правильного понимания сути дела совершенно необходимо понятие толерантности. Напомним о различии между эквивалентностью и толерантностью: первая из них обязана обладать свойством «если А эквивалентно В и В эквивалентно С, то из этого следует, что А эквивалентно С», тогда как для второй дело обстоит совершенно иначе, а именно: «если А толерантно В и В толерантно С, то А может быть толерантно С, но отнюдь не обязано». Это различие чрезвычайно существенно в математическом смысле: на множестве, для элементов которого определено отношение эквивалентности, задача выбора системы различных представителей классов эквивалентности

⁷ W. L. Chafe, Idiomaticity as an anomaly in the Chomskyan paradigm, «Foundations of language», 1968, 2.

⁸ E. Itkonen, Linguistics and metascience, «Studia Philosophica Turkuensia», II, Kokemäki, 1974.

⁹ E. Brekle, P. Luelsdorff, Notes on Chomsky's extended standard-version, «Foundations of language», 1975, 3.

¹⁰ Нотатбене для логиков: в этой квалификации нет ничего пейоративного. Логик — вполне серьезные исследователи и уважаемые люди, когда они основательно работают над логикой. Но если логик решил заняться лингвистикой, то ему следует стать полноценным специалистом хотя бы по одному языку (лучше — по двум). Математики, пытавшиеся налегке совершать экскурсии в лингвистические джунгли, эту истину уже усвоили.

всегда разрешима; и, наоборот, на множестве, для элементов которого задано лишь отношение толерантности, такая задача может вообще не иметь решения, а если таковое и существует, то создание алгоритма его построения далеко не всегда возможно — на этот счет имеется вполне строгое доказательство.

Но указанное различие, важное для математики, по крайней мере столь же — если не более — важно и для нас, лингвистов. Дело в том, что только квазиязыки программирования организованы по первому способу, т. е. на базе эквивалентности, человеческий же язык — всегда по второму способу, всегда на основе толерантности; вот почему квазилингвистика Хомского, бесполезная для теории алгоритмических квазиязыков, работающих в компьютерах, по отношению к человеческому языку принципиально не может быть эффективной.

Заметим, что такая же судьба ожидает любую концептуальную схему, учитывающую только отношение эквивалентности и пренебрегающую тем, что как синхронные состояния, так и диахронические изменения у каждого естественного языка целиком построены на толерантных корреляциях. Здесь мы опять сталкиваемся с необходимостью учета фундаментально важных свойств объекта, без должной реакции на которые модель имманентно обречена на неадекватность.

Простейшим примером отношения толерантности в языке могут служить синонимы. Возьмем ряд: *дымка* — *марев* — *мгла* — *туман* — *пар*. Любые два соседние слова из этой цепочки суть синонимы (хотя бы с точки зрения большого «Словаря синонимов русского языка»), однако ее два крайние члена уже не могут считаться синонимами (судя по тому же словарю).

Диалектное пространство языка нередко тоже бывает устроено по принципу толерантности: говорящие на шлезвигском и на саксонском диалектах немецкого языка скорее всего поймут друг друга, аналогичной будет ситуация при общении между носителями саксонского и тирольского диалектов, но вот представители Шлезвига и Тироля вынуждены будут объясняться между собой на литературном немецком языке: их родные диалекты практически непонятны друг для друга.

По законам отношения толерантности происходит и изменение языка во времени. Англичанин времен Чосера и британец эпохи Шекспира с грехом пополам сумели бы разговаривать друг с другом; то же следует предполагать относительно диалога между современниками Шекспира и Голсуорси; однако можно быть уверенным в том, что англичанин из века Чосера и житель современной Великобритании не смогли бы толком объясниться.

Именно в толерантности внутри цепи последовательных языковых состояний кроется сущность первых из четырех антиномий, перечисленных в самом начале нашего рассмотрения. Язык одновременно стабилен, — в такой мере, что смежные поколения всегда могут понять друг друга, и изменчив, — в такой степени, что через определенное число поколений мы уже имеем дело с новым языком: француз должен специально изучать латынь, чтобы читать Цезаря в подлиннике.

Языковые изменения имеют тысячи причин, крупных и мелких, внутренних и внешних по отношению к языку, легко заметных и глубоко скрытых. Изучение истории разных языков показывает, что крайне редко эти причины действуют поодиночке, намного чаще они переплетены в трудно распутываемый клубок. Лингвисты в большинстве случаев знают, *ка* *к* что-то изменялось в языке, но гораздо реже могут ответить на вопрос, *почему* это произошло. Отсюда возникает вполне понятный соблазн отвлечься от всех этих трудностей и сделать вид, будто никаких перемен

и для терминологических словосочетаний *атомный вес*, *атомное ядро* приняла общераспространенное ударение на первом слоге.

Ни о каком «повороте переключателя», ни о какой дискретной перемене состояния языка в целом совершенно не приходится говорить при описании данного акцентного сдвига. Переходный процесс имел здесь неоспоримую характеристику непрерывного размывания социолингвистической сферы действия старой формы и расширения сферы функционирования новой. Описывать этот непрерывный процесс в терминах дискретного переключения значило бы прежде всего совершать насилие над фактами, означало бы подмену реального исторического процесса настолько примитивной схемой, состоящей из одних лишь краевых точек, что она вряд ли заслуживала бы даже название модели: очевидная неадекватность подобной схемы лишала бы ее какой бы то ни было описательной ценности.

Не более пригодна «теория переключателей» и для объяснения причинно-следственных отношений в эволюции языка.

Недавняя история русских словесных ударений хранит еще один поучительный для теории эпизод. В середине 50-х годов нашего века развернулась конкурентная борьба между двумя вариантами ударения в слове *молодежь* — формой с ударением на конце слова (*молодѣжь*) и формой с ударением в его начале (*мѡлодежь*). Первое принадлежало (и принадлежит по сей день) литературной норме, второе на какое-то время даже стало одним из признаков известного ораторского стиля. Таким образом, сама эта конфликтная ситуация явилась следствием причин, внешних по отношению к системе русского языка. В развитие описанной ситуации вмешался еще один экстралингвистический фактор в виде чрезвычайно часто исполнявшегося в течение нескольких лет «Гимна демократической молодежи», где в припеве трижды повторяется слово *молодѣжь* с ударением на конце, рифмуясь с глагольной формой в завершении строки: *эту песню не задушишь, не убьешь*.

Вновь возникший экстралингвистический фактор оказался гораздо мощнее действовавшего прежде и с намного большей силой повлиял на систему речи, после чего маятник качнулся обратно в направлении старого литературного варианта, оттеснив форму *мѡлодежь* на периферию.

Социальная обусловленность языковых процессов выступает здесь в абсолютно явном виде; не менее очевиден и постепенный характер изменения величины, представляющей собой дробь от деления носителей русского языка, в этом пункте акцентной системы употреблявших литературную норму, на число носителей русского языка, применявших вариантное ударение.

«Теория переключателей» здесь вообще неприменима ввиду того противоречащего ей факта, что перемены имели место, и притом весьма заметные для всех, но результирующее «переключение» не состоялось. Соответственно, рассмотренное выше диахроническое изменение оказалось вообще вне плоскости квазилингвистического описания.

Иногда в развитии языка возникают совершенно особые ситуации, которые было бы уместнее всего назвать ситуациями динамического равновесия. В качестве примера возьмем произношение окончаний русских прилагательных женского рода (твердого склонения) в именительном падеже единственного числа, имеющих ударение на основе (вместо окончания): *нѡвая*, *бѣлая* и т. д. (в фонологической транскрипции соответственно [нѡваја], [бѣлаја]).

При медленном темпе речи и тщательном артикулировании (диктовка в классе, повторение из-за плохой слышимости по телефону, ораторское или актерское акцентирование слова) отчетливо произносятся все три фонемы окончания: *-аја*. В среднем речевом темпе редуцируется срединный

йот, окбичание начинает произноситься как двухфонемное — нечто вроде -аз. Быстрый темп речи приводит к продвижению еще на один шаг дальше: -аз стягивается в долгое -э, которому, собственно говоря, даже нет места в традиционном описании русских гласных, не включающем в себя оппозицию по краткости/долготе в качестве дифференциального признака.

Получается, что при трех различных темпах русской речи мы имеем дело с тремя по-разному продвинутыми вариантами морфемы -аја, которые отличаются друг от друга прежде всего количеством фонем в варианте (три — при медленном темпе, две — при среднем, одна долгая — при быстром). Но это еще не все: если при первых двух вариантах сама фонологическая система русского языка не претерпевает изменений, то при третьем варианте ее состав увеличивается на одну фонему.

В соответствии с генеративными принципами мы должны были бы в алгоритм синтеза русской речи ввести, во-первых, оператор выбора алломорфа для упомянутой адъективной морфемы; во-вторых, оператор переключения с одного, более старого, списка фонем на другой, более новый, т. е. установить нечто вроде «диахронического переключателя внутри синхронии».

Иначе говоря, введение такого рода операторов в алгоритм перехода от мысли к речи, с точки зрения моделирования языка, эквивалентно признанию того, что разнопродвинутые модели включаются в схему не последовательно, а параллельно.

Поскольку носитель языка практически никогда не говорит с постоянной скоростью, постольку непрерывная вариация темпа его речи (например, в связи с регулярной постановкой логических ударений) будет означать многократное чередование разнопродвинутых моделей языка в пределах не только абзаца, но и предложения, синтагмы, порою сложного слова (скажем, при чтении фразы: *Евгений Сазонов не людоед и душегуб, а людоед и душелюб*).

Все же самая большая трудность состоит здесь в том, что, если переключение с медленного темпа на быстрый эквивалентно диахроническому переходу от старого состояния языка к новому, т. е. эволюционному движению в п е р е д, то возвращение от быстрого темпа речи к медленному оказывается эквивалентным переходу от нового состояния языка к старому, т. е. п о п я т н о м у движению против хода эволюции.

Итак, при разбираемых языковых условиях схема «переключателя» превращается в конце концов в машину времени, к тому же работающую в быстропеременном режиме маятника-бегунка.

Все эти трудности сразу же снимаются, если мы признаем существование вероятностного спектра темповых вариантов языка в качестве базовой характеристики его синхронного состояния и в то же время в качестве потенциальной причины диахронических изменений. Т о л е р а н т н ы е отношения как внутри синхронной системы, так и при диахронических сдвигах объясняют все, причем объясняют без какого бы то ни было насилия над фактами; напротив, попытки объяснить систему языка и тем более изменения в этой системе на базе отношений э к в и а л е н т н о с т и заводят в безнадежный тупик непреодолимых противоречий.

Панхронизм (лучше сказать, акхронизм) построений квазилингвистики Хомского имеет своим логическим следствием «теорию переключателей». Это позволяет сравнительно легко обнаружить его предшественников в философском аспекте: например, Ж. Кюве, не признававшего никаких промежуточных форм, никаких эволюционных сдвигов, т. е., говоря современным языком, никаких переходных процессов, связывающих различные состояния объекта отношениями толерантности. В его изложении одна система классов эквивалентности при очередном катаклизме целиком

сменялась другой системой таких классов; нанизывание цепочки подобных катаклизмов и составляло его знаменитую «теорию катастроф».

Было бы, конечно, несправедливым по отношению к Хомскому — Кингу ставить знак абсолютного равенства между «теорией переключателей» в изображении истории языка и «теорией катастроф» в описании геологии нашей планеты: первая гораздо более современна уже хотя бы в том смысле, что Кювье прямо указывал на бога в качестве организатора катастроф, тогда как в квазилингвистике Хомского — Кинга вопрос о том, кто именно включает/выключает переключатель, меняющий состояние языка, деликатно оставляется открытым. Так что у Хомского — Кинга мы имеем дело с метафизикой образца не XVIII, а XX века.

Воздавая должное Гоббсу, Ламетри и Кювье, тем не менее, среди философских предков Хомского мы обязаны поставить на первое место, конечно же, Декарта. В пользу именно этого выделения свидетельствует не кто иной, как сам Хомский: им написана специальная книга, посвященная Декарту вообще и «картезианской лингвистике», в частности ¹⁴.

В литературе вопроса высказаны весьма критические суждения по поводу того, насколько верна концептуально (да и фактически) нарисованная Хомским картина «рационалистской теории языка» ¹⁵. Столь же острой критике подвергаются попытки Хомского построить теоретическую базу его квазилингвистики на картезианской основе: одни критики этих попыток находят серьезные логические противоречия в самой внутренней структуре его аргументации ¹⁶, другие фиксируют несоответствие концепции «врожденных идей» тому, как в действительности происходит усвоение языка ребенком ¹⁷, третьи указывают на необоснованность стремления Хомского рассматривать язык как самодовлеющую формальную систему, лишь случайно связанную с коммуникацией ¹⁸, четвертые подчеркивают идеализм философской сути картезианства и результирующую идеальность порождающих грамматику ¹⁹.

Основная идея, которую Хомский извлекает из картезианства, состоит в том, что существует некая универсальная грамматика, эксплицирующая фундаментальные свойства разума и состоящая из заданного комплекса глубинных структур. В частности, Хомский ищет в синтаксисе проявление принципов нервной организации ²⁰, которые мыслятся им как инвариант по отношению к конкретным языкам; в другом месте он утверждает, что языковое значение по сути дела не связано с коммуникацией, более того, даже с попыткой к общению ²¹.

Таким образом, перед нами дилемма: 1) либо мы согласимся с тем, что язык как объект есть автономное порождение разума, не нуждающегося в коммуникации для продуцирования такого объекта, и тогда Хомский прав; 2) либо мы признаем, что вне общения нет языка, благодаря чему и онтогенезис, и свойства последнего могут быть поняты только че-

¹⁴ N. Chomsky, *Cartesian linguistics: a chapter in the history of rationalist thought*, New York, 1966.

¹⁵ H. Aarsleff, *The history of linguistics and Professor Chomsky*, «Language», 46, 1970.

¹⁶ S. K. Land, *The Cartesian language test and Professor Chomsky*, «Linguistics», 1974, 122.

¹⁷ B. Collinder, указ. соч., стр. 12, 25—27.

¹⁸ R. Searle, *Chomsky's revolution in linguistics*, «The New York review of books», XVIII, 12.

¹⁹ S. Thompson, *The reactionary idealist foundation of Noam Chomsky's linguistics*, «Literature and ideology», 4.

²⁰ N. Chomsky, *Aspects of the theory of syntax*, Cambridge (Mass.), 1965, стр. 59.

²¹ N. Chomsky, *Problems of knowledge and freedom*, New York, 1971, стр. 19.

рез анализ его функционирования в обществе, и тогда концепции Хомского irrelevantны по отношению к языковедению.

Одним из сильнейших аргументов против «картезианской лингвистики» является тот многократно подтвержденный факт, что младенцы, потерянные в джунглях и через несколько лет найденные живыми, не только не вырабатывают языка сами, но и практически не в состоянии овладеть речью своих спасителей. Выясняется, что в подобных ситуациях «врожденные идеи» беспробудно спят, глубинные структуры наотрез отказываются выходить наружу, а механизм универсальной грамматики за годы, проведенные в джунглях, становится непоправимо проржавевшим и, несмотря на все усилия окружающей человеческой среды, упорно не желает работать.

Ленинская теория отражения дает простой и ясный ответ на вопрос, почему ситуация с языком оказывается качественно различной у ребенка в джунглях и у ребенка среди людей: они оба отражают в своем сознании свойства природного мира, но только второй из них сталкивается с миром социальным и отражает в своем сознании его характеристики, среди которых важнейшей является язык.

На первых порах они оба в равной мере научаются воспринимать повторяющиеся фрагменты действительности в хороших для них и плохих событиях, но делают это на том же самом доязыковом уровне, что и другие высшие млекопитающие. По мере роста своих сил и возможностей, пытаясь отвлечь плохое и привлечь хорошее, ребенок все интенсивнее старается воздействовать на мир, благодаря чему приобретает умение отличать Я от не-Я и причину от следствия.

Здесь начинается расхождение между судьбой ребенка в джунглях и развитием ребенка в обществе: у первого нет ни потребности в использовании знаков как рычагов воздействия на мир, ни условий для их выработки, тогда как второго все время окружают люди, постоянно пользующиеся словесными знаками и в общении между собой, и в обращениях к ребенку. В конце концов, ребенок, взаимодействующий с людьми, начинает понимать, что словесный знак служит для него как источником существенной информации, так и средством воздействия на окружающих его людей. Именно опыт общения с людьми порождает знаковые психические конфигурации в мозгу ребенка, а отнюдь не «врожденные идеи» и не хромосомно индуцированные глубинные структуры.

Вначале ребенок пользуется изолированными словесными знаками, но по мере того как он регулярно убеждается в том, что один и тот же источник воздействия на мир (включая его самого) оказывается причиной разных активных результатов, и, наоборот, один и тот же результат может возникать в силу воздействий на мир, идущих от разных источников, по мере того как причина для него все больше отделяется от следствия, в его сознании возникает представление о бинарном отношении между источником акции и ее результатом, что и кладет начало, во-первых, их раздельному обозначению, во-вторых, их соединению в знаковую синтагму, — с этого начинается синтаксис. Перводвижателем и тут является не сетка изначально готовых, «синтаксогенных» нервных структур, а растущее понимание причинности мира, усвоение того факта, что отдельные знаки в речи окружающих организованы в знаковые цепочки и структуры, появившаяся собственная потребность в синтаксисе как инструменте более сложного, чем прежде, воздействия на ту человеческую среду, внутри которой ребенок растет.

Разумеется, без головного мозга становление синтаксиса вряд ли возможно, но одного лишь наличия нервных сетей тоже мало: нужна социальная база, без которой нет ни синтаксиса, ни вообще языка. Пользу-

ясь математическими терминами, можно сказать, что ошибка Хомского состоит в том, что он отождествил условие необходимости с условием достаточности.

Период детства, конечно, является решающим в овладении родным языком, однако развитие языковой системы индивида не прекращается вместе с остановкой его биологического роста.

Во-первых, за среднее время человеческой жизни язык окружающих не слишком сильно, но все же успевает измениться; вместе с ним в какой-то степени эволюционируют все индивидуальные речевые системы носителей этого языка — прежде всего за счет новых слов (остальные уровни языка менее лабильны, но тоже подвержены изменениям, хотя и более медленным).

Во-вторых, выйдя из детского возраста и вступив в самостоятельную жизнь, индивид, как правило, включается в какую-то профессиональную или хозяйственную деятельность, у него возникают определенные устойчивые интересы, он участвует в действиях микроколлективов различного рода, — все это отражается в его сознании и сказывается на эволюции его индивидуальной речевой системы. В терминах социолингвистики это означает, что, наряду с той частью языка, которая обща всем его носителям, индивид приобретает навыки употребления специальных подязыков, тем самым модифицируя свою языковую систему в сторону ее максимального приспособления к специфическим условиям своей личной, профессиональной и общественной жизни.

Подязыковое варьирование происходит прежде всего на лексическом уровне, но отнюдь не ограничивается таковым. Например, для геологического, исторического и правоведческого подязыков характерно увеличение относительной частоты прошедшего времени, тогда как математический подязык демонстрирует бесспорное возрастание доли будущего времени. Заметим, что экстралингвистическая прагматика в этих двух случаях имеет несколько различную природу: прошедшее время в перечисленных подязыках обусловлено фактической хронологией мира, будущее же время у математиков является отчетливо узусным и выражает то логическую последовательность умозаключений (*после указанных преобразований наше равенство примет вид...*), то стилевую специфику (*не умаляя общности, будем считать, что А больше В*). В обоих случаях употребление будущего времени математиками представляет собой нечто не связанное с темпоральной точкой говорения; это доказывается тем, что будущее время здесь без ущерба для смысла может быть заменено настоящим или даже прошедшим, и, следовательно, оно в данном случае не выражает ни физического времени, ни грамматической соотнесенности: оно отражает лишь профессиональную традицию, чуждую большинству других подязыков. Естественно, математики не избегают и собственно будущего времени: *Когда будет доказана гипотеза Римана, тем самым будет решена проблема близнецов*.

Можно было бы ожидать, что, вместе с «врожденными идеями» о равенствах, величинах и числах, математики реализуют в своем подязыке еще одну «врожденную идею», а именно идею о вневременной структуре для выражения номологических высказываний, и превратят ее в новое грамматическое время русского языка, которое надо было бы в сем случае назвать «общим временем» (или, более элегантно, «нуль-временем»). Однако эту особую глубинную структуру упрямая инерция диахронии не пускает на поверхность, и вместо того, чтобы стать инвариантом поверхностных структур, этой глубинной структуре, напротив, самой приходится ютиться на одной жилплощади с выражением собственно будущего времени, в силу чего в подязыке математики наблюдается грустная для квази-

лингвистов картина, когда одна поверхностная структура оказывается инвариантом по крайней мере двух глубинных.

Полиморфизм естественных языков настолько коварен, что от соприкосновений с ним гибнут самые красивые формальные теории, не исключая квазилингвистических.

Отметим также, что подязыки оказываются главными поставщиками инноваций не только в развитии речи индивида, но и в эволюции языка как целого: онтогенез и филогенез имеют здесь общий источник движения, лежащий за пределами внутриязыковой системности и в силу этого имманентно недоступный квазилингвистической формализации.

Хомского неоднократно упрекали за манкирование количественными характеристиками языковых единиц, причем не только специалисты по лингвостатистике²², но и языковеды, в общем далекие от математической лингвистики²³.

Нам могут возразить, что многие лингвисты считают количественные характеристики относящимися не к структуре языка, а к системе речи. Такая постановка вопроса основана на печальном недоразумении: смешиваются три совершенно разных вида вероятностей, связанных с языком, а именно речевая, языковая и метаязыковая.

Каждой языковой единице (группе единиц) объективно присуща некоторая вероятность ее появления в коммуникационной сфере, вероятность, заданная фактически складывающимися пропорциями элементов в потоке речи. Здесь мы имеем дело с речевой вероятностью, существующей независимо от наличия или отсутствия исследователей данного языка.

Лингвист, изучающий относительную частоту появления языковой единицы (группы единиц) как манифестацию ее объективной речевой вероятности, в результате своих измерений получает некоторую величину, каковая с заданной точностью и оценкой статистической достоверности моделирует истинную речевую вероятность. Эта величина является частью метаязыкового описания и соответственно должна быть названа метаязыковой вероятностью.

В сознании носителей языка корреляции между объективными вероятностями языковых единиц (групп единиц) отражаются с точностью до градаций пятиступенчатой интуитивно-статистической шкалы «всегда — часто — неопределенно — редко — никогда». Субъективные отражения этих соотношений между вероятностями лингвистических единиц (групп единиц) присутствуют в сознании носителей языка как оппозиции, устойчиво закрепленные в его памяти и известные ему сами по себе, вне привязки к фиксированному контексту, т. е. на парадигматическом ося. Именно в силу этого они и составляют часть системы языка. Вместе с тем надо подчеркнуть, что только такие субъективные градуирующие оценки, постоянно присутствующие в сознании носителей языка, имеют право называться языковыми вероятностями, только они составляют базу множества структурно-вероятностных разбиений единиц языка к синхронии и количественно-качественных сдвигов в диахронии.

Для иллюстрации достаточно одного лингвистического примера. Почти в каждом языке есть подкласс существительных *pluralia tantum* (*сани*) и подкласс *singularia tantum* (*тепло*); все остальные существительные принадлежат к подклассу обладателей двух форм числа (если отвлекаться от несклоняемых). Но есть большое различие между такими существитель-

²² G. Herdan, *Götzendämmerung at M. I. T.*, «Zeitschrift für Phonetik, Sprachwissenschaft und Kommunikationsforschung», 21, 3/4, 1968.

²³ B. Collinder, указ. соч., стр. 19, 27.

ным, как *солнце* или *развитие*, формы мн. числа которых крайне редки и у носителей русского языка вызывают интуитивно-статистическое ощущение чего-то весьма необычного, и такими именами, как *олады* или *габарит*, формы единственного числа у которых встречаются гораздо реже, чем формы множественного, и опять-таки вызывают у носителей языка острое ощущение раритетности. Структурно-вероятностные свойства таких существительных конституируют еще два подкласса: доминантно-сингулярных имен (*солнце*) и доминантно-плюральных (*олады*).

Эти простые соотношения наглядно показывают, что характеристика по полному отсутствию множественного числа (*singularia tantum*) есть крайний случай доминантной сингулярности, а по полному отсутствию единственного (*pluralia tantum*) — крайний случай доминантной плюральности. Иначе говоря, традиционные дифференциальные признаки, выраженные в терминах оппозиций «плюс — минус», «да — нет», «ноль — единица», суть крайние точки статистического спектра, предельные пункты движения вниз или вверх по вероятностной шкале, расположенной на отрезке от единицы до нуля, от «всегда» до «никогда».

То понятие дифференциального признака, на котором построена традиционная структурная лингвистика, есть всего лишь частный случай понятия вероятностного дифференциального признака. Любое историческое изменение в языке происходит не по принципу «поворота выключателя», а по закону вероятностного сдвига, пределом которого является либо нулевая, либо стопроцентная вероятность.

Соответственно, структурно-вероятностный подход позволяет объяснить как веер колебаний в синхронии, так и динамику изменений в диахронии. В противоположность этому квазилингвистическая схема исходит из двух чрезвычайно сильных допущений: во-первых, будто все оппозиции квалифицируются только в терминах нулевой или единичной вероятности, во-вторых, будто изменения в языке происходят только скачкообразным перебросом от одной краевой вероятности к другой. Оба эти допущения элементарно опровергаются фактическим материалом, но тем не менее их научно некорректное использование продолжается в квазилингвистике по сей день.

Такого рода заблуждения опять-таки не новы: тут предшественниками Хомского были Н.-А. Гольбах и П.-С. Лаплас, отрицавшие объективное существование случайностей и тем самым существование заданных ими вероятностных распределений. Механистический детерминизм Гольбаха и Лапласа имел прогрессивный для XVIII в. оттенок атеизма и отрицания воли божьей как двигателя вселенной; однако на фоне диалектико-материалистического понимания причинности в XX в. прямолинейный монотатизм квазилингвистики выглядит уж очень ответственным.

Подводя итог нашему рассмотрению, мы должны констатировать, что модель языка, построенная в квазилингвистике Хомского, эпистемологически не адекватна своему объекту, так как она с грубыми искажениями описывает его наиболее существенные свойства: сочетание изменчивости со стабильностью, сочетание социального с индивидуальным, сочетание структурного с вероятностным, сочетание однозначности с полиморфизмом.

В геометрии прямоугольник можно рассматривать как вырожденный параллелепипед, высота которого равна нулю. Аналогичным образом, трансформационную грамматику следует рассматривать как плоскую проекцию многомерной структуры языка, по отношению к социально обусловленной и в силу этого структурно-вероятностной реальности которого эта квазилингвистическая проекция оказывается не порождающим, а вырожденным представлением.

Мы видим две причины, приведшие к финальной неудаче квазилингвистики Хомского: 1) чрезвычайно слабое знание истории и типологии языков; 2) устарелая и преимущественно ложная философская база концептуальной схемы. Любой из этих причин было бы достаточно для создания серьезных трудностей; аккумуляция двух факторов обрекла квазилингвистику на совершенно неотвратимый тупик.

Соответственно мы считаем своим долгом дать добрый совет всем квазилингвистам, а именно совет полностью переключить свои усилия на такой перспективный объект, как квазиязыки программирования, объект, в равной степени высоко полезный для общества, сугубо послушный их инструментарию, а, главное, совсем не требующий знания истории этих архитрудных, социально гибких и неуловимо меняющихся человеческих языков.

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

Дж. П. ДИМРИ

ПРИНЦИПЫ МОРФОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА В «ВОСЬМИКНИЖИИ» ПАНИНИ

(Структурные элементы слова у Панини)

Панини (V в. до н. э.) принадлежит к тем древнеиндийским ученым, которые оказали чрезвычайно сильное влияние на становление и нормирование санскрита. Его труд «Восьмикнижие» (*Aṣṭādhyāyī*), составленный в виде сутр (афоризмов, правил), является образцом последовательного описания языка. Мы уже рассматривали технику этого описания, композицию «Восьмикнижия», некоторые теоретические понятия (корень, основа) в грамматике Панини¹.

Настоящая статья посвящена технике порождения именных и глагольных форм у Панини. Для того чтобы обеспечить образование правильных форм, Панини дает, во-первых, перечень исходных элементов (корней и аффиксов), а во-вторых, перечисляет последовательность операций, которые позволяют получить из исходных элементов правильные формы. Мы ограничимся здесь учением Панини об элементах слова; эти последние даются в виде ряда таблиц с соответствующими комментариями. При этом мы представляем материал именно в той форме, в какой он дан в «Аштадхьяйи»² (за исключением, разумеется, необходимой его группировки), но без детальной лингвистической интерпретации соответствующих фактов языка³.

При анализе слова Панини выделял в нем корень и аффиксы. Грамматика Панини называется «Шабданушасана» («Трактат о словах»). Патанджали (II в. до н. э.) в самом начале своего труда «Махабхашья» («Обширный комментарий») перечисляет следующие основные особенности изучения грамматики в «Шабданушасана»⁴: 1) *rakṣā* — сохранение ритуального языка в его традиционной форме; 2) *ūhā* — способность образования форм слова от других его форм; 3) *āgama* — приобретение знания; 4) *laghu* — краткость описания; 5) *asandeha* — ясность (недвусмысленность) описания.

¹ См.: Д. П. Димри, Панини и его «Восьмикнижие», «Народы Азии и Африки», 1973, 6.

² См.: *Aṣṭādhyāyī of Pāṇini*, ed. by S. C. Vasu, 1—2, Delhi — Varanasi — Patna, 1962.

³ См.: В. В. Иванов, В. Н. Топоров, Санскрит, М.—Л., 1960; B. Shiffrs, *Grammatical methods in Pāṇini*, New Haven, 1961; V. N. Mīśra, *The descriptive technique of Pāṇini*, The Hague, 1966, и др.

⁴ *Mahābhāṣya of Patañjali*, ed. by F. Kielhorn, Poona, 1962, раздел I, стр. 1. Патанджали являлся последователем школы Панини и комментировал сутры Панини.

У Панини существует понятие корня, который может использоваться как в именном, так и в глагольном словообразовании. Имя или глагол различаются цепочкой суффиксов, причем каждое звено цепочки представляет парадигму или входит в парадигму. Именная основа образуется от корня глагола при помощи «крит» (первичных суффиксов). Для именной основы существуют три вида парадигм, а именно: 1) *stripratyaya* — суффиксы, прибавляемые к именной основе для образования существительных жен. рода; 2) *taddhita* — аффиксы, прибавляемые к именной основе для образования прилагательных разных видов, а также существительных; 3) *zUP* — падежные окончания (падежи). Для корней, образующих глагольные формы, существует четыре типа парадигм: 1) *vikarana* — аффиксы, прибавляемые к корню глагола для образования основы глагола⁵; 2) аффиксы, прибавляемые к корню глагола для образования вторичной основы глагола (их можно назвать общим термином *prakriyā*); 3) *kṛt* — аффиксы, прибавляемые к корню глагола для образования неглагольной основы; 4) *tiN* — аффиксы, прибавляемые к основе глагола, т. е. окончания глагола. Схематически этот анализ может быть представлен в виде таблицы (см. табл. 1).

Таблица 1

Именные аффиксы			Глагольные аффиксы			
<i>stripratyaya</i>	<i>taddhita</i>	<i>zUP</i>	<i>vikarana</i>	<i>prakriyā</i>	<i>kṛt</i>	<i>tiN-LAT</i> и т. д.
<i>Ńt</i> āP и т. д.	<i>apatya</i> <i>rakta</i> <i>chāturarthika</i> <i>śaisika</i> <i>vikāra</i> <i>ṭhak</i> <i>yaT</i> <i>arha</i> <i>bhāva</i> <i>matvartha</i> <i>svārtha</i> и т. д.	<i>sU</i> , <i>au</i> , <i>Ja</i> <i>am</i> , <i>auT</i> , <i>Sas</i> и т. д.	<i>SaP</i> <i>SaP=θ</i> <i>SLU=θ</i> <i>SyaN</i> <i>Snu</i> <i>Sa</i> <i>SnaM</i> <i>u</i> <i>Snā</i> <i>NiC</i>	<i>saN</i> <i>yaN</i> <i>Kya/C/S/N</i> и т. д.	<i>kṛtya</i> <i>niṣṭhā</i> <i>sat</i> и т. д.	<i>tiP tas</i> , <i>JHi</i> и т. д.

Комментарий к табл. 1

Основообразующие аффиксы неглагольной основы

1. *Ńi* — это общий символ для суффиксов *ŃiP*, *NiṢ* и *NiN*, прибавляемых к именным основам для образования существительных жен. рода: *kumāra* получает название «пратипадака» (неглагольной) по сутре 1.2.45⁶; *kumāra* + *ŃiP* по сутре 4.1.20; *kumāra* + *i* — исчезновение *a* в *kumara*

⁵ В зависимости от этих аффиксов Панини устанавливает классификацию корней (десять классов). Ср.: В. Shefts, указ. соч.

⁶ Ссылки на издание Панини (см. примеч. 2) даются в следующем порядке: номер книги, номер главы, номер сутры, например: 3.1.5, т. е. третья книга «Восьмикнижия», первая глава, пятая сутра.

Символы: *zUP* — символ для обозначения всех падежных окончаний санскрита (см. «Народы Азии и Африки», 1973, 6, стр. 98); *tiN* — символ для обозначения всех окончаний личных форм глагола (там же, стр. 99); *LAT* — настоящее время.

Альтернатива, например: *i* является альтернантом *a*, записывается *i ~ a*.

Заглавные буквы в суффиксах указывают на то, что обозначенные ими элементы исчезают по особым правилам Панини, когда суффиксы присоединяются к корню или основе.

по 6.4.148; *kumārī* + *sU* — окончание *sU* прибавляется к основе по 4.1.1—2 (вместе с 3.1.1—2), 1.4.103, 2.3.46, 1.4.22; *kumari* + $\emptyset \sim s$ по 6.1.68; *kumārī* «девушка».

2. *āP* — это общий символ для суффиксов *TāP*, *ṚāP* и *SāP*, прибавляемых также к именным основам для образования существительных жен. рода: *ajā* получает название «пратипадака» по 1.2.45; *ajā* + *TāP* по 4.1.4; *ajā* + *ā* → *ajā* по 6.1.106; *ajā* + *sU* — окончание *sU* прибавляется к основе по 4.1.1—2 (вместе с 3.1.1—2), 1.4.104, 1.4.103, 2.3.46, 1.4.22; *ajā* + $\emptyset \sim s$ по 6.1.68; *ajā* «козел» и т. д.

Вторичные основообразующие аффиксы неглагольной основы

Taddhita (букв. «приставленный к ч.-л.») — название аффиксов, прибавляемых к неглагольным основам.

1. *apatya* — аффиксы, означающие потомство или фамилии (*aṆ*, *iṆ*, *PṆaṆ*, *PṆaK*, *aṆ* и т. д.): *uragu* получает название «пратипадака» по 1.2.45; *uragu* + *aṆ* по 4.1.92 (в значении «потомство»); *uragu* + *a* — усиление начального гласного по 7.2.117; *auragu* + *a* получает название *bha* по 1.4.18; *auragu* + *a* $\emptyset \sim u$ по 6.4.146 (гуна); *aurago* + *a* *av* $\sim$ $\emptyset$ по 6.1.74; *auragava* + *sU* — окончание *sU* прибавляется к основе по 1.2.46, 4.1.2 (вместе с 3.1.1—2), 1.4.104, 1.4.103, 2.3.46, 1.4.22; *auragavas* получает название слова по 1.4.14; *auragava RU* $\sim$ *s* по 8.2.66; *auragava R* получает название *avaśāna* («конец слова или предложения») по 1.4.110; *auragavaḥ* по 8.3.14; *visarjanīya* есть альтернатива для *R* (т. е. *R* произносится с придыханием), *auragavaḥ* «потомок Урагу» и т. д.

2. *rakta* (букв. «окрашенный») — аффиксы, означающие цвет (*aṆ*, *TṆaK*, *DṆaK*, *aṆ* и т. д.), например: *kāśāya* + *aṆ* по 4.2.1, усиление начального гласного по 7.2.117; *kāśāya* + *a* — исчезновение *a* в *kāśāya* по 6.4.148; *kāśāya* + *sU* — окончание *sU* прибавляется к основе по 1.2.46, 4.1.2 и др. (см. выше); *kāśāya* + *am* $\sim$ *sU* по 7.1.24; *kāśāya* + *am* → *kāśāyam* «коричневый цвет» по 6.1.107.

3. *chāturarathika* (букв. «учетверенный»: *aṆ*, *aṆ* и т. д.): *udumbara* получает название «пратипадака» по 1.2.45; *udumbara* + *aṆ* по 4.2.67, усиление по 7.2.117; *audumbara* + *a* — исчезновение *a* по 6.4.118; *audumbara* + *sU* по 1.2.46, 4.1.2 и др. *Audumbaras*: *audumbarah* $\sim$ *RU* $\sim$ *s* (см. выше п. 1), *audumbarah* «относящийся к *udumbara* (назв. дерева)», и т. д.

4. *śaiṣika* (букв. «остаточный») — аффиксы в этом разделе употребляются в разных значениях, за исключением значений, отмеченных выше в упомянутых разделах. Например, *śaliyah*: *śālā* получает название «пратипадака» по 1.2.45; *śālā* + *CHa* по 4.2.114; *śālā* + *īy* $\sim$ *CH* — *a* по 7.1.2; *śālā* + *īy* + *a* — исчезновение *a* по 6.4.148; *śāl* + *īya* → *Śāliya* + *sU* по 1.2.46 и др. *śāliyah* $\sim$ *RU* $\sim$ *s* (см. выше п. 1) «относящийся к шале (сару)» и т. д.

5. *vikāra* (букв. «изменение»: *aṆ*, *aṆ* и т. д.). В этом разделе аффиксы придают неглагольной основе значение модификации. Например, *bailvam*: *bilva* называется «пратипадака» по 1.2.45; *bilva* + *aṆ* по 4.3.136; *bailva* + *a* — усиление гласного по 7.2.114 и исчезновение *a* в *bailva* по 6.4.148; *bailva* + *sU* по 1.2.46 и др.; *bailva* + *am* $\sim$ *sU* по 7.1.24; *bailva* + *am* → *bailvam* «изменение билвы (назв. дерева)» по 6.1.107, и т. д.

6. **TṆaK**: 4.4.1—74. Аффикс **TṆaK** имеет разные значения, например: «очищенное», «приготовленное», «передача», «исполнение», «смещенное» и т. д.

7. yaT: 4.4.75—144. Аффикс yaT употребляется в значениях «жилище», «присоединение», «видимое» и т. д.

8. arha. Аффиксы «арха» имеют значения: «предложение», «подходящее для чего-нибудь», «достаточное количество», «мера», «купленное» и т. д.

9. bhāva. Аффиксы употребляются в значениях: «похожее состояние», «подходящий характер» и т. д. Кроме того, некоторые аффиксы употребляются в значении «место».

10. matvartha. Аффикс maTUP прибавляется к неглагольной основе в значениях «чей-либо», т. е. в притяжательном значении.

11. svārtha (букв. «личная польза»). Кроме того, вторичные аффиксы этого раздела прибавляются к неглагольным основам, не изменяя значения основы. Такие аффиксы называются «свартхами» (значение то же самое — «личная польза») и т. д.

Первичные основообразующие аффиксы глагола

vikarāṇa — аффиксы, при помощи которых образуются основы глагола. У Панини глагольные корни разбиты на десять классов по основообразующим аффиксам (см. табл. 2).

Таблица 2

№№ пп	Классы по Панини	Сутры	Суффиксы, образующие основы
1	bhū	3.1.68	SaP
2	ad	2.4.72	LUK~SaP
3	hū	2.4.75	LUK~SLU~SaP
4	div	3.1.69	SyaN~SaP
5	su	3.1.73	Snu~SaP
6	tud	3.1.77	Sa
7	rudh	3.1.78	SnaM
8	tan	3.1.79	u
9	krī	3.1.81	Sna
10	cur	3.1.25	NiC

1. bhū-класс: bhū получает название «джату» по 1.3.1; bhu + LAT по 3.2.123; bhū + ti ~ LAT по 3.2.78, 1.4.99—100, 1.3.78, 1.4.101—102, 1.4.108; bhū + SaP + ti по 3.4.113, 3.1.68; bhu + a + ti; bho + a + ti гуна по 7.3.84; bhav ~ o + a + ti по 6.1.78; bhavati «бывает, становится» [ср. рас-a-ti «он варит (рис)»].

2. ad-класс: ad + SaP + tiP ~ LAT (см. п. 1); ad + LUK (т. е. θ) ~ SaP + ti по 2.4.72; ad + θ + ti; at ~ d + ti по 8.4.55; atti «он ест».

3. hū-класс: hu + SaP + tiP ~ LAT (см. п. 1); hu + SLU ~ SaP + ti по 2.4.75; hu + θ ~ SLU + ti по 1.1.61; hu + θ ti — удвоение корня по 6.1.10, 7.4.62, 8.4.53; juhuti: juhōti гуна по 7.3.84; juhōti «он приносит жертву».

4. div-класс: divU + SaP + tiP ~ LAT; div + SyaN ~ SaP + ti по 3.1.69; div + ya + ti — удвоение гласного дхату по 8.2.77; divyati «он играет».

5. su-класс: suñ + SaP + tiP ~ LAT; su + Snu ~ SaP + ti по 3.1.73; su + nu + ti s на месте s корня по 6.1.64; su + no + ti гуна по 7.3.84; sunoti «он вынимает».

6. tud-класс: tud + SaP + tiP ~ LAT; tud + Sa ~ SaP + ti по 3.1.77; tud + a + ti → tudati «он бьет».

7. rudh-класс: rudh + SaP + tiP ~ LAT; rudh + SnaM ~ SaP + ti по 3.1.78; rudh + na + ti; ru + na + dh + ti аффикс na вставляется

после буквы пратьяхары аС по 1.1.47; ru + ṇa + dh + ti ṇa на месте па по 8.4.2; ru + ṇa + dh + dhi dh является альтернантом t в аффиксе ti по 8.2.40; d — альтернант dh по 8.4.53; ruṇaddhi «он мешает».

8. tan-класс: tanU + ṢaP + tiP ~ LAT; tan + u ~ ṢaP + ti по 3.1.79; tan + u + tiP гуна по 7.3.84; tanoti «он расширяет».

9. kri-класс: DukriN + ṢaP + tiP ~ LAT; kri + Śnā ~ ṢaP + ti по 3.1.81; kri + nā + ti ṇ на месте n по 8.4.2; kri + ṇā + ti → kriṇāti «он купается».

10. sur-класс: sur получает название «дхату» по 1.3.1; sur + NiC по 3.1.25; sur + i → cori гуна по 7.3.84; cori опять получает название «дхату» по 3.1.32; cori + ṢaP + tiP ~ LAT (см. п. 1); cori + a + ti гуна по 7.3.84; core + a + ti; coray ~ e + a + ti по 6.1.78; corayati «он крадет».

Вторичные основообразующие аффиксы глагола

Основы дезидератива, фреквентатива и деноминатива являются вторичными основами глагола. Основа дезидератива образуется при помощи аффикса saN, который придает основе желательное значение. Основа фреквентатива образуется посредством аффикса yaN, который придает основе значение повторяемости действия. Основа деноминатива производится от основы существительного при помощи аффиксов Куас; KāmuC, КуаṢ и т. д. В соответствии с правилами удвоения корня в дезидеративе и фреквентативе удваиваются. Например:

1. Основа дезидератива: paṭh называется «дхату» по 1.3.1; paṭh + saN по 3.1.7; paṭh + iT + saN по 7.2.35; paṭh + i + sa опять называется «дхату» по 3.1.32; paṭh paṭh + i + sa — удвоение корня по 6.1.9; pa paṭh + i + sa — исчезновение согласного ṭh в первом paṭh по 6.1.4, 7.4.60; paṭh + i + sa ~ sa по 8.3.59; pi ~ aṇaṭhiṣa по 7.4.79 (i — альтернант a в pa); piṇaṭhiṣa + ṢaP + tiP ~ LAT (см. выше); piṇaṭhiṣa + a + ti → piṇaṭhiṣati на месте двух a (т. е. ṣa + a) — a по 6.1.97; piṇaṭhiṣati «он желает читать» и т. д.

2. Основа фреквентатива: paṭh называется «дхату» по 1.3.1; paṭh + yaN по 3.1.22; paṭh + ya опять называется «дхату» по 3.1.32; paṭh + ya — удвоение корня по 6.1.9, 6.1.4, 7.4.60; pāpaṭh + ya — удлинение гласного a в pa по 7.4.73; pāpaṭhya + ṢaP + ta ~ LAT (к глаголам, оканчивающимся на показатель N (в данном случае аффикс yaN), прибавляются медиопассивные окончания по 1.3.12); pāpaṭhya + a + ta → pāpaṭhyata (по 6.1.97, см. выше); pāpaṭhya + te ~ a по 3.4.79; pāpaṭhyate «много раз читает» и т. д.

3. Основа деноминатива: putra + am + КуаC по 3.1.8 (аффикс КуаC прибавляется к основе существительного в значении собственного желания); putra + am + КуаC называется «дхату» по 3.1.32. Исчезновение надежного окончания am по 2.4.71; putra + ya i на месте a в putra по 7.4.33; putriya + ṢaP + tiP ~ LAT; putriya + a + ti → putriyati (6.1.97); putriyati «он хочет сына для себя» и т. д.

4. Каузатив. Аффикс NiC прибавляется к корню глагола в значении каузатива. Аффикс NiC ничем не отличается от аффикса десятого класса глаголов, кроме значения.

Первичные основообразующие аффиксы неглагольной основы

Kṛt — название суффиксов, образующих неглагольные основы от корней глаголов.

1. **Kṛtva**: под этим словом понимаются суффиксы *tavva*, *tavvaT*, *anīya*, *yaT*, *ṆyaT*.

1) *paṭh* называется «дхату» по 1.3.1: *paṭh* + *tavva* по 3.1.96; *paṭh* + *iT* + *tavva* по 3.4.114, 1.4.13, 7.2.35; *paṭh* + *i* + *tavva* → *paṭhitavva* называется «крит» по 3.1.93; *paṭhitavva* называется «притипадика» по 1.2.46; *paṭhitavva* + *sU* по 4.1.2; *paṭhitavva* + *am* ~ *sU* по 7.1.24; *paṭhitavva* + *am* → *paṭhitavvam* по 6.1.107 (*pūrvarūpa* — *a* + *a* = *a*); *paṭhitavvam* «должен читать».

2) *paṭh* называется «дхату» по 1.3.1: *paṭh* + *anīyaR* по 3.1.96; *paṭh* + *anīya* → *paṭhanīya* + *sU* по 3.1.93, 1.2.46, 4.1.2; *paṭhanīya* + *am* ~ *sU* → *paṭhanīyam* по 7.1.24, 6.1.107; *paṭhanīyam* «to be read».

3) *ji* называется «дхату» по 1.3.1: *ji* + *yaT* по 3.1.97; *ji* + *ya* гуна по 7.3.84; *je* + *ya* → *jeya* + *sU* (см. выше); *jeya* + *am* ~ *sU* → *jeyam* (см. выше); *jeyam* «to be conquered».

4) *paṭh* называется «дхату» по 1.3.1: *paṭh* + *Ṇyat* по 3.1.124; *paṭh* + *ya* называется *upadhā* по 1.1.65; *paṭh* + *ya* «врядхи» по 7.2.116; *pāṭhya* + *am* ~ *sU* → *pāthyam* «нужно читать» по 7.1.24, 6.1.107, и т. д.

2. **Ṇvul**: *paṭh* называется «дхату» по 3.1.1; *paṭh* + *Ṇvul* по 3.1.133; *paṭh* + *vu*; *paṭh* + *aka* ~ *vu* по 7.1.1; *pāṭhaka* «врядхи» по 7.2.116; *pāṭhaka* + *sU* по 3.1.93, 1.2.46, 4.1.2; *pāṭhakah* ~ *RU* ~ *sU* по 8.2.66, 8.3.15; *pāṭhakah* «читатель», и т. д.

3. **trC**: *paṭh* называется «дхату» по 1.3.1; *paṭh* + *trC* по 3.1.133; *paṭh* + *iT* + *trC* по 3.4.114, 7.2.35; *paṭh* + *i* + *tr* → *paṭhitṛ* + *sU* по 3.1.93, 1.2.46, 4.1.2; *paṭhit* + *anAN* ~ *r* + *sU* по 7.1.94; *paṭhitan* + *sU* — удлинение гласного *a* суффикса по 1.1.42, 6.4.8; *paṭhitān* + *s* — исчезновение *s* по 6.1.68; *paṭhitān* — исчезновение *n* по 1.4.14, 8.2.7; *paṭhitā* «читатель» и т. д.

4. **nisthā**: аффиксы **Kṛta** и **KṛtatU** называются «ништха» (1.1.26).

1) **Kṛta** — аффикс причастия прошедшего времени страдательного залога: *paṭh* «дхату» по 1.3.1; *paṭh* + **Kṛta** по 3.2.102; *paṭh* + *iT* + *ta* по 3.4.114, 7.2.35; *paṭh* + *i* + *ta* → *paṭhita* + *sU* по 3.1.93, 1.2.46, 4.1.2; *paṭhitah* ~ *RU* ~ *sU* по 8.2.66, 8.3.15; *paṭhitah* «прочитанный».

2) **KṛtatU** — аффикс причастия прошедшего времени действительного залога: *paṭh* «дхату» по 1.3.1; *paṭh* + **KṛtatU** по 3.2.102; *paṭh* + *iT* + *tavat* по 3.4.114, 7.2.35; *paṭhitavat* + *sU* по 3.1.93, 1.2.46, 4.1.2; *paṭhitavāt* + *sU* — удлинение гласного *a* в *tavat* по 6.4.14; *paṭhitavā* + *nUMt* + *sU* — аугмент *nUM* по 7.1.70; *paṭhitavānt* + *s* — исчезновение *s* по 6.1.68; *paṭhitavānt* — исчезновение *t* по 8.2.23; *paṭhitavān* «читавший», и т. д.

5. **GHañ**: *paṭh* «дхату» по 1.3.1; *paṭh* + **GHañ** по 3.3.18; *pāṭh* + *a* «врядхи» по 7.2.116; *pāṭh* + *a* → *pāṭha* + *sU* (см. выше); *pāṭhah* ~ *RU* ~ *sU* по 8.2.66, 8.3.15; *pāṭhah* «урок», и т. д.

6. **aC**: *ci* «дхату» по 1.3.1; *ci* + **aC** по 3.3.56; *ci* + *a* гуна по 7.3.84; *ce* + *a* → *cau* ~ *e* + *a* по 6.1.68; *caya* + *sU* по 3.1.93, 1.2.4—6, 4.1.2; *cayah* ~ *RU* ~ *sU* по 8.2.66, 8.3.15; *cayah* «куча», и т. д.

7. **KṛtiN**: *paṭh* «дхату» по 1.3.1; *paṭh* + **KṛtiN** по 3.3.94; *paṭh* + *iT* + *KṛtiN* по 3.4.114, 7.2.35; *paṭh* + *i* + *ti* → *paṭhiti* + *sU* по 3.1.93, 1.2.46, 4.1.2; *paṭhitih* ~ *RU* ~ *sU* по 8.2.66, 8.3.15; *paṭhitih* «чтение».

8. *LyuT*: *paṭh* «дхату» по 1.3.1; *paṭh + LyuT* по 3.3.115; *paṭh + yu* → *paṭh + ana* ~ *yu* по 7.1.1; *paṭhana + sU* по 3.1.93, 1.2.46, 4.1.2; *paṭhan + am* ~ *sU* → *paṭhanam* «чтение» по 7.1.24, 6.1.107.

9. *tumUN*. При помощи аффикса *tumUN* образуются формы инфинитива: *paṭh* «дхату» по 1.3.1; *paṭh + tumUN* по 3.3.158; *paṭh + iT + tumUN - iT* по 3.4.114, 7.2.35; *paṭh + i + tum* → *paṭhitum + sU* по 3.1.93, 1.2.46, 4.1.2; *paṭhitum + sU* получает название *avyaya* (несклоняемая часть речи) по 1.1.39; *paṭhitum - ∅* ~ *sU* (исчезновение аффикса *sU* по 2.4.82); *paṭhitum* «читать», и т. д.

10. *Ktvā*. При помощи аффикса *Ktvā* образуются формы деепричастия: *paṭh* «дхату» по 1.3.1; *paṭh + Ktvā* по 3.4.21; *paṭh + iT + Ktvā - iT* по 3.4.114, 7.2.35; *paṭh + i + tvā* → *paṭhitvā + sU* по 1.2.46, 4.1.2; *paṭhitvā + sU* получает название *avyaya* по 1.1.40; *paṭhitvā - ∅* ~ *sU* (исчезновение *sU* по 2.4.82); *paṭhitvā* «прочитай», и т. д.

11. *sat*. Причастные аффиксы настоящего времени *SatR* и *ŚānaC* называются общим термином *saṁ* (3.2.127).

1) *paṭh* «дхату» по 1.3.1; *paṭh + SatR* по 3.2.124; *paṭh + at*; *paṭh + SaP + at* по 3.4.113, 3.1.68; *paṭh + a + at* → *paṭhat - «pararūpa» a + a = a* по 6.1.97; *paṭhat + sU* (см. выше); *paṭha + nUM + t + sU nUM* по 1.1.43, 7.1.70, 1.1.47; *paṭha + n + t + sU* → *paṭhant + s*; *paṭhant + s* — исчезновение *s* по 6.1.68; *paṭhant - исчезновение t* по 8.2.23; *paṭhan* «читающий».

12. *ŚānaC*. Причастный аффикс настоящего времени медиопассива: *pac* «дхату» по 1.3.1; *pac + ŚānaC* по 3.2.124; *pac + SaP + ŚānaC* по 3.4.113, 3.1.68; *pac + a + āna*; *pac + a + mUK + āna* — аугмент *mUK* по 7.2.82, 1.1.46; *pac + a + m + āna* → *pacamāna + sU* (см. выше); *pacamānah ~ RU ~ sU* по 8.2.66, 8.3.15; *pacamānah* «вареный», и т. д.

Точный характер описания языка у Панини и строгость применяемых им методов (установление инвентаря единиц — глагольных корней, суффиксов, флексий, правил чередований вариантов одной морфемы в составе разных классов форм и правил соединения морфем между собой) не оставляет сомнения в том, что «Аштадхьяйи» является первым образцом порождающей грамматики, прообразом генеративных грамматик в современной лингвистике.

Н. Г. КОРЛЯТЯНУ

МОЛДАВСКАЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Истоки формирования молдавской научно-технической терминологии следует искать в трудах молдавского ученого Дмитрия Кантемира, 200-летие со дня рождения которого отмечалось в 1973 г. в международном масштабе по решению ЮНЕСКО. В процессе создания своих научных трудов Дм. Кантемир учитывал как особенности своего родного, молдавского языка, так и тенденции к интернационализации научной терминологии. Как и великий Ломоносов, воспитанный на греко-латино-славянской традиции, Дм. Кантемир в своем безграничном восхищении древней культурой стремился поднять родной язык до уровня классических языков. В связи с этим он вводил в молдавский язык много лексических элементов, структуру предложения и топику указанных языков.

Некоторые термины, относящиеся к различным отраслям науки, сохранились со времени Дм. Кантемира до наших дней в языковом обороте молдавского народа. Так, в области географии, космографии и других наук до сих пор сохранились (иногда в фонетической оболочке оригинала) такие термины, как *аустру* «южный ветер», *еклипсис* (*еклипса*)¹ «затмение», *комитис* (*комета*), *оризон* (*оризонт*) «горизонт», *планета*, *полос* (*пол*) «полюс», *сфера*, *тропик*, *тропическ* «тропический» и др. Дм. Кантемир ввел в оборот ряд физико-математических и химических терминов, встречающихся (иногда в слегка фонетически измененном виде) и в современном молдавском языке: *аксиомэ*, *атом*, *энергие* (*энержье*), *експериенцие* (*эксперимент*) «опыт», *физик*, *метафизик* и др. Правда, есть у Дм. Кантемира и такие термины, которые сегодня утрачены: *исиметрие* (*екиноциу*) «равноденствие», *лембик* (*аламбик*) «перегонный куб», *херсонисос* (*пенинсулэ*) «полуостров» и др.

К терминам из области медицины и физиологии относятся: *агонэ* (*агоние*), *анатомик* «анатом», *антидот* «противоядие», *апотекар* «аптекарь» (ныне исчез), *катаррактэ*, *ипохондрие*, *ларинга* (*ларинжье*) «гортань», *меланхолик*, *пилулэ*, *пор* «пора», *рецептэ* «рецепт», *темперамент* и др.

Из политических, философских и военных терминов, введенных Дм. Кантемиром, следует упомянуть: *армистицие* (*армистициу*) «перемирие», *дипломатие* (*дипломацие*) «дипломатия», *диалектик*, *категорие*, *материе*, *монархия*, *привилегие* (*привилежиу*), *систимэ* (*систем*), *силогисмос* (*сильогизм*), *теорие*, *трактат* и др.

К своему аллегорическому роману «Иероглифическая история» (1716) Дм. Кантемир приложил список подобных терминов, снабженных соответствующими пояснениями. Интересно отметить, что для толкования отдельных терминов греческого происхождения Дм. Кантемир приводит синонимические соответствия славянского происхождения (*аксиомэ* — *правилэ*; *каталог* — *извод*; *диатесис* — *нэстав*; *евсевие* — *православие* и

¹ Здесь и ниже в скобках даются современные варианты.

и т. п.). Это свидетельствует о том, что во времена Кантемира славянские термины были понятны и общераспространены в Молдавии.

Хотя Дм. Кантемир и уловил верный путь развития молдавской научно-технической терминологии, все же его попытка создать научный стиль не дала должного результата, поскольку его сочинения долгое время оставались в рукописях и были напечатаны лишь в 1883 г. К этому времени появились уже новые источники формирования молдавской научно-технической терминологии.

В XIX в., особенно усилиями известного просветителя Георгия Асаки, в молдавский язык была введена математическая терминология: *апликация*, *апотема*, *базис* (*базэ*), *ксентру* (*центру*), *ксиллиндру* (*чиллиндру*), *косеканс* (*косекантэ*), *косинус*, *експоненс* (*експонент*), *ромбоидес* (*роб*), *скален*, *секантэ*, *синус*, *оптуз*, *паралелипипед* и другие термины интернационального распространения. Не имели успеха и впоследствии исчезли научные термины, созданные путем калькирования. Ср. *атингэтоаре* «тангенс» (*тан-жентэ*), *импреунэ фэктор* (*коэффициент*), *тэтоаре* «секущая линия» (*секантэ*), *асеменя пичорат* «равнобедренный» (*исосчел*), *калодомесор* «термометр», *греомесор* «барометр», *акриме* «кислота» (*ачид*) и др.

Подлинным языком науки и техники молдавский язык стал после Великой Октябрьской социалистической революции и установления Советской власти на всей территории Молдавской Советской Социалистической Республики. Великие преобразования, которые свершились в экономической, социально-политической и культурной жизни нашей страны, и МолдССР в частности, обусловили бурное развитие молдавского языка на всех его уровнях, и, в частности, на стилистическом, синтаксическом, лексико-фразеологическом и особенно терминологическом уровнях. «Термин в области лексики и формула в области синтаксиса являются теми идеальными типами языкового выражения, к которым неизбежно стремится научный язык»².

Исследование современной научно-технической терминологии может осуществляться по трем основным линиям: содержательной, логической и лингвистической³.

Содержательный аспект изучения научно-технической терминологии зависит от современного уровня определенной отрасли науки и техники. Логический аспект относится к стройности построения терминологии в той или иной области научных или технических знаний⁴.

В этой статье мы остановимся на последнем, т. е. лингвистическом, точнее социолингвистическом аспекте исследования научно-технической терминологии молдавского языка.

Научно-техническая терминология зависит преимущественно от развития соответствующих отраслей науки и техники, т. е. от определенных экстралингвистических факторов. Потребность обмена информацией внутри определенного национального коллектива и необходимость подобного контактирования в межнациональном масштабе обуславливают социальный характер языка. К. Маркс писал в предисловии к I тому «Капитала»: «всякая нация может и должна учиться у других»⁵. Развитие современной молдавской научно-технической терминологии имеет многие точки соприкосновения с эволюцией подобной лексико-фразеологической системы

² Ш. Б а л л и, Французская стилистика, М., 1961, стр. 144.

³ В. П. Д а н и л е н к о, Лингвистические требования к стандартизации терминологии, сб. «Терминология и норма», М., 1972.

⁴ О содержательно-логических аспектах стандартизуемой терминологии см.: Т. Л. К а н д е л а к и, Г. Г. С а м б у р о в а, Вопросы моделирования систем значений упорядоченных терминологий, сб. «Современные проблемы терминологии в науке и технике», М., 1969.

⁵ К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с, Соч., 23, стр. 10.

других языков. Все языки стремятся удовлетворить растущие потребности коммуникации, которые должны соответствовать уровню международных достижений. Полностью удовлетворить эти потребности ни один язык не в состоянии, поскольку постоянно растущие потребности общения обгоняют языковые возможности. И все же «приспособление языка к усложняющимся формам общественной жизни людей и вызываемым ими новым потребностям общения»⁶ составляют то, что называется абсолютным прогрессом. «Абсолютный прогресс выражается прежде всего в росте словарного состава языка и в увеличении количества значений слов»⁷.

Многообразны источники формирования современной молдавской научно-технической терминологии.

Во-первых, это внутренние ресурсы языка — различные способы словообразования, лексикализация производных элементов, формирование словосочетаний и т. д. К примеру: *турнатор* «литейщик» (< *а турна* «лить» + суффикс лат. происх. -тор); *унгатор* «масленка» (< *а унже* «мазать, смазывать» + суффикс лат. происх. -тор); *кондуктор* «проводник» (< *а кондуке* «вести; сопровождать» + суффикс лат. происх. -тор); *семи-кондуктор* «полупроводник» (< *семи-* префикс «полу-» + *кондуктор*); *каприор* «стропило, стропильная нога» (< *капрэ* «коза; козлы» (техн.) + суффикс лат. происх. -иор); *уналятэ* «орудие» (< *уне* + *алтэ* — неопределенные местоимения); *скеля агэцатэ* «люлька» (строит.), букв. «деса подвешенные»; *фер сехь* «металлический лом» (*фер* «железо», *сехь* «старое»).

Научно-техническая терминология, как и все остальные лексические пласты, основывается на общей деривативной системе литературного языка. Так, для образования определенных научно-технических терминов в молдавском языке весьма активно используется полная инфинитивная глагольная форма с суффиксом действия -ре, выражающая значение производственного процесса. Как правило, эти термины в форме отглагольного существительного соответствуют русским словам, оканчивающимся на -ка или -ние [*ажустаре* «наладка», *акордаре* (рад.) «настройка», *верификаре* «проверка», *гудронаре* «осмолка», *курэцире*, *ринделаре* (лес.) «зачистка», *регларе* (маш.) «настройка», *стружуре* «обточка», *сударе* (мет.) «заварка», *фербере* «заварка», *ыныртуре*, *ротуре* («с)крутка», *ынкэркаре* (а *купторулуй*) «загрузка (печи)» и т. п.; *афынаре* «разрыхление», *бетонаре* «бетонирование», *гэурире* «сверление», *десхидратаре* «обезвоживание», *карбонизаре* «обугливание», *фларе* «бурение», *трефиляре* «волочение», *фиксаре* «крепление» и т. п.].

Аффиксальное образование молдавских терминов полностью соответствует деривативным требованиям научно-технической терминологии: строго необходимо, чтобы термины одного порядка имели однотипную конструкцию⁸.

В качестве терминологического форманта нередко выступают обычные словообразовательные элементы. Особенно продуктивен, например, суффикс -иц-э, образующий имена с уменьшительно-ласкательным значением и легко приспособляющийся к корням различного происхождения (лат. *капрэ* «коза» — *каприцэ* «козочка», *скарэ* «лестница» — *скарцицэ* «лестенка» и др.; слав. *ведрэ* «ведро» — *ведрицэ* «ведерко», *градимэ* «сад» — *градиницэ* «садики», и др.; фрако-дак. *копил* «ребенок, дитя» — *копилицэ* «девочка»; арабско-турецк. *дугьмэ* «лавка, магазин» — *дугеницэ* «лавчонка», ма-

⁶ «Общее языкознание. Формы существования, функции, история языка», М., 1970, стр. 306.

⁷ Там же.

⁸ Д. С. Лотте, Образование системы научно-технических терминов. Элементы термина, ИАН ОТН, 1948, 5, стр. 728; е го ж е, Омонимы в научно-технической терминологии, ИАН ОТН, 1944, 1—2.

газинчик»). Он служит для образования уменьшительно-ласкательных имен жен. рода (*Мария — Марица, Виктория — Викторица, Дойна — Дойница* и др.), а также форм жен. рода — наименований профессий, занятий — от соответствующих существительных муж. рода (*морар* «мельник» — *морэрицэ* «мельничиха» и др.). В современном языке этот способ широко используется для образования наименований тех профессий, которые теперь стали доступны и женщинам (*пиктор* «художник» — *пикторицэ* «художница», *судор* «сварщик» — *судорицэ* «сварщица», *шофер* — *шоферицэ*; *доктор* — *докторицэ* и т. п.).

С помощью этого суффикса пополняется терминология ряда отраслей естествознания (*рэсадницэ* «парник», *гаицэ* «сойка», *урекелициэ* «сороконожка», *плавациэ* «сухоцвет» и др.) и технических наук (*бентичэ* (текст.) «бейка», *выртелнициэ* «моталка, мотовило», *шурубелнициэ* «отвертка», *шурубелнициэ* *електрицэ* «гайковерт» и др.).

Другим средством терминологизации является переосмысление значений слова, когда «у слова как бы отсекают его лексическое значение и „привязывают“ к нему строгое, точное определение — дефиницию»⁹. В данном случае один из дифференциальных признаков слова выступает в качестве «общей идеи» и для слова, и для термина. Так, слово *меморие* «память», т. е. «способность человека сохранять и воспроизводить в сознании прежние впечатления», в современном языке техники (*мемория калкуляторулуй електроник* «память ЭВМ») приобрело терминологическое техническое значение — «функциональная и конструктивная подсистема, которая в процессе обработки данных позволяет хранение и извлечение информации от любой главной подсистемы ЭВМ». Или, например, слово *обосьялэ* «усталость» (т. е. «чувство утомления, ослабления организма от работы, движения и т. п.») в сочетании с техническими терминами: *обосьяла металулуй* «усталость металла», *обосьяла ресортулуй* «усталость пружины», *обосьяла термикэ* «термическая усталость» и т. п.

Заметим, что собственные молдавские морфологические ресурсы проявляются особенно в виде различных детерминативов [аэро- стат наблюдения — *балон де обсервациэ*; атом легкий (тяжелый) — *атом ушор (греу)*; атом внедренный — *атом ынтродус*; атом разрушенный — *атом диструс*; атом свободный — *атом либер*; атом связанный — *атом легат* и т. п.].

В научном языке меньше, чем в общенациональном, осуществляется связь в плане узуса и традиции между внешней оболочкой слова и вложенным в него смысловым значением, так как значение зависит от развития данной науки. Однако имеются случаи внутренней мотивировки термина. Так, в физике элементарных частиц имеется термин «странность». «Эти частицы живут в миллион миллионов раз дольше, т. е. около 10^{10} сек. Это, утверждают физики, очень странно. И новые частицы стали называться странными»¹⁰. В молдавском был приспособлен соответствующий калькированный детерминатив: *партикулэ странне*, т. е. «частица странная».

Характеризуя эпоху капитализма, В. И. Ленин особо подчеркивал, что отличительной чертой эпохи является: «развитие и учащение всяческих отношений между нациями, ломка национальных перегородок, создание интернационального единства капитала, экономической жизни вообще, политики, науки и т. д.»¹¹.

⁹ «Русский язык и советское общество. Лексика современного русского литературного языка», М., 1968, стр. 152.

¹⁰ К. Ф о р д, Мир элементарных частиц, М., 1965, стр. 231.

¹¹ В. И. Л е н и н, Полн. собр. соч., 24, стр. 124.

В современном мире эта тенденция еще более усилилась. «В силу значительной интеграции науки и техники с их терминологией... в материале разных языков мировой цивилизации, особенно в их фразеологии, соответствуют и постепенно расширяются зоны общего международного словесно-понятийного соответствия и соотношения»¹². В связи с этим некоторые ученые высказались за создание так называемого «европейского семантического койне»¹³, поскольку теснейшие связи между различными народами способствуют переходу различных понятий от одного народа к другому. Вследствие этого развитие научно-технической терминологии в подавляющем большинстве современных языков осуществляется по линии интернационализации данных средств. В настоящее время все более и более чувствуется тенденция к языковой унификации не только в национальном, но и в интернациональном масштабе. Так, например, в общественно-политической терминологии около 40% полнзначных слов в современных европейских языках постоянно соответствуют¹⁴. Особенно ярко проявляется процесс интернационализации в области физико-математических и технических наук. Не случайно первый русский текст, переведенный на английский при посредстве ЭВМ в январе 1954 г. в университете Джорджтауна, был из области математики, где число интернациональных терминов особенно велико.

И в молдавском языке основная терминология физико-математических, химических и технических наук носит интернациональный характер (*синус, косинус, тангенс, котангенс, параллелограм; ампер, вольт, атом, валенца, молекула, азот; телескоп, монтаж, видеотелефон* и т. д.).

Следует особо выделить ведущие научно-технические отрасли на современном этапе и, в частности, электронику с автоматикой, кибернетикой и информатикой. Специальное применение имеют в радиоэлектронике различные виды радиокommunikаций: радиолокация, радионавигация, телевидение, техника инфракрасных радиаций, радиоастрономия, радиометеорология, радиоспектроскопия, радиотелемеханика, промышленная электроника и т. д. Отраслевая терминология, обслуживающая эти дисциплины, используется почти всеми современными языками, в том числе и молдавским. Интернациональный характер имеют и многие термины, связанные со средствами передвижения, связи, военного и спортивного обихода, искусства, экономики, литературоведения, языкознания и других наук.

Тенденция к интернационализации языковых средств во всей терминологии связана зачастую с вытеснением (а иногда и с исключением из активной лексики) ряда терминов, имеющих местное, для каждого народа, распространение. Эти термины со временем превращаются в историзмы и архаизмы. Введение в молдавский язык интернационального административного термина *акт* вытеснило из молдавского языка следующие заимствования: н.-греч. *хрисов*, венг. *урик*, арабско-турецк. *синет*, ст.-слав. *записъ* и др.

Научно-технические термины интернационального оборота создаются на базе морфологических средств (корней и аффиксов) древних классических языков (*макро-, микро-, био-, граф-, -лог, -дрон, -трон* и др.). Моносемантизм оформленных подобным образом терминов делает их предпочтительными. Они легко раскрывают те понятия, которые называют. На

¹² В. В. Виноградов, Заметки о стилистике современной литературы, «Литературная газета», 19 X 1965.

¹³ E. Peruzzi, Saggi di linguistica europea, «Tesis y estudios Salamanticos», X, 1958, стр. 21.

¹⁴ И. И. Резвия, В. Ю. Розенцвейг, Основы общего и машинного перевода, М., 1964, стр. 123.

основе терминологических элементов мы легко отдаем себе отчет в том, что *телефон* означает «передачу звуков на расстояние», *видеотелефон* — «передачу изображения и звука на расстояние», *геофон* — «прибор для записи звуков земли» и т. п. Греко-латинские словообразовательные элементы использованы для создания многих терминов, таких, как *синхро(фаза)трон*, *ракетодром*, *селен(ен)аут*, *гидронаут* и др.

Попытки калькирования и перевода подобных терминов, как правило, заканчивались неудачей. Так, в молдавском пытались перевести интернациональные термины (*оксижен* — *акру наскэтор*, *гидрожен* — *де апа наскэтор* и др.), но эти кальки были отвергнуты языком. Ф. Энгельс писал: «Ведь необходимые иностранные слова, в большинстве случаев представляющие общепринятые научно-технические термины, не были бы необходимыми, если бы они поддавались переводу. Значит, перевод только искажает смысл; вместо того, чтобы разъяснить, он вносит путаницу»¹⁵.

Важным способом пополнения научно-технической терминологии молдавского языка являются заимствования из других языков. В связи с этим необходимо учесть, что «не тот язык, из которого определенные заимствования исходят, является в таких отношениях активным фактором, большая активность на стороне того языка, который эти явления принимает. И заимствуются эти явления в результате возрастающих требований к языку, а возрастающие требования к языку не представляют собой явления упадка, а наоборот, сопутствуют приобщению к новой ситуации, данной новым хозяйственным, политическим и культурным ростом»¹⁶.

В современных условиях русский язык как один из самых высокоразвитых языков мира оказывает значительное влияние на развитие национальных языков народов нашей страны. Это воздействие особенно ощущается в области терминологии, связанной с современными научно-техническими достижениями. В языки народов СССР и мира вошли такие термины, как: *спутник*, *лунник*, *луноход* (имеется и полукалькированный термин *луномобил*), *лавсан* (Лаборатория высокомолекулярных соединений АН СССР), *мэлан* (малоэластичный лавсан), *мтилон* (Московский текстильный институт + лон), *летилан* (Ленинградский текстильный институт + Латвийская АН).

Через посредство русского языка проникло в национальные языки народов СССР значительное количество терминологических заимствований из западноевропейских языков. Как правило, эти термины носят интернациональный характер. Ср. молд. *булдожер* — русск. *бульдозер* — англ. *bulldozer*; *модул* — *модуль* — франц. *module*; *лайнер* — *лайнер* — англ. *liner*; *лифт* — *лифт* — франц. *lift*; *траулер* — *траулер* — англ. *trawler* и др.

В молдавской научно-технической терминологии имеются термины, заимствованные непосредственно из западноевропейских языков, например: молд. *алпака* — нем. *Alpaka* «мельхиор»; *бужие* — франц. *bougie* «свеча»; *игнифуг* — франц. *ignifuge* «несгораемый»; *теу* — франц. *té* «тройник, рейшина»; *ферибот* — англ. *ferry-boat* «железнодорожный паром»; *шенила* — франц. *chenille* техн. «гусеница» и др.

На базе заимствованных терминологических элементов образуются устойчивые терминологические словосочетания. Они подразделяются на четыре группы. В первую входят те словосочетания, которые состоят из двух или более элементов, имеющих терминологический характер (*мотор ку карбуратор* «карбюраторный двигатель», *мотор термик* «тепловой двигатель», *корозиуне електрохимика* «электрохимическая коррозия», *аутомобил*

¹⁵ К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., 19, стр. 322.

¹⁶ В. Наврашек, *Studie o spisovném jazyce*, Praha, 1963, стр. 34.

электрик «электрический автомобиль» и др.). Во вторую включаются словосочетания, в которых определяемый элемент является термином, а определяющий — словом общенационального употребления (*пресиуне ин-тернэ* (*екстернэ*) «внутреннее (наружное) давление», *арборе котит* «коленчатый вал» и др.). В третью группу входят словосочетания, в которых определяющий элемент является термином, а определяемый может быть словом общенационального языка или термином (*гытул арборелуй* «шейка вала», *сабот де фрызэ* «хвостки фрезы», *гытлежул аутокупларий* «зев автосцепки» и т. д.). В четвертую включаются такие терминологические словосочетания, в которых ни один из элементов не является термином (*гурэ де минэ* «ствол шахты», *коадэ де рындуникэ* «ласточкин хвост», *круче де Малта* «малтийский крест», *фынтына оарбэ* «слепая шахта») и др.

Формирование современной научно-технической терминологии молдавского языка представляет интерес в плане соотношения определенных терминологических формаций национального (молдавского) языка с языком межнационального общения народов СССР (русским), выявляющими определенные типологические особенности неблизкородственных языков.

Особое значение имеют наименования признаков предметов в отвлечении от самих предметов. В русском языке эти отвлеченные признаки, как правило, оформляются существительными с суффиксами *-ость* или *-ство*. Данные существительные называют механические свойства, испытание материалов и др. В молдавском языке эти термины в основном передаются посредством соответствующего адъективного корня с суффиксом *-итат-е* [прочность — *дурабилитате*; хрупкость — *фражилитате*; вязкость (текст.) — *вискозитате*; твердость — *дуритате*; текучесть — *флуидитате*; жаростойкость — *термостабилитате* и т. п.], реже используются другие суффиксальные формации: *-енцэ*, *-анцэ* (валентность — *валенцэ*; излучаемость — *радианцэ*; индуктивность — *индуктанцэ*; когерентность — *коеренцэ*; жароупорность — *терморезистенцэ* и др.).

В русской терминологии предпочитается номинация понятия посредством односложного термина¹⁷. В молдавском языке чаще используются аналитические терминологические словосочетания, весьма разнообразные по своей структуре: анизотропность — *карактер анизотропик*; дисперсность — *град де дисперсие*; зольность — *концинут ын ченушэ*; добротность — *валоаре калитативэ*; (строит.) ползучесть — *куржере лентэ*; калорийность — *путере калориферэ*; жаропрочность — *резистенцэ ла темпратурэ ынате*; краснотоккость — *фражилитате ла рошу*; красностойкость — *резистенцэ ла рошу*; влагопоглощаемость — *капачитате де абсорбире а умезелий*.

Весьма редки случаи, когда русское терминологическое словосочетание передается в молдавском языке односложным формантом (замкнуте накоротко — *а скуртчиркуита*; замыкание накоротко — *скуртчиркуитаре*).

С помощью суффикса *-ость* в русской научно-технической терминологии образуются термины не только от качественных, но и от относительных прилагательных. Подобные термины имеют в молдавском языке соответствия в виде терминологических словосочетаний (волоконность — *процент де фибре*; контрастность — *град де контраст*; поточность — *организарэ ын флукс*). Аббревиатуры русского языка, как правило, передаются путем расшифровки содержания: бензорез — *апарат де тэере ку флакэра де бензинэ*.

Таким образом, под влиянием русского языка для выражения новых понятий в молдавском языке создаются новые терминологические элементы и слово-

¹⁷ В. П. Даниленко, Лингвистическое изучение терминологии и культура речи, сб. «Актуальные проблемы культуры речи», М., 1970, стр. 318.

сочетания, активизируются и совершенствуются экспрессивные возможности терминологии.

В молдавском, как и в любом другом языке, система терминов в плане содержания соотносится с системой понятий соответствующей отрасли науки или техники¹⁸.

Научно-технический термин характеризуется, как правило, своим моносемантическим использованием. Так, молд. *вектор* (русс. *вектор*, франц. *vecteur*, лат. *vector* «ведущий, несущий») определяется как «отрезок прямой, имеющий определенное положение и направление». Данная лексическая единица включается в систему (или «терминологическое поле»¹⁹) физических терминов, где она конкретизируется посредством различных детерминативов [*вектор аксиал* «аксиальный (осевой) вектор»; *вектор ондулаториу* «волновый вектор», *вектор чинетик* «кинетический вектор»; *вектор де трансляție* «вектор параллельного переноса» и т. д.].

Как известно, в науке и технике терминируются определенные основные категории понятий, а именно процессы или явления: предметы техники, т. е. материалы, орудия, инструменты, различные детали и т. д.; определенные свойства; расчетные понятия, т. е. параметры, геометрические образы, единицы измерения²⁰ и т. д. В номинации этих категорий понятий используются, как правило, имена существительные. Другие части речи, например прилагательные, выступают чаще всего терминоэлементами, т. е. составляющими частей термина в целом.

Системность в терминологии реализуется путем классификации терминов в соответствующей отрасли науки и техники. Классификация основывается на выделении необходимых и достаточных для раскрытия содержания понятия признаков. Они и должны найти отражение в единообразном оформлении терминологических рядов²¹. Современные наука и техника достигли такого уровня, что требуют строгих научных признаков построения целостных систем наименований с определенными классификационными признаками²².

Издание различных словарей по научно-технической терминологии молдавского языка²³ должно содействовать процессу стандартизации, т. е. обязательному применению этой терминологии как в справочной и учебной литературе, так и в технической документации, что способствует взаимопониманию между специалистами. В плане выражения системность научно-технической терминологии соотносится с различными морфологическими категориями, характерными для каждого языка.

В условиях НТР молдавский язык стал подлинным языком науки и техники. Любое научно-техническое понятие может быть тем или иным способом выражено и на молдавском языке.

Это осуществляется, во-первых, благодаря созданию лексико-фразеологической базы, обеспечивающей процесс образования новых терминологических формаций с целью полной передачи всех современных научно-технических достижений. Таким путем современный молдавский язык выполняет на более высоком уровне свою информативную функцию.

¹⁸ А. М. Терпигорев, Об упорядочении технической терминологии, ВЯ, 1953, 1, стр. 72.

¹⁹ А. А. Реформатский, Что такое термин и терминология, сб. «Вопросы терминологии», М., 1961, стр. 51.

²⁰ Д. С. Лотте, Основы построения научно-технической терминологии, М., 1961, стр. 29.

²¹ В. П. Даниленко, Как создаются термины?, «Русская речь», 1967, 2, стр. 58.

²² Там же, стр. 68.

²³ «Дикционар техник рус-молдовенеск», Кишинэу, 1967; «Дикционар физик рус-молдовенеск», Кишинэу, 1967.

Во-вторых, идет речь о качественном преобразовании содержания многих молдавских научно-технических терминов, что позволяет обеспечить выражение новых понятий из области науки и техники.

В-третьих, необходимо отметить все более интенсивный процесс терминологических заимствований (прямых или калькированных) из русского и других языков.

В-четвертых, несомненен тот факт, что укрепились системность молдавской научно-технической терминологии. Лексические единицы каждого языка образуют определенную систему. Изменения семантической значимости можно понять лишь в пределах этой системы. Данное положение относится и к терминологии современного молдавского языка.

А. И. ЖУРАВСКИЙ

ИЗ ИСТОРИИ АКТИВНЫХ ПРИЧАСТИЙ НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ В БЕЛОРУССКОМ ЛИТЕРАТУРНОМ ЯЗЫКЕ

В процессе изучения истории литературных языков выявлена важная закономерность: литературный язык, даже если он основывается на каком-либо одном диалекте, никогда не остается идентичным этому диалекту, а развивает свои собственные черты во всех своих сферах — в фонологии, морфологии, синтаксисе и словаре¹. История действительных причастий настоящего времени в славянских литературных языках является убедительным подтверждением этой закономерности. Сложная система причастий общеславянского языка позже подверглась существенным изменениям. В процессе развития славянских языков активные причастия настоящего времени превратились в несклоняемую деепричастную форму или же в прилагательные². По-иному сложилась судьба этих причастий в литературных славянских языках. Как важное средство краткого изложения сложного синтаксического содержания они были сохранены или же восстановлены почти во всех славянских литературных языках³.

В истории белорусского литературного языка заметно выделяются два периода, хронологически отделенные друг от друга двухсотлетней эпохой, когда ввиду колонизации Белоруссии вообще отсутствовала письменность на белорусском языке. Эти два периода отличались как внешними, общественно-культурными функциями литературного языка, так и его грамматическими и лексическими средствами. Активные причастия настоящего времени типа *берущий, идущий, несущий* (современные *бяручы, ідуць, нясуць*) как раз и принадлежат к числу таких грамматических средств, которые играли неодинаковую роль на разных этапах истории белорусского литературного языка.

В ранний период своей истории белорусская письменность продолжала унаследованную от древнерусской эпохи систему двух письменных языков со сложными процессами между ними, интенсивным смешиванием древнерусизмов и церковнославянизмов⁴. Как известно, в древнерусский период широкое распространение получили русифицированные старославянские причастия на *-ущ, -ющ, -ащ, -ящ*. Причастия такого образования продолжали употребляться и в белорусской письменности раннего периода, причем они даже отмечаются и в деловых памятниках, которые по сравнению с другими жанрами старинной письменности менее всего отражают старославянское влияние, ср. в грамоте польского короля Владислава 1387 г.: *тотъ будетъ проклатъ оу сии евъжъ и оу будущий* или в Судебнике короля Казимира 1468 г.: *коли бы хто коня а любо клячу зна-*

¹ R. A u t y, The linguistic revival among the Slavs of the Austrian Empire, 1780—1850: The role of individuals in the codification and acceptance of new literary languages, «The modern language review», LIII, 3, 1958, стр. 392.

² А. Мейе, Общеславянский язык, М., 1951, стр. 268.

³ «Вступ до порівняльно-історичного вивчення слов'янських мов», Київ, 1966, стр. 234.

⁴ См.: Ф. П. Филин, Об истоках русского литературного языка, ВЯ, 1974, 3, стр. 8 и 12.

шол блаудящую или ими которы речи изнайденны шповедати школицы (л. 204 об.).

Нередки такие формы и в религиозных произведениях, переведенных с западославянских языков независимо от церковнославянских текстов в связи с распространением в Белоруссии католичества. Показательный материал в этом отношении дает рукописный сборник Государственной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина Q.I. № 391, содержащий переведенные на белорусский язык с польско-чешских списков «Страсти Христовы», «Повесть о трех королях-волхвах» и «Житие Алексея, человека божьего»⁵. В этих памятниках как дань традиции еще отмечаются причастия старославянского оформления, например: *хотѣиши таѣ пошти идоуѣ* (л. 47); *кажного входящего таѣ за покланеного имѣли* (л. 70); *люди видели Жрю молодлицу на ослици сѣдѣшу* (л. 44). Однако сборник Q.I. № 391 дает значительно большее количество примеров, где причастия выступают с закономерным белорусским формантом -ч-, и такие формы для этого сборника следует признать основной нормой: *видѣѣ есми его на оселѣхъ сѣдачого* (л. 17); *што скригтаеце зюбажи на него, правѣхъ говорацого* (л. 20); *слышаѣ есми голоѣ отцеѣ из неба звинавши* (л. 27 об); *мы видели аѣла истоупоучацого з неба* (л. 35); *вижоу тебе сторожа старости моег на мараѣ лежачого не говорацого со мною* (л. 98 об).

Старые книжнославянские причастия на -щ- обычны еще в переводах белорусского первопечатника Ф. Скорины, издавшего в 1517—1519 гг. в Праге основную часть Ветхого завета. Наряду с церковнославянскими причастиями на -щ- у Скорины встречаются также и белорусизированные формы на -ч-, но в количественном отношении они явно уступают первым. Статистические подсчеты показывают, что в языке переводных изданий Скорины причастий на -щ- насчитывается около 92% и только около 8% соответствующих причастий на -ч-⁶. Причастия Ф. Скорины принадлежат к числу тех показательных черт, которые свидетельствуют о церковнославянской, а не белорусской языковой основе его переводов.

Весьма примечательным является тот факт, что причастия настоящего времени действительного залога Ф. Скорина широко употреблял не только непосредственно в текстах священного писания, где они в какой-то мере были обусловлены оригиналами, но и в составленных им предисловиях к изданным библейским книгам. Это свидетельствует о том, что Скорина воспринимал причастие как нормальную глагольную форму, по употреблению не имеющую никаких ограничений в письменном языке. Структурно-синтаксической особенностью причастий Ф. Скорины является частое употребление их в составе причастных оборотов, где при причастии наличествует зависимое слово, а весь оборот находится в позиции относительно поясняемого существительного. В этом отношении особенно показательны примеры из предисловия к книге «Юдифь»: *Понеже шѣ прирощениа звери ходѣщие въ пустыни знаютъ тамъ своа. Птици летающие по въздухъ ведаютъ гнезда своа. Рыбы плывающие по морю и в рекахъ чуютъ виры своа. Ичелы и тымъ подобнаа боронѣть злѣвѣтъ своигъ. Такожъ и люди изде зродилиса и зсморлены суть по бозе к тому месту великую ласку имають* (л. 2 об.).

⁵ Язык сборника изучен Е. Ф. Нарским в исследовании «Западнорусский сборник XV в. Императорской Публичной библиотеки в С.-Петербурге Q. I. № 391» (Е. Ф. К а р с к и й. Труды по белорусскому и другим славянским языкам, М., 1962).

⁶ См.: А. И. Ж у р а в с к и й, О разграничении белорусских и церковнославянских памятников, сб. «Русское и славянское языкознание. К 70-летию члена-корреспондента АН СССР Р. И. Аванесова», М., 1972, стр. 100.

Конец XV и начало XVI в. в истории белорусской письменности известны как период значительного расширения общественно-культурных функций белорусского литературного языка и интенсивной выработки его орфографических, грамматических и лексических норм. Белорусский письменный язык того времени, став государственным в Великом Княжестве Литовском, надежно закрепил свои позиции в сфере делового употребления. Он использовался также для удовлетворения духовных запросов тогдашнего образованного общества, на нем создавались оригинальные, местные по содержанию летописи и другие художественные произведения, на белорусский язык переводились и популярные в средние века воинские повести, а также апокрифические и агиографические произведения.

Расширение общественных и культурных функций белорусского литературного языка того времени сопровождалось неуклонным процессом демократизации его путем сознательного или стихийного вытеснения из письменности архаических древнерусских и церковнославянских черт и замены их соответствующими средствами живой белорусской речи. Отмеченный процесс наиболее активно проводился в светской литературе, но вскоре он распространился и на конфессиональные произведения.

Активные причастия настоящего времени как раз и принадлежат к числу таких языковых черт, которые особенно наглядно иллюстрируют эти новые для белорусского литературного языка тенденции. Во-первых, книжнославянские причастия на *-ущ-* начали вытесняться их восточнославянскими эквивалентами на *-ч-*. Этот процесс, как уже отмечалось, начал проявляться в конце XV в., и к середине следующего столетия в белорусской письменности господствующими стали причастия на *-ч-* типа *берущий, идущий, несущий*. Во-вторых, уже в конце XV в. в белорусской письменности даже религиозного содержания наметились тенденции к ограниченному употреблению активных причастий и замене их в соответствии с народной традицией описательными оборотами. Так, в упомянутом выше сборнике Q. I. № 391 известное евангельское изречение *Приидите ко мнѣ, вси трѣбующіи ся и обремененніи, и азъ оупокою вы* (Матфей, XI, 28) передано в виде *пойдете до мене оуси которыи работуете, а оутешоны есте, а а охоложоу васъ* (л. 98).

Такой подход к переводу причастий нашел свое отражение в ряде других конфессиональных памятников. Описательные обороты вместо причастий особенно распространены в псалтыри, переведенной на белорусский язык около середины XVI в.⁷ Так, обороту современной псалтыри *яко скорбѣ близъ яко нѣсть помогающаго ми* в белорусском переводе середины XVI в. соответствует *бо ажъ близко єсѣ смѣтоѣ мои, а не єсть кто бы мѧ вспомаѣ* (л. 23 об.); соответственно *Да постыдѣтся беззаконнѣющіи себе — посоромочениѣ* *бѣдѣ* *вси которые неправые речи чинѣтъ* (л. 25 об. -26); *оуподоблюся низходящымъ въ ровъ — прировнаѣса к тымъ которые входить въ ровъ* (л. 28 об.). Такой же подход к причастиям заметен и в переводе библейских книг, содержащихся в рукописном сборнике первой половины XVI в. № 262 библиотеки Академии наук Литовской ССР.

Однако замена активных причастий церковнославянских оригиналов описательными оборотами не оказалась перспективной в старобелорусской письменности. Проникновение белорусского языка в важнейшие сферы общественной и культурной жизни, перевод на белорусский язык многочисленных конфессиональных и исторических сочинений принудил старинных книжников восстановить активные причастия и широко ис-

⁷ Язык памятника обстоятельно изучен Е. Ф. Карским в исследовании «Западно-русские переводы псалтыри в XV — XVII веках», Варшава, 1896.

пользовать их благодаря способности этой глагольной формы краткой выразительностью заменять вялые обороты. При этом в белорусской письменности причастия в большинстве выступали с закономерным для белорусского языка формантом *-ч-*, чем они и отличались от церковнославянских.

Отношение белорусских книжников второй половины XVI в. к причастиям наиболее выразительно проявилось в переводческой деятельности В. Тяпинского, издавшего около 1580 г. на белорусском языке евангелие⁸. Свой перевод Тяпинский напечатал параллельно с церковнославянским текстом, благодаря чему имеется редкая возможность выявить все важнейшие особенности перевода по сравнению с церковнославянским оригиналом. Изучение этого памятника показывает, что его переводчик руководствовался сознательным стремлением передать средствами белорусского литературного языка самые тонкие смысловые оттенки церковнославянского оригинала. С большими затруднениями столкнулся переводчик при передаче на белорусский язык разных типов церковнославянских причастий, которые не были свойственны ни белорусской народно-разговорной речи, ни ее письменной-литературной форме.

Например, значительную трудность для В. Тяпинского составляли церковнославянские причастия настоящего времени страдательного залога с суффиксом *-м-*. Такие причастия уже в старобелорусской письменности использовались очень редко. Переводчик евангелия подходил к этим формам по-разному. В одних случаях он передает их очень распространенными в старобелорусском языке страдательными причастиями прошедшего времени с суффиксами *-м-* или *-т-*, ср. *всако 8бо древо иже не творит плода добра, посекаемо бывает и во огнь вметаемо — протое дерево которое не чини^т овоу^х доброго, выт^ато бывает и до огна екидывано* (III, 10); *I будете ненавидими всеми имени моего ради — И 8бдете ненавидени 8^т еси^х имени моего деле* (X, 22). Этими же формами Тяпинский передает иногда и церковнославянские причастия действительного залога прошедшего времени: *Прииде бо сынъ человеческий (звискати и) спасти погибшаго — Пришолъ бо сынъ человекый (звискати и) заховати згубленого* (XVIII, 11).

В то же время церковнославянские причастия на *-щ-* Тяпинский в большинстве случаев передает белорусскими формами с формантом *-ч-*: *будущий — будучий, верующий — верующий, вопиющий — кричащий, грабующий — идущий, живущий — живущий, жидущий — будующий, хотащий — хотащий* и т. п. Например: *Просаче^м 8 тебе дай и хотащаго 8^т тебе за^тти, не 8^тврати — Просаче^м 8 тебе дай и хота^чого 8 тебе по^чичити не 8^творочай* (V, 42); *добро творите ненавидящимъ васъ и молитесь за творящихъ вамъ напасть — добре чините ненав^дающимъ васъ i мо^литесь за чина^чихъ вамъ по^жсы* (V, 44).

Причастиями на *-ч-* Тяпинский передает в большинстве случаев и старославянские активные причастия настоящего времени на *-аи, -аи, -аи*: *грабди — идущий, обреты — найдущий, приемлаи — принимающий, сыи — будующий, сѣаи — сеючий, твораи — чиначий* и т. п.: *Рече ем^х. ты ли еси грабди, или иного чаетъ — Рекъ ем^х ты ль еси идущий, чил^и иного ждемъ* (XI, 3); *Се изыде сѣаи да сеетъ — Ото вышолъ сеючий бы сеемъ* (XIII, 3).

⁸ В единственном известном в настоящее время экземпляре «Евангелия» В. Тяпинского содержится полностью евангелие от Матфея и отрывок евангелия от Марка. В этой статье все примеры приведены из евангелия от Матфея с указанием глав и стихов.

Особый интерес представляют случаи, когда белорусский переводчик евангелия причастиями на -ч- передает старославянские страдательные причастия настоящего времени с суффиксом -м-. В таких случаях резко изменяется смысл высказывания, поскольку лицо или предмет, испытывающий действие со стороны другого лица или предмета, формально превращается в производителя этого действия: *видѣть тебѣ его лежащѣмъ и огнею жгоущѣмъ* — *видѣль тебѣ его лежащю и огневою жгущю* (VIII, 14); *Баше же далече ѿ нѣю стадо свинии мѣного пасомо* — *И были далеко ѿ нѣхъ стадо свиней велико пасѣное* (VIII, 30)⁹.

Эти и подобные неточности перевода очень показательны с точки зрения общей эволюции причастий в белорусском языке. Они служат убедительным доказательством того, что активные причастия настоящего времени вовсе не были свойственны живой белорусской речи того времени, иначе переводчик, контролируя свой материал фактами живого языка, не допустил бы таких искажений.

Вместе с тем весь приведенный материал показывает, что активные причастия настоящего времени В. Тяпинским воспринимались как нормальное явление белорусского литературного языка. Активные причастия в это время широко используются и в оригинальной юридически-деловой письменности, лучшим образцом которой является известный «Статут Великого княжества Литовского», напечатанный в 1588 г. В Статуте встречаются предложения типа *масть такі...грѣхъ своѣ передѣ людьми входачими и выходачими с костела извне визнавати* (л. 411); *только мещане наши места виленьского поѣ местскимъ правомъ мешкающие статѣтомъ пѣвшимъ и теперешнимъ до такого права суть припѣщоны* (л. 106); *если бы са комѣмъ трафило на дорозе або где инде полемъ або лесомъ зтекающего злодея погонити* (л. 542); *пакли оу бы хто такъ на поли ходячого коня шлѣдетского соволне пограбилъ* (л. 511).

Причастия этого типа широко употреблялись и в украинской деловой и религиозной письменности¹⁰, развитие которой вообще имело много общих черт с белорусской.

О значительной активности в старобелорусском языке действительных причастий настоящего времени свидетельствует также тот факт, что письменные памятники фиксируют большое количество форм, образованных от заимствованных польских, латинских и немецких глаголов: *арендующий, апелующий, бенкетующий, вакующий, дишкурующий, жебрующий, инстикующий, козаящий, маестующий, мордующий, протестующий, рокующий, триумфующий, турбующий, фрасующий, шкодующий, штурмующий* и т. д.

Письменные памятники первой половины XVII в. дают очень богатый материал на употребление причастий, в особенности в религиозных жанрах, печатных и рукописных памятниках. В картотеке Словаря старобелорусского языка десятками примеров в разных падежных формах представлены причастия типа *бѣгающий, биющий, блудный, будущий, будующий, вѣдущий, вѣрующий, воюющий* и т. д. Ими изобилует, например, переведенная в начале XVII в. на белорусский язык библия Я. Вуйка, известная по списку Государственной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина (F. I. 2): *Указала ему се жена вдова збираюча дроѣца* (л. 437); *нашли сабѣла*

⁹ Некоторые другие особенности употребления причастий в «Евангелии» В. Тяпинского рассмотрены М. А. Муталимовой в статье «Об дееприметах у „Евангелия“ В. Тяпинскага» («Вѣстник Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта імя У. І. Леніна». Серия IV — Філалогія, журналістыка, 1969, 2).

¹⁰ И. М. Керницький, Система словозміни в українській мові, Київ, 1967, стр. 255.

лежа́чого и спя́чаго в наметѣ (л. 349); не встанѣ а наро́дъ ва́шего дрова рѣба́ющий и во́дъ нося́чи (л. 245); муже́е мимо идо́чи вѣрѣ́ли тѣ́ло ле́жащее на доро́зѣ, и лѣ́а сто́чаго при тѣ́ле (л. 427); вѣрѣ́ль во снѣ́ лѣ́ствицѣ́, сто́ча́чу на зе́млі а ве́рѣхъ еѣ́ до́сезаю́чи неба́ (л. 63); вѣрѣ́ль мужа́ сто́чаго протѣ́во е́му де́жа́чаго до́быты́ мечѣ́ (л. 237).

Подобными причастиями насыщены и многие старопечатные книги религиозного содержания на белорусском языке, такие как «Апокрипис» (Вильно, 1598), «Евангелие учительное» (Евье, 1616), «Веселы Макария» (Вильно, 1627), «История о Варлааме и Иоасафе» (Кутейно, 1637) и др. О роли и месте причастий действительного залога настоящего времени в общей системе языка таких памятников может дать представление следующий отрывок из «Истории о Варлааме и Иоасафе» (л. 111—111 об.): Гла́вѣши тебѣ́ обачи́ль двѣ́ мыши, о́днѣ́ бѣ́лѣю а дрѣ́жѣю чо́вѣ́къ, дере́ва о́ного, за ко́торое са́ былѣ́ оухо́пиль, ко́рень оу́стави́че по́бѣ́рзаю́че, и прѣ́ве до ко́нца о́ное по́бѣ́тинаю́че. А затѣ́мъ по́зрѣ́вши в глѣ́бокий ро́в, стра́шнаго смо́ка обачи́ль, на са́мо везре́ею о́гнемъ ды́шѣ́чаго, и сро́кго на него́ по́гледа́чаго, и стра́шную па́щкою по́лкънѣ́ти пра́вѣ́чаго.

В старобелорусской письменности позднейшего периода широкое распространение получили также причастия настоящего времени среднего возвратного залога, внешним показателем которых является возвратная постпозитивная частица -са: ба́вѣ́а́чи́йсѣ́, бѣ́снѣ́а́чи́йсѣ́, бо́жчи́йсѣ́, ве́селѣ́а́чи́йсѣ́, выно́сѣ́а́чи́йсѣ́, гнѣ́ва́а́чи́йсѣ́, за́чи́на́а́чи́йсѣ́ и т. д. Такие причастия образовывались также и от глаголов, заимствованных из польского языка, что свидетельствует об относительной активности этой модели в старобелорусском языке: ва́зѣ́а́чи́йсѣ́, ко́жа́а́чи́йсѣ́, ра́хѣ́а́чи́йсѣ́, ф́расѣ́а́чи́йсѣ́, х́вѣ́а́чи́йсѣ́, х́ла́бѣ́а́чи́йсѣ́, цѣ́вѣ́а́чи́йсѣ́ и т. д.

Весь рассмотренный материал, таким образом, показывает, что в старобелорусском литературно-письменном языке действительные причастия настоящего времени составляли нормальную грамматическую категорию и по употреблению их тогдашний белорусский язык существенно не отличался от других славянских литературных языков с длительной письменной традицией. Следует при этом напомнить, что старобелорусский литературный язык развивался стихийно, в условиях отсутствия учебников, грамматик и других кодифицирующих пособий. Распространение причастий в белорусском литературном языке явилось следствием тесного взаимодействия его с церковнославянским и польским языками и в условиях существовавшего тогда письменного многоязычия было фактом прогрессивного значения.

Обзор состояния активных причастий в старобелорусском языке можно закончить сообщением, что в белорусской письменности позднейшего периода опять начали возобновляться причастия церковнославянского оформления с формантом -щ- типа беру́щий, блудя́щий, видя́щий, даю́щий, живу́щий. Распространение этой модели и на заимствованные и на исконно белорусские лексемы (ср. дру́жа́а́чи́йсѣ́, квітне́а́чи́йсѣ́, милу́а́чи́йсѣ́, мовя́чи́йсѣ́, пра́внѣ́а́чи́йсѣ́, трима́а́чи́йсѣ́, шлю́бо́а́чи́йсѣ́) явилось результатом той реперковнослави́зации, которой подвергся старобелорусский письменный язык на последней стадии своего существования.

После Люблинской унии 1569 г. Белоруссия подверглась польскому влиянию во всех областях общественной и культурной жизни, что сопровождалось и вытеснением белорусского письменного языка из важнейших сфер его применения. Во второй половине XVII в. старобелорусский литературный язык фактически прекратил свое существование. В истории Белоруссии наступил почти двухсотлетний период бесписьменного

развития белорусского народно-диалектного языка, вследствие чего оказались забытыми те книжно-изобразительные средства, которые закрепились в старобелорусском литературном языке в процессе его имманентного развития, в том числе и рассмотренные причастия.

Своеобразной оказалась судьба этих причастий в новом, или современном белорусском литературном языке. Не являясь продолжением старобелорусского письменного языка, полностью основываясь на народно-диалектной базе, новый белорусский литературный язык на первых порах вовсе не знал активных причастий настоящего времени. Это объясняется еще и тем, что на протяжении всего XIX в. белорусский литературный язык применялся главным образом в поэтических жанрах, которые вообще легко обходятся без причастий. Только в начале XX в. в белорусском литературном языке в связи с появлением в нем публицистического и научного жанров начали распространяться активные причастия настоящего времени. Эти новые для белорусского языка жанры развивались под воздействием русского и польского языков, которым и обязана была активизация причастий в белорусском литературном языке. Употреблялись эти причастия и в дореволюционной художественной литературе. Они отмечаются у Я. Купалы, Я. Коласа, М. Богдановича и других писателей того времени.

Правда, о генезисе причастий в новом белорусском литературном языке недавно высказано было другое мнение. В последнее время у некоторых белорусских языковедов появилось стремление искать старобелорусские письменные традиции в новом белорусском литературном языке. Например, по мнению А. Е. Баханькова, в эпоху возникновения нового белорусского литературного языка в Белоруссии сложились весьма благоприятные условия для восприятия древних письменных традиций. Важным фактором для преемственности было то обстоятельство, что уже в начале XIX в. в Белоруссии насчитывались сотни частных и публичных библиотек, в которых находились тысячи экземпляров редких книг, рукописей и документов. Белорусские писатели XIX в. имели возможность хорошо ознакомиться с древним письменным наследием и потому неизбежно должны были заимствовать оттуда нужные им языковые средства¹¹. На несостоятельность подобных утверждений мы уже указывали раньше¹², и здесь об этом можно было бы вообще не упоминать. Но утверждение о продолжении древних письменных традиций в новом белорусском литературном языке недавно было использовано и для объяснения современных белорусских причастий. Так, В. В. Аниченко с уверенностью говорит о том, что причастия на *-учы* (*-ючы*), *-ачы* (*-ячы*), которые были свойственны многим жанрам и стилям старобелорусского языка, послужили основным источником проникновения этих форм в новый белорусский литературный язык¹³.

Вопрос о преемственности древних письменных традиций уже неоднократно освещался в белорусской научной литературе и обычно на него давался отрицательный ответ. В этой связи достаточно сослаться хотя бы на мнения тех ученых, которые либо сами участвовали в формировании нового белорусского литературного языка, либо были прямыми очевид-

¹¹ А. Н. Баханькоў, Гісторыя працягвання, «Весці Акадэміі навук БССР». Серыя грамадскіх навук, 1971, 3, стр. 136—137.

¹² См.: А. І. Жураўскі, І. І. Крайко, Важнейшыя адрозненні паміж новай і старой беларускай літаратурнай мовай, «Беларускае і славянскае мовазнаўства». Да 75-годдзя акадэміка АН БССР Кандрата Кандратавіча Крапівы, Мінск, 1972, стр. 146—147; А. І. Жураўскі, Народна-дыялектная аснова новай беларускай літаратурнай мовы, «Slovancké spisovné jazyku v dobe obrození», Praha, 1974.

¹³ В. В. Аниченко, Из истории белорусского литературного языка, ИАН ОЛЯ, 1972, 6, стр. 562.

цами этого процесса. Автор первой грамматики белорусского языка Б. Тарашкевич об истоках языковых средств современной ему белорусской литературы писал следующее: «Оставив давно порванные и пришедшие в упадок традиции старославянской белорусщины, язык новой письменности сразу начал вырастать из народного корня. А народное коренье — оно очень богатое»¹⁴. Известный историк русского языка Н. Н. Дурново в 1927 г. следующим образом охарактеризовал новый белорусский литературный язык: «Нынешний белорусский литературный язык возник только в XIX в.; в основе его лежит один из центрально-б.-р. говоров... Ни в какой связи со старым зап.-р. литер. языком XV—XVIII вв. он не стоит»¹⁵. Несколько позже известный исследователь истории Великого Княжества Литовского И. И. Лаппо писал: «Если мы сравним русский язык письменности Великого Княжества Литовского с современным нам белорусским, то уже с первого взгляда, сразу заметим, что перед нами два языка, связь между которыми не поддается установлению. Этого мало. В целом ряде случаев к русскому языку, которым писали в государстве Литвы, едва ли не ближе окажется наш современный русский литературный язык, чем язык белорусский»¹⁶. И. И. Лаппо придерживался взгляда, что и в древности народный белорусский язык не был основой литературного языка, и это, по его мнению, вовсе не дает оснований говорить о преемственности: «Язык белорусский никогда не был языком русской письменности Великого Княжества Литовского. Та литература, которая развивается в настоящее время в Белоруссии, совершенно разрывалась с этим языком, поставив на его место язык живой народный, который она стремится поднять и развить до степени языка литературного, способного выражать все сложные понятия и оттенки мысли, во всех отделах литературы и науки, со всею сложностью философской и политической мысли, исторического и филологического исследования, наук естественных и техники»¹⁷.

Русский язык осознавался как источник причастий в новом белорусском литературном языке всеми белорусскими писателями первых десятилетий нашего столетия, что в значительной мере предопределило дальнейшую судьбу этой глагольной формы. В белорусском литературном движении 20-х годов наметилась тенденция отдаления от русского языка: писателям той поры представлялось, что так белорусский литературный язык может более успешно развиваться и функционировать. Эта тенденция особенно заметно отразилась на формировании словарного состава и научной терминологии. «Вследствие стремления части б.-р. писателей последнего времени, — замечал Н. Н. Дурново, — порвать со всеми традициями и сделать свой литературный язык отличным и от р., и от укр. в б.-р. литер. язык, особенно в язык научной прозы вошло много чужих элементов, не свойственных ни р. литер. языку, ни живым б.-р. говорам»¹⁸.

Лингвистическому остракизму в тот период подверглись активные причастия настоящего времени. Важнейшим аргументом против причастий было утверждение, что они не свойственны живой белорусской речи и по этой причине не имеют права гражданства в литературном употреблении¹⁹.

¹⁴ Б. Тарашкевич, *Беларуская граматыка для школ*, Вільня, 1918, стр. 3.

¹⁵ Н. Н. Дурново, *Введение в историю русского языка*, М., 1969, стр. 29—30.

¹⁶ И. И. Лаппо, *Литовский статут 1588 года*, I — Исследование, ч. 2, Каунас, 1936, стр. 345.

¹⁷ Там же, стр. 350.

¹⁸ Н. Н. Дурново, указ. соч., стр. 29—30.

¹⁹ Кузьма Чорны, *Небеларуская мова ў беларускай літаратуры*, «Узвышша», 1928, 5, стр. 174.

Любопытно заметить, что именно в этот период некоторые деятели белорусской культуры стали рассматривать старобелорусскую письменность как источник пополнения словарного состава современного белорусского литературного языка. По этой причине уже в середине 20-х годов началась работа по подготовке старобелорусского словаря, который, по мнению его создателей, должен был иметь не только научное, но и практическое значение²⁰. В этой обстановке можно было бы ожидать сочувственного отношения и к причастиям, если бы они расценивались тогда как старобелорусская стихия, а не результат влияния русского языка.

В негативном отношении к причастиям в известной мере отразился уровень теоретических основ тогдашнего белорусского языкознания. Внимание сравнительно небольшого коллектива белорусских языковедов в то время было обращено в первую очередь на упорядочение орфографических и грамматических норм литературного языка (долго велась дискуссия даже о выборе графики для белорусского языка), на разработку общественно-политической и научной терминологии, на нормализацию лексического состава литературного языка. Вопросы теоретического и славянского языкознания в то время практически не разрабатывались.

Недостаточной осведомленностью тогдашних языковедов в вопросах теории литературного языка объясняется стремление свести литературный язык к уровню диалектов и не отдалять его от диалектной базы, отказывать ему в праве на собственное внутреннее развитие. Белорусский языковед П. А. Бузук был одним из немногих ученых, кто уже тогда возражал против этих тенденций. Относительно причастий он писал следующее: «Только слабым знакомством с процессом развития литературных языков, которые в известной мере всегда являются искусственными языками, можно объяснить также борьбу против глагольных прилагательных (т. е. причастий. — А. Ж.) действительного залога..., которых, дескать, крестьянские говоры не употребляют»²¹. Он подчеркивал, что некоторое отличие белорусского литературного языка от белорусских диалектов не является его недостатком. Для того чтобы белорусские крестьяне понимали свои газеты, написанные литературным языком, познакомились с новыми научными терминами и политическими понятиями, надо не упрощать язык, не сводить его к уровню местного говора, а надо ликвидировать неграмотность, при этом не только научить крестьян писать и считать, но дать им хоть некоторые знания из политэкономии, истории, природоведения и других наук²².

Отрицательное отношение к активным причастиям продолжалось до середины 30-х годов. Реформой белорусского правописания 1933 г., которой одновременно регламентировалось и формоизменение, допускалось употребление в белорусском литературном языке только шести активных причастий (*існуючы, пануючы, рашаючы, завяршаючы, здавальняючы* и *меншаўістуючы*), если они приобрели социальный смысл как определения общественно-политических явлений. Для всех остальных случаев узаконивалось употребление описательных оборотов: вместо *чытаючы таварыш* — *таварыш, які чытае*; вместо *стаячая дзяўчына* — *дзяўчына, якая стаіць*²³.

²⁰ С. М. Некрашэвіч, *Сучасны стан вывучэння беларускай мовы*, «Працы Акадэмічнай канферэнцыі па рэформе беларускага правапісу», Мінск, 1927, стр. 61—62.

²¹ П. Бузук, «Культура мовы» ў «Узвышшы», «Маладняк», 1929, 5—6, стр. 113.

²² См.: Я. Рамановіч, А. Юрэвіч, П. А. Бузук, Мінск, 1969, стр. 61.

²³ «Правапіс беларускай мовы», Мінск, 1934, стр. 39—40.

Во второй половине 30-х годов резко изменилось отношение к русскому языку, что опять-таки отразилось прежде всего на словарном составе. Молчаливо был снят и запрет с причастий, и они постепенно начали пробивать себе дорогу в литературный язык. Особенно активизировалось употребление причастий в послевоенное время. Одновременно началось и специальное научное изучение этой глагольной формы. М. Г. Булахов первым указал на возможность употребления причастий в сочетаниях с терминологическим значением типа *кіруючы работнік, рашаючы фактар, трасіруючая пуля*, но сдержанно высказался об использовании их в художественной литературе²⁴. Однако несколько позже автор этих строк, изучив употребление причастий в белорусской предвоенной и послевоенной художественной литературе, пришел к заключению, что причастие является категорией, которая развивается и прогрессирует в современном белорусском литературном языке²⁵.

Этот вывод поддерживал и Д. А. Леонченко, изучивший историю причастий в белорусском языке. На большом фактическом материале он показал, что причастия действительного залога настоящего времени под влиянием русского языка стали широко употребляемыми в современном белорусском литературном языке и особенно в газетном стиле, в стиле научных и литературно-критических работ, в переводах с русского языка на белорусский, где необходимо точно передать русский текст. Распространение и закрепление причастий в определенных стилях не противоречит объективному ходу развития белорусского языка. Эти причастия дают возможность более сжато и точно выражать определенную мысль²⁶. Более решительно в защиту причастий выступил Г. Н. Ключов, показавший, что в самом грамматическом строе белорусского языка сохраняются те внутренние причины, которые вызывают активизацию разных типов причастий, не свойственных народно-разговорной речи. По мнению Г. Н. Ключова, причастия обогащают белорусский язык, его грамматическую и стилистическую гибкость и многогранность. Разнообразные формы причастий постепенно и систематически входят в литературную практику белорусского языка. Наиболее интенсивно этот процесс проявляется в научно-технической, общественно-политической и официально-деловой сферах литературного языка, причастные формы также все чаще используются в языке художественных произведений²⁷.

К сожалению, эта позитивная оценка причастий не была принята во внимание авторами белорусской академической описательно-нормативной грамматики, изданной в 1962 г. В грамматике утверждается, что для белорусского литературного языка употребление активных причастий настоящего времени не характерно, хотя они и встречаются в языке художественной литературы, в научных произведениях, в языке газет и журналов²⁸.

Ахроничным отголоском тенденций 20-х годов явилась статья журналиста А. К. Клышко, направленная против причастий и опубликованная в 1964 г. в республиканском литературно-художественном журнале

²⁴ М. Г. Булахав, Аб некаторых пытаннях нармалізацыі і развіцця беларускай літаратурнай мовы, «Працы Інстытута мовазнаўства АН БССР», I, Мінск, 1954, стр. 18—19.

²⁵ См.: «Курс сучаснай беларускай літаратурнай мовы. Марфалогія». Мінск, 1957, стр. 212—213.

²⁶ Д. А. Леончык, З гісторыі форм дзеяспрыметнікаў у беларускай мове, Гомель, 1957, стр. 45.

²⁷ Г. Н. Ключав, Да пытання аб ужыванні форм дзеяспрыметнікаў у сучаснай беларускай літаратурнай мове, «Уч. зап. [Полоцк. гос. пед. ин-та им. Г. Скорины]», II, 1958, стр. 101, 115 и 117.

²⁸ «Грамматика беларускай мовы», I — Марфалогія, Мінск, 1962, стр. 377.

«Полюмя»²⁹. Эниграфом к своей статье автор взял слова известного белорусского писателя Кузьмы Чорного, который на заре своей литературной деятельности вел усиленную борьбу с причастиями: «А я вот из своего языка искореняю такие формы и могу без них высказать белорусским языком, что хочу»³⁰. А. Клышко же поставил цель вообще изгнать причастия из белорусского литературного языка. Его статья представляет собой эклектический свод неточных сведений по истории причастий в старославянском, древнерусском и старобелорусском языках. Смысл статьи сводится к попытке убедить читателя, что белорусский язык достаточно развит и богат разнообразными изобразительными средствами и по этой причине вполне может обходиться без причастий. Правда, автор обходит молчанием вопрос о том, каким образом белорусский язык мог выработать такие средства, будучи в течение почти двух столетий лишь общоодно-разговорным языком неграмотного крестьянства.

Однако нынешняя языковая практика уже не считается с подобными явно устаревшими рекомендациями, рассчитанными на противоставление белорусского языка русскому. В современных научном и публицистическом стилях активные причастия настоящего времени беспрепятственно входят в систему языковых средств, особенно в терминологических сочетаниях типа *ядучая галіна, існуючая практыка, маючая сувязь, падрастаючае пакаленне, працуючая жанчына, раішаючае значэнне, стымулюючая роля, шэфтуючае прадпрыемства* и т. д. Ошибочным оказывается мнение, будто эти причастия не свойственны белорусской художественной литературе. Специальное изучение причастий показывает, что их употребляли и употребляют Я. Колас, М. Лыньков, М. Танк, П. Панченко, П. Пестрак, И. Шамякин, А. Кулаковский, Т. Хадкевич и другие белорусские писатели и поэты³¹.

История нового белорусского литературного языка имеет много общих черт с процессом становления и развития нового украинского литературного языка. Поэтому для белорусского языкознания может быть поучительным отношение к причастиям в украинском литературном языке. В 20 и начале 30-х годов под влиянием тенденциозных установок некоторых националистически настроенных украинских языковедов активные причастия настоящего времени на -чий рассматривались как заимствования из русского языка и заменялись описательными оборотами, а также прилагательными и существительными³². Это особенно отрицательно отражалось на переводах классиков марксизма-ленинизма и на языке публицистической научной литературы, требующей точности и ясности изложения мысли и отличающейся лаконизмом ее передачи. Однако в известной мере под влиянием русского языка активизировалось употребление этой категории слов и в украинском литературном языке. Русский язык при этом также играет роль своеобразного возбудителя, стимулятора потенциальных возможностей, заложенных в структуре украинского языка³³. В современной украинской лингвистической литературе о каких-либо ограничениях по употреблению активных причастий настоящего времени уже ничего не говорится³⁴.

²⁹ А. Клышко, Пра лямант-уючых і «лемантуючых», «Полюмя», 1964, 7.

³⁰ Кузьма Чорны, Збор твораў, 6. Мінск, 1955, стр. 232.

³¹ І. М. Кучук, Аб ужыванні дзеепрыметнікаў ў беларускай мове, «Беларуская мова і мовазнаўства. Міжвузаўскі зборнік», 1, Мінск, 1973, стр. 78—79 и 83.

³² І. К. Білодід, Питання розвитку мови української радянської художньої прози, Київ, 1955, стр. 33—34.

³³ Г. П. Іжакевич, Українсько-російські мовні зв'язки радянського часу, Київ, 1969, стр. 210—211.

³⁴ См.: «Сучасна українська літературна мова. Морфологія», за загальною ред. акад. АН УРСР І. К. Білодіда, Київ, 1969, стр. 408—412.

Н. Г. МИХАЙЛОВСКАЯ

ЛЕКСИЧЕСКАЯ НОРМА В ЕЕ ОТНОШЕНИИ К ДРЕВНЕРУССКОМУ ЛИТЕРАТУРНОМУ ЯЗЫКУ

Вопросы, связанные с исследованием исторической нормы, имеют свои особенности, определяемые качествами и свойствами русского литературного языка разных периодов. Отсюда следует необходимость установления такой периодизации, которая была бы наиболее целесообразной для исследования в указанном аспекте. Самым бесспорным является рубеж между двумя эпохами, каждая из которых охватывает целый ряд столетий, — это эпоха донационального русского языка и эпоха национального русского языка. Что касается более дробного определения хронологических рамок того или иного периода истории русского литературного языка, то в лингвистических и литературоведческих трудах они нередко устанавливаются по-разному, что наглядно проявляется и в отношении границ русского языка древнейшей эпохи. А. И. Ефимов отмечал в донациональном периоде две хронологические ступени: эпоха Киевской Руси и эпоха Московского государства XIV—XVI вв.¹ Сходные границы (с некоторым уточнением в формулировках) устанавливаются А. И. Горшковым: русский литературный язык в эпоху Киевского государства и последующий период феодальной раздробленности (XI — начало XIV в.) и русский литературный язык в эпоху Московского государства (XIV — начало XVII в.)². В исследовании Н. К. Гудзия хронология получает несколько иной аспект: оригинальная литература Киевского периода, областные литературы XIII—XIV вв., развитие областных литератур с конца XIV в. до середины XVI в. и московская литература XVI—XVII вв.³ По-видимому, в основу любой периодизации могут лечь такие факторы, которые исследователь считает необходимыми для избранного им аспекта изучения истории русского литературного языка. Так, выдвигая на первый план соотношение древнерусского (древнеславянского) книжно-письменного (литературного) языка и народного (диалектного), Р. И. Аванесов предлагает следующее деление эпохи: XI в. — первая половина XII в., вторая половина XII в. — XIII в. и XIII в. — XIV в. Данная хронологическая градация основана на все более углубляющемся расхождении книжно-письменного и народно-диалектного языка с учетом жанровых разновидностей, которые разграничены функционально (язык культа, агиографической и поучительной

¹ См.: А. И. Ефимов, История русского литературного языка, М., 1954.

² См.: А. И. Горшков, История русского литературного языка, М., 1969.

³ См.: Н. К. Гудзий, История древней русской литературы, М., 1938. Более общую периодизацию см.: «Хрестоматія давньої української літератури», Київ, 1967 (представляет древнейшие памятники в границах XI — XIV вв.); ср.: «Література Київської Русі та доби феодальної роздробленості (XI—XIV ст.)». В хрестоматії «Wybór tekstów do historii języka rosyjskiego» (Warszawa, 1965) памятники до XV в. включительно объединяются по двум разделам: «Zabytki najstarsze z końcowego okresu wspólnoty językowej wschodniosłowiańskiej (X w. do końca XIII w.)» и «Zabytki z okresu formowania się piśmiennego języka rosyjskiego (od końca XII w. do drugiej poł. XV w.)».

литературы, язык повествовательной литературы, язык светских юридических памятников и др.)⁴.

Наиболее единообразный подход к хронологическим рамкам наблюдается в лексикографической практике, где работа над историческими словарями обычно ограничивает лексический материал данными языка древнерусских памятников XI—XIV вв. В предисловии к I тому «Материалов для Словаря древнерусского языка» И. И. Срезневского говорится, что на заседании Отделения 28 апреля 1866 г. И. И. Срезневским была прочитана записка, из которой «следует, что материалами и источниками для Словаря должны служить, во-первых, памятники русской письменности лишь до XIV века, и во-вторых, памятники до XIV века во всем их объеме»⁵. В настоящее время указанные установки получили дальнейшую разработку при составлении «Словаря древнерусского языка XI—XIV вв.» (Институт русского языка АН СССР). Принимая во внимание генетические связи русского, украинского и белорусского языков и последующее их формирование как языков отдельных народностей, составители Словаря считают возможным определить «верхнюю» грань Словаря XIV веком включительно. «Учитывая все это, а также условность всякой хронологической грани и то обстоятельство, что древнейшие дошедшие до нас списки такого важнейшего памятника Киевской Руси, как летописи, относятся ко времени не ранее конца XIII в., а главным образом к XIV в. и к началу XV в., представляется целесообразным в качестве рубежа принять конец XIV в. и начало XV в. Таким образом, принимается, что словарь древнерусского языка охватывает памятники по XIV в. включительно»⁶.

Словарный состав древнерусского языка выявляется на основании лексических данных, письменных источников. Но насколько эти данные являются исчерпывающими? Не говоря уже о том, что многие источники погибли и до нас не дошли, что некоторые памятники, возможно, еще ждут своего обнаружения и изучения, следует признать, что и те памятники, которыми располагает современная русистика, вероятно, не охватывают словарный состав древнерусского языка во всей его полноте и объеме. Причина заключается главным образом в наличии двух основных языковых сфер: письменной и устной, каждая из которых имела собственную специфику, собственные традиции. Бесписьменная традиция, воплощенная в первую очередь в фольклорных формах, по всей видимости, не могла быть полностью воспринята и отражена в древнейших источниках.

Большую роль здесь сыграли два разных, хотя и взаимосвязанных фактора: 1) общевосточнославянской книжной письменности, усвоенной в Древней Руси на базе христианского кодекса, была органически чужда та система представлений, понятий, наконец, образов, которая основывалась на языческом культе, и которая, несомненно, находила определенное языковое выражение, прежде всего лексическое, в устной традиции. Поэтому само «словесное» воспроизведение понятий, противных и чуждых христианству, могло не всегда получить отображения в памятниках, созданных под непосредственным влиянием религиозно-христианской идеологии; 2) можно предполагать, что «литературный этикет» как языковое (лексическое) воспроизведение типовых ситуаций в письменном

⁴ См.: Р. И. Аванесов, К вопросам периодизации истории русского языка, «Славянское языкознание. VII Международный съезд славистов. Варшава, август, 1973. Доклады советской делегации», М., 1973, стр. 19—20.

⁵ И. И. Срезневский, Материалы для Словаря древнерусского языка по письменным памятникам, СПб., 1893, стр. VII.

⁶ «Словарь древнерусского языка XI—XIV вв. Введение, инструкция, список источников, пробные статьи», М., 1966, стр. 14.

литературном языке значительно отличался от «литературного этикета» устной традиции. Следовательно, могли быть различны и лексические нормы литературного письменного языка и устного.

В то же время реконструкция устной традиции как формы литературного языка древнего периода — по крайней мере на данном этапе изучения — представляется весьма спорной, если не невозможной. Несомненно, что устный литературный язык был связан с живой разговорной речью значительно теснее, чем литературный язык письменности. Но для изучения речи древнерусских людей в их повседневном бытовом общении современный исследователь не располагает сколько-нибудь полными данными. «Прав Б. А. Ларин и другие лингвисты, которые указывают, что живую разговорную речь населения Древней Руси можно, анализируя язык древних памятников, реконструировать только по крупным», — замечает Ф. П. Филин⁷. И. С. Улуханов указывает на наличие в древних памятниках записи речей, «конкретных по содержанию и простых по форме», которые передаются не только репликами, но и посредством диалога⁸. Вероятно, подобные контексты в значительной степени сохраняют устную традицию литературного языка. Наряду с этим имеющиеся тексты эпистолярного жанра, в частности, Новгородские берестяные грамоты, а также записи писцов на полях рукописных книг, являются свидетельствами в первую очередь бытовой речи: их содержание отражало конкретные нужды и потребности, чувства, испытываемые непосредственно в данную минуту.

Тексты не отягощала религиозно-христианская идеология, которая непременно сопутствовала литературному языку книжной письменности. Таким образом, само понятие устной речи применительно к древнерусской эпохе не однородно по содержанию: с одной стороны, оно смыкается с литературной устной традицией, с другой — с разговорной бытовой практикой; устная литературная традиция одновременно отражается и в фольклоре, который, как говорит Ф. П. Филин, в Древней Руси выполнял многие важные функции современной художественной литературы⁹. Но и фольклорные записи, из которых самые ранние относятся к XVII в., лишь отчасти отражают устную литературную традицию. Дело в том, что устная форма фольклора, сохраняя на протяжении веков устойчивую образную систему, должна была претерпеть изменения нормативного порядка и в лексическом, и в грамматическом ярусе. Такое изменение необходимо вытекает из самой устной природы фольклорного произведения, из его ориентации на живого слушателя. Поэтому есть все основания полагать, что одно и то же фольклорное произведение, исполняемое, скажем, в XI в. и в XIV в., имело разные нормативные «инструментовки». При этом необходимо учитывать социальную неоднородность фольклора, его классовые установки. В. П. Адрианова-Перетц писала: «...фольклор в Древней Руси творился в самых разнообразных слоях общества, с разными задачами... Классовая борьба, в ее своеобразных для эпохи феодализма формах, по-разному освещалась и отражалась в устном творчестве в разных социальных слоях»¹⁰. Показательные и исторически достоверные сведения содержатся в древнерусских памятниках, где речь идет о представителях народного искусства, для обозначения которых существовал

⁷ См.: Ф. П. Филин, О свойствах и границах литературного языка, ВЯ, 1975, 6, стр. 10.

⁸ См.: И. С. Улуханов, О языке Древней Руси, М., 1972, стр. 57—59.

⁹ См.: Ф. П. Филин, Об истоках русского литературного языка, ВЯ, 1974, 3, стр. 7.

¹⁰ В. П. Адрианова-Перетц, Древнерусская литература и фольклор, Л., 1974, стр. 13.

целый ряд наименований: *скоморохъ* (*скомрахъ*), *глушьць*, *игрьць*, *игрьникъ* и др. Эти лица занимали разное положение в социальной иерархии древнерусского общества. Наиболее массовым искусством было искусство скоморохов, преследуемое христианской религией, ибо в их деятельности усматривалось отражение языческого культа. Так, в языке КР и КВ слово *скоморохъ* используется при перечислении различных колдовских обрядов, противных религиозному кодексу христианства, ср.: «скарѣдая творя блудникъ(ѣ) съ скотомъ обваникъ матежникъ чародѣи *скомрахъ* узолникъ смывая и члѣмки в птичь граи вѣруа» (КВ, л. 51а, КВ, л. 32 б — *скоморохъ*). В данном случае *скоморохъ* — *скомрахъ* обозначает человека, осуждаемого церковью наравне с колдунами (*обавникъ*, *чародѣи*) и бунтовщиками (*матежникъ*)¹¹. Следовательно, внеязыковая ситуация создавала определенные условия употребления, казалось бы, экспрессивно нейтрального слова; создавался контекст, где экстралингвистические факторы формировали определенную норму его использования. Текст доносит до современного исследователя не только сумму лексических данных, но и отношение автора (писца, переписчика) к отдельному слову, отношение не индивидуально-субъективное, но как бы «освященное» традицией книжной письменности, в чем также проявляются нормативные установки русского языка XI—XIV вв. Памятник представляет собой ту языковую реальность, которой располагает современный исследователь.

Остановиваясь на различии и сходстве литературных языков донационального и национального периодов, Ф. П. Филин отмечает: «Между национальными литературными языками и литературными языками донационального времени, кроме отличий, имеются и существенные черты общности: 1) известная обработанность, стремление к устойчивости, поддержанию традиций (что неизбежно приводило и приводит к обособлению от разговорной речи, в которой процессы диалектного дробления и всякого рода стихийные изменения проходят более интенсивно — это заложено в самой природе непреднамеренной устной речи), к наддиалектному состоянию; 2) функционирование в качестве средства цивилизации, обслуживания государственных и иных нужд общества. Конечно, указанная общность варьируется от языка к языку в зависимости от конкретно-исторических условий. Что касается отличий, то они, по-видимому, сводятся прежде всего к тому, что донациональные литературные языки были достоянием сравнительно узких слоев населения классово расчлененного общества, они не составляли единой системы с устной речью, не обладали всеобъемлющей поливалентностью, более свободно допускали сосуществование на равных правах всякого рода регионализмов»¹². Следовательно, различия между литературными языками разных эпох проходят по параметру отношения общества к языку и по параметру взаимодействия элементов, составляющих языковую систему. В то же время черты общности, отмеченные Ф. П. Филиным, могут рассматриваться как дифференциальные признаки литературных языков двух эпох, если принять во внимание, что и обработанность, и стремление к устойчивости, и обособление от разговорной речи в донациональный и национальный периоды имели разную степень интенсивности. Данные признаки являют собой яркий пример того, как к о л л е к т и в н а я характеристика переходит в характеристику качественную, определяющую языковой статус той или иной эпохи. Одновременно перечисленные признаки — стабиль-

р. ¹¹ Подробнее об употреблении данной группы см.: Н. Г. Михайловская, С. Филиппов, Существительные, обозначающие актера в древнерусском литературном языке, «Лексикология и словообразование древнерусского языка», М., 1966.
¹² Ф. П. Филин, О свойствах и границах литературного языка, стр. 8.

ность, обработанность, взаимодействие с разговорной речью; — представляются весьма существенными для языковой нормы.

Норма не существует вне языковой системы, подчиненной социально-культурным условиям, и вне хронологической отнесенности. Само понятие литературного языка непременно предусматривает норму как организующий фактор использования языковых единиц, ср.: «Термин „норма“ в лингвистике употребляется в двух значениях: во-первых, нормой называют общепринятое употребление, регулярно повторяющееся в речи говорящих (воспроизводимое говорящими); во-вторых, нормой называют предписания, правила, указания к употреблению, зафиксированные учебником, словарем, справочником»¹³. Насколько эти определения приемлемы для древнерусского языка? Первое и второе значения термина «норма» в древнерусский период оказываются тесно взаимосвязанными. Правда, в эпоху XI—XIV вв. не было писаных требований и правил, но были правила неписанные, диктуемые ситуативным «литературным этикетом». Лексическая норма древнерусского языка может быть осмыслена как воспроизведение в текстах регулярно повторяющегося словоупотребления, закрепленного традицией литературного изложения¹⁴.

Норма непременно предполагает наличие в языке таких единиц, которые соотносятся как варианты выражения обозначаемого¹⁵. В своем практическом назначении норма понимается и как выбор единицы, оптимальной с позиций языковых и внеязыковых условий. Следовательно, вариантность выступает как главная и основная категория нормы. Мнение Б. В. Горнунга о том, что «в области лексики вариантность беспредельна»¹⁶, справедливо в том смысле, что обозначение «одного и того же» разными словами обусловлено в значительной степени ситуативно-субъективными факторами, при которых установление идентичной соотносительности слов к обозначаемому возможно лишь на основании данной речевой ситуации — безразлично к письменной или устной форме текста. Наиболее объективное определение вариантных лексических единиц, в древнерусском литературном языке извлекается на основании привлечения разных списков одного памятника, где прослеживаются многочисленные случаи замены одного слова другим. При этом лексические варианты в семантическом отношении далеко не всегда взаимопересекаются.

Так, например, в ЦС I и в ее списке XIII в. обнаруживается вариантность слов, обозначающих видовое и родовое понятия, ср.: «Недовольни бывше оканьнии твои убища о убиени ти повьргоща нечъстивымъ *зѣбремъ* на расхыщение» (ЦС I, л. 111), в списке — *пысомъ*. В этом же памятнике и в его списке XIV в. отмечена вариантность, основанная на метонимическом переносе слов, обозначающих объекты, которые условно можно рассматривать как «содержимое» и «содержащее», ср.: «тѣмъ и притѣкающе къ *рацѣ* ваю исцѣления дары приемлемъ» (ЦС I, л. 111 об.),

¹³ В. А. И ц к о в и ч, Норма и ее кодификация, сб. «Актуальные проблемы культуры речи», М., 1970, стр. 11.

¹⁴ Вопросы нормы древнерусского литературного языка поднимаются в кн. «Geschichte der russischen Literatursprache», Leipzig, 1974. Авторы связывают понятие нормы в первую очередь с функционально-стилевой дифференциацией стилистически маркированных единиц, главным образом, на фонетическом и морфологическом уровнях языка (см. стр. 34—36 и др.).

¹⁵ Ср. высказывание Ф. П. Филиппа: «Проблема нормы возникает в тех случаях, когда в языковой системе имеются варианты средств обозначения одного и того же» (Ф. П. Ф и л и п п, Несколько слов о языковой норме и культуре речи, «Вопросы культуры речи», VII, М., 1966, стр. 18).

¹⁶ Б. В. Г о р н у н г, Ответы на вопросы по норме, «Вопросы культуры речи», VI, М., 1965, стр. 213.

в списке — *мощи*. Вариантность охватывает также нарицательные имена и имена собственные, например: «Лазоръ повелѣ еи на литургии престоати» (СкБГ, л. 22а), в списке конца XV в. собственное имя *Лазоръ* заменяется существительным *поиъ*. В приведенном примере речь идет о перекладывании епископе Лазоре, который, по предположению Н. Н. Воронина, мог быть автором СкБГ¹⁷. Возможно, замена была вызвана тем, что это собственное имя в конце XV в. уже потеряло для читателя свои содержательные и смысловые связи, утратило историческую значимость, не ассоциировалось с описываемыми событиями, являясь для данной речевой ситуации текста СкБГ своеобразным архаизмом.

Здесь мы подходим к одной из самых сложных лексикологических проблем древнерусского литературного языка, к проблеме архаизма. Ведь характеристика «устаревшее» — это суждение об элементах языка с точки зрения его сегодняшнего состояния. Архаичная лексика может быть выявлена и исследована в определенном периоде в сопоставлении с идентичными единицами, которые имеются в предшествующей эпохе¹⁸. Вследствие этого изучение данного пласта лексики в древнерусском языке чрезвычайно затрудняется, так как здесь почти нет объективных критериев для хронологического сравнения слов, имеющих тождественное значение и более или менее общелитературное употребление. Попытки определить некоторые значения слов в языке древнерусских памятников как устаревшие для данной эпохи не представляются вполне бесспорными.

Положение затрудняется и тем, что количественные данные использования слова не могут служить сколько-нибудь надежным обоснованием для причисления его к разряду архаичной лексики: многочисленные случаи служат свидетельством регулярного нормативного употребления, единичные случаи могут объясняться чисто индивидуальными особенностями языка автора (писца, переписчика), которые могут быть отклонениями, а иногда и ошибками в использовании слова. Правда, отчасти можно исходить из того, что язык церковных памятников ориентировался на более древнюю лексику и эта ориентация имела давнюю и жесткую традицию. В языке же светских памятников в относительно большей степени сказывалось живое употребление, поэтому язык подобных текстов в своих списках отражает большее проникновение новых жизнеспособных слов. Наблюдаемые в разных списках летописей и памятников делового языка разночтения, которые можно отнести к архаической лексике, охватывают главным образом слова конкретного значения. Данные лексемы принадлежат к терминологическим группам, имеющим относительно специальное применение. Таковы замены юридических терминов: *вира* — *урокъ*; *правда* — *исправа* и др.¹⁹, терминов, обозначающих родство и семейные отношения: *подружье* — *жена*²⁰. Подобные лексические варианты отражают в первую очередь изменения социально-общественного порядка и по отношению к словарному составу древнерусского языка могут рассматриваться как историзмы.

¹⁷ См.: Н. Н. Воронин, «Анонимное» сказание о Борисе и Глебе, его время, стиль и автор, ТОДРЛ, XIII, М.—Л., 1957, стр. 48—49.

¹⁸ Исследование А. К. Абдульмановой на материале повести «Казанское взятие» строится на методе сопоставления привлеченного материала с данными языка предшествующей (древнерусской) эпохи. См.: А. К. Абдульманова, Архаическая лексика исторической повести XVI века «Казанское взятие» или «Казанский летописец», Уч. зап. [Куйбышевск. гос. пед. ин-та], Кафедра русского языка, 32, 1960.

¹⁹ См.: М. Н. Тихомиров, Исследование о Русской Правде. Происхождение текстов, М.—Л., 1941, стр. 118—119.

²⁰ См.: Ф. П. Филин, Лексика русского литературного языка древнекиевской эпохи (по материалам летописи). ДД, Уч. зап. [ЛГПИ им. А. И. Герцена], 80, 1949, стр. 21—22.

Значительно большие трудности возникают при исследовании слов общей семантики, употребление которых выходит за рамки обозначения конкретной реалии. Таково, например, соотношение между *глаголати* — *молвити*, вариантность которых отмечается в тексте «Повести временных лет», по Лавр. лет. и Радз. лет.: «Начаша же друзии несмыслении глти поиди княже смыслении же глаголаху» (Лавр. лет., л. 73), *молвити* (Радз. лет.). В контексте из Лавр. лет. *глаголати* используется дважды — в форме инфинитива и в форме аориста. Вариантность осуществляется при первом использовании *глаголати*; здесь известную роль могла сыграть противопоставленность субъектов *несмыслении* — *смыслении*. Значение подлежащего (*несмыслении* «глупые, неразумные») требовало такого сказуемого, которое бы не имело «высокости», свойственной *глаголати*. Но дело не только в стилевом различии *глаголати* («высокое») — *молвити* («разговорное»), но и в некоторых оттенках, присущих *молвити*. Обладая значением «говорить», *молвити*, возможно, выражал и тот оттенок, который был свойствен греч. *φωρῆσαι* «шуметь»²¹. Употребление *молвити* в языке летописей Ф. П. Филин связывает с распространенностью данного слова в определенных областях Древней Руси: «Данные летописного языка позволяют предположить, что и в XII в. *молвити* было на юге (может быть, точнее, на юго-западе) более употребительно, чем в других восточнославянских землях»²². Таким образом, *молвити* в своем первоначальном употреблении могло иметь характер диалектного или полудиалектного слова. Приведенные примеры свидетельствуют о том, что вопросы архаической и диалектной лексики в древнерусский период оказываются тесно взаимосвязанными и могут взаимно пересекаться. В то же время, как убедительно показал М. Н. Тихомиров, диалектные особенности памятника далеко не всегда являются доказательством его древнего происхождения²³.

Проблема диалектизма в составе древнерусской лексики имеет свои специфические особенности сравнительно с современным периодом²⁴. Историческая диалектология дает весьма аргументированные доказательства первоначальной диалектной принадлежности слова, но при этом не всегда устанавливается — да, вероятно, в ряде случаев это и невозможно установить, — какое место занимает та или иная лексема в древнерусском литературном языке: является ли она уже общепринятой к моменту своего использования в тексте, сказывается ли в ее употреблении устная литературная традиция, или же она принадлежит к живой разговорной речи. Так, например, в языке древнерусских памятников встречается мена *кѣрста* (*корста*) — *рака* в значении «гробница»: «и вложиша и в *корсту* мороморяну» (Лавр. лет., л. 45), в списке XV в. — *раку*. Относительно слова *кѣрста* Ф. П. Филин замечает: «Термин *корста*, неизвестный в других славянских языках, кроме русского, возможно, был заимствован кривичами у прибалтийских племен... и с севера проник в киевское койне»²⁵. Вместе с тем диалектные явления оказываются так или

²¹ В словарной статье на *молвити* И. И. Срезневский к одному из примеров приводит греческую параллель *φωρῆσαι* (от *φωρῆω* «производить шум, шуметь») (см.: И. И. Срезневский, Материалы..., II, СПб., 1895, столб. 201—202).

²² Ф. П. Филин, Лексика..., стр. 201.

²³ Так, опровергая гипотезу Гетца о раннем происхождении Древнейшей Правды, М. Н. Тихомиров указывает: «Особенность терминологии Древнейшей Правды объясняется не ее архаичностью, а новгородским происхождением памятника» (М. Н. Тихомиров, указ. соч., стр. 54).

²⁴ См. об этом: Ф. П. Филин, Происхождение русского, украинского и белорусского языков. Историко-диалектологический очерк, ч. IV — Диалектные явления в лексике, Л., 1972.

²⁵ Ф. П. Филин, Лексика..., стр. 218.

иначе связанными с факторами не только общелитературного употребления, но и факторами экстралингвистическими. Остановившись на варианности *корста* — *рака*, А. С. Львов пишет: «Обычай ставить умерших в церкви в раке, по всей видимости, пришел на Русь вместе с христианством, потому что до этого труп или сжигали, или хоронили, как сказано о Владимире I, в корсте... Замена же слов *кърста* на *рака*... обусловлена тем, чтобы не смешивать языческие понятия с христианскими»²⁶.

Вариантность лексем шла в направлении не только замены слова, имеющего более узкое территориальное распространение, словом широко употребительным. То же значение «гробница» выражалось и посредством общерусского *гробъ*, которое в свою очередь также могло заменяться, например: «О блаженная убо *гроба* приимши телеси ваю чъстьѣти» (СкБГ), в списках XIV и XVII вв. — *утроба*. Здесь в качестве варианта используется слово *утроба* в переносном значении. По данным «Материалов» И. И. Срезневского существительное *утроба* весьма широко употреблялось в церковно-книжных памятниках, и переводных, и оригинальных. В приведенном примере слово *утроба* толкуется как «чрево». Употребление *утроба* в переносном значении приводит к известному стилистическому сдвигу контекста, риторическое восклицание приобретает еще более подчеркнутую «возвышенность». Вряд ли подобный перенос был общепотребителен в XIV и даже в XV в. Но он оказался весьма перспективным для норм поэтического языка XVIII в., выступая как компонент устойчивых сочетаний. А. Д. Григорьева пишет: «К слову *утроба* обращались преимущественно при обозначении земных недр как места успокоения умерших»²⁷. Следовательно, уже в эпоху древнерусского языка зарождалось такое словоупотребление, которое приобрело массовый характер в определенных стилях литературного языка значительно более позднего периода.

Амплитуда колебаний лексических норм древнерусского литературного языка в значительной степени охватывает ту часть словарного состава, в которую включаются грецизмы. Например: «повинутися *вожежь* вашимъ и покарятися» (ГА, л. 68 б), во всех остальных списках — *игуменомъ*. Существительное *игумень* было общепринятым обозначением настоятеля обители. Что касается слова *вожь*, оно имело более диффузное значение — «руководитель, предводитель» и могло применяться к светским лицам. Данные варианты соотносятся как обозначения видового и родового понятий подобно вариантам *звѣрь* — *нѣсъ* (см. выше). Слово *игумень*, сравнительно с *вожь*, имеет более конкретную семантику, а его использование во всех списках памятника, кроме самого раннего, преследует цель уточнить и конкретизировать содержание контекста. Можно ли на этом основании считать, что употребление *вожь* (параллель ст.-слав. *вождь*) выходит за пределы нормы древнерусского языка? По всей вероятности, нет, ибо славянская лексика нередко играла существенную роль при номинации ряда понятий, связанных с бытом духовных лиц. Так, исследуя грецизмы в составе Киево-Печерского патерника, В. Ф. Дубровина замечает: «В сфере преимущественного употребления грецизмов для наименования таких неотъемлемых от монашеской жизни понятий, как настоятель обители, жилище монахов, можно иногда отметить элементы славянской лексики»²⁸.

²⁶ А. С. Львов, Лексика «Повести временных лет», М., 1975, стр. 35, 37.

²⁷ А. Д. Григорьева, О поэтических штампах конца XVIII — начала XIX в. ВЯ, 1966, 3, стр. 75.

²⁸ См.: В. Ф. Дубровина, К изучению слов греческого происхождения в сочинениях древнерусских авторов, «Памятники русского языка. Вопросы исследования и издания», М., 1974, стр. 71—72.

Изучение грецизмов в древнерусском языке обычно связывается с проблемами перевода. Б. А. Ларин, определяя роль переводов в эпоху XI—XIV вв., писал: «Образуя какие-то новые обороты или новые слова, он (переводчик. — Н. М.) целиком следует основным законам своего языка, воспроизводит основные типы словообразования, исходит из обычных, хорошо известных синтаксических конструкций... И здесь язык переводов представляет объективные данные для того, чтобы судить, какие модели, какие образцы, какие типы склонений, спряжений, словообразований, построений фразы были живыми»²⁹. Аспект исследования, предложенный Б. А. Лариным, открывает широкую перспективу для изучения нормативных требований древнерусского литературного изложения, ибо он предполагает в первую очередь сопоставление языковых единиц переводного текста (в том числе и лексических) с языковыми единицами в оригинале.

Таким образом, рассматриваемая проблема выносится за рамки сугубо переводческих вопросов и становится частью общей проблемы древнерусского нормативного словоупотребления. Здесь интерпретация языковых фактов переводного текста, сам ракурс исследования не предполагает существенных отклонений от изучения лексического материала в языке оригинальных произведений. Принципиально важное положение по данному вопросу высказано Д. С. Лихачевым: «нельзя механически и жестко делить древнерусскую литературу (а с ней вместе и другие древнеславянские литературы) на „оригинальную“ и „переводную“. Это деление годилось бы для литератур нового времени с их устоявшимися текстами. В древнеславянских же литературах дело было сложнее. Так называемая „переводная“ литература была органической частью национальных литератур; она не имела четких границ, отделяющих ее от литературы „оригинальной“. Переводчики и писцы по большей части были соавторами и соредакторами текста. Текст переводных произведений жил так же, как и текст оригинальных»³⁰.

Приведенное положение можно продолжить в плане языка: нельзя механически и жестко делить язык древнерусских оригинальных и переводных источников и рассматривать их вне единого процесса древнерусского литературного словоупотребления. Критерии оценки элементов тех и других произведений должны иметь одни и те же нормативные посылы. Выявленные языковые характеристики переводных памятников в любом случае являются свидетельствами нормы: или как регулярного нормативного использования слова, или как отклонения от него. Язык перевода, как и язык оригинального произведения, может быть связан не только с живым употреблением, но и устной литературной традицией, и с традицией литературного книжного языка.

В то же время какие-то отдельные языковые характеристики перевода, отражающие специфику оригинала, могут быть прослежены и в текстах неперевода древнерусских произведений. Так, например, в тексте ГА неоднократно используется слово *мужь* в сочетании с существительными, обозначающими человека по национальному признаку, ср.: «уби же мужа Егуптянина» (ГА, л. 83а). Для древнерусского языка подобные конструкции в целом не характерны, употребление слова, обозначающего человека по национальному признаку, обычно не требует использования слова *мужь*, например: «Аше ли ключятся украсти русину оть грекъ что или гръчину от руси, достойно есть да возвратить [е] не точю едино нъ

²⁹ Б. А. Л а р и н, Лекции по истории русского литературного языка (X — середина XVIII в.), М., 1975, стр. 33—34.

³⁰ Д. С. Л и х а ч е в, Развитие русской литературы X — XVII веков. Эпохи и стили, Л., 1973, стр. 23.

и цѣну его» (Лавр. лет., договор 945 г.). Под влиянием переводных источников и в древнерусских летописях появляются сочетания аналогичного типа, например: «и [се] *мужь* Корсуняничъ стрѣли именемъ Настась» (Лавр. лет., л. 37 об.).

Греческие переводные памятники могли в некоторых случаях влиять на употребление оборотов, при которых происходила десемантизация отдельных слов. В конструкциях, содержащих глаголы *dicendi* в сочетании с существительным *языкъ*, слово *языкъ* теряет свое лексическое значение, ср.: «просяще ц(ѣ)ря по обычаю *языкомъ* онъ же печалень бы(ѣ) зѣло» (ГА, л. 80 б—в). Подобное же употребление находим в тексте «Поучения Владимира Мономаха»: «оли же буду грѣ(х) створилъ оже на тя шедъ к Чернигову погань(х) дѣля ли того ся каю да то *языкомъ*(м) бра(т)и пожаловахъ» (Лавр. лет., л. 34) (при переводе форма *пожаловахъ* передается как «выразил сожаление», существительное же *языкъ* опускается³¹). По-видимому, подобное словоупотребление не получило в древнерусском языке регулярного нормативного характера в силу своей избыточности.

При исследовании лексических норм древнерусского языка основным аспектом становится аспект у п о т р е б л е н и я слова. «Авторитетность источника» как необходимое условие исследования норм языка любого периода в древнерусскую эпоху подтверждается наличием многочисленных списков памятников, материал которых дает основание и для сравнительного сопоставления лексических вариантов, и для извлечения обобщений, свидетельствующих о регулярности словоупотребления. При этом главное внимание направляется на языковые и внеязыковые условия использования слова, на грамматические модели, взаимосвязанные с употреблением лексемы в данном значении, на дифференциальные признаки членов синонимического ряда и, шире, компонентов отдельной лексико-семантической группы,— словом, на всю ту совокупность факторов, которые определяют выбор лексической единицы и реализацию ее конкретного значения в данном тексте.

ЛИТЕРАТУРА

(Прпнятые в статье сокращения названий)

ГА — В. М. И с т р и ц и, Книги временныя и образыя Георгия мнixa. Хро-ника Георгия Амартола в древнем славяно-русском переводе, I — Текст, Пг., 1920.

КВ — Кормчая Варсонофиевская, XIV в. — ГИМ, Чуд., № 4.

КР — Кормчая Рязанская 1284 г. — ГПБ, Фн I, 1.

Лавр. лет. — Лаврентьевская летопись. Изд.: ПСРЛ, т. I, вып. 1, 2-е изд., Л., 1926.

Радз. лет. — «Радзивилловская или Кенигсбергская летопись», I — Фотома-шиночное воспроизведение рукописи, СПб., 1902.

СкБГ — «Сказание о Борисе и Глебе по Успенскому сборнику XII в.» — по кн.: «Сборник XII века Московского Успенского собора». Выпуск первый. Издан под наблюдением А. А. Шахматова и П. А. Лаврова, М., 1899.

ЦС I — «Церковная служба свв. Борису и Глебу XII в.» (списки XIII, XIV вв.) — по кн.: Д. И. А б р а м о в и ч, Жития святых мучеников Бориса и Глеба и службы им, «Памятники древне-русской литературы», 2, Пг., 1916.

³¹ См.: «Повесть временных лет», Часть первая. Текст и перевод, М.—Л., 1950, стр. 367.

И. Ф. МАЗАНЬКО

ЗАМЕТКИ ОБ ОБРАЗОВАНИИ НАРЕЧИЙ
В ДРЕВНЕРУССКОМ ЯЗЫКЕ

Теория происхождения наречий из падежных и предложно-падежных форм, сохранявшая свое значение более 300 лет (достаточно сказать, что уже в грамматиках XVII в. и, в частности, Мелетия Смотрицкого отражено представление о том, что «наречия... падежи содержат»¹), начинает утрачивать свою убедительность. Появляются работы, в которых ставится под сомнение правомерность понимания всех наречий как класса уже окаменевших или еще не окаменевших косвенных падежей с предлогами и без них. Так, по мнению Д. Н. Шмелева, «обнаружение отдельных существительных, соотносительных с наречиями, не является само по себе доказательством того, что последние представляют собой именно окаменевшие формы этих существительных»². Н. В. Чурмаева считает, что «„восстановление“ имени, от которого предположительно могло возникнуть наречие, является искусственным, не имеющим подтверждения в языке»³. На эволюцию взглядов о природе образования наречий несомненно оказывает влияние постоянно происходящее уточнение представлений о некоторых сторонах структуры языка, в частности о словообразовании, различиях между морфологической и словообразовательной формами слова.

Давно замечено, что морфологическая структура наречий подчас буквально совпадает со строением падежных и предложно-падежных форм. Видимо, это совпадение послужило первым и основным источником появления представления о том, что наречия образуются из синтаксических форм путем их адвербиализации. То специфическое, что относится к собственной природе образования наречий и что скрывается за формальным сходством с падежами, оставалось и, на наш взгляд, остается почти не исследованным. Речь идет об образовании наречий в древнерусском языке по словообразовательным моделям.

В качестве примера назовем одну из них: «приставка + первичное наречие», которая легла в основу наречий *втайнѣ* (*въ + тайнѣ*), *всѣхъ* (*въ + сѣхъ*), *въскорѣ* (*въ + скорѣ*), *внизу* (*въ + низу*), *внизъ* (*въ + низъ*), *впротивѣ* (*въ + противѣ*), *наодесную* (*на + одесную*), *сверху* (*съ + верху*) и др. Например:

«и оубоавса посла тайнѣ» (Ипат. лет., л. 274)

«Рюрик и Стославъ поидоста задѣ ихъ» (Ипат. лет., л. 222 об.)

«и оубоавса посла втайнѣ» (там же, 816, Хлебниковский список)

«Рюрик и Стѣславъ поидоста назадѣ ихъ» (там же, Хлебн. сп.)

¹ Цит. по кн.: Е. М. Федорук-Галкина, Наречие в современном русском языке. М., 1939, стр. 89.

² Д. Н. Шмелев, К вопросу о наречиях на -ъ в русском языке, сб. «Материалы и исследования по истории русского языка», М., 1960, стр. 285.

³ Н. В. Чурмаева, К проблеме образования обстоятельственных наречий (по поводу имен типа *жалости* в древнерусском языке), сб. «Лексикология и лексикография», М., 1972, стр. 153.

«самъ же зади идаше вслѣдъ юго» (Палея, л. 84б, Коломенский сп.)

«и стрелы собравъ на городе или круг забороль» (Пск. 3 лет., 182, Архивский 2-й сп.)

«В се же лѣто в Новгородѣ иде Волховъ въспять» (1 Новг. лет., л. 84 об., Комиссионный сп.)

«Многы наби, изьмаа сѣцаа шкр(ь)сть Велезара» (О полон. Иерус., 1, 160, Волоколамский сп.)

«и штѣкъше главою отъвѣргоша и кромѣ» (Усп. сб., л. 12в)

«самъ же в зади идаше вслѣдъ и?» (там же, 167, Кирилло-Белозерский сп.)

«и стрели собравъ на городе или окроугъ забороль» (там же, л. 143, Строевский сп.)

«В се же лѣто в Новгородѣ иде Волховъ на въспять» (там же, 183—184, Академический сп.)

«Мнози их наби, изьмаа суцаа въ окръсть Воолазара» (Ист. иуд. войны, л. 587 об., Виленский сп.)

«оусекнѣша главѣ с гривною и вѣргоша шкромѣ» (Переясл. лет., 38)

Соотносительность по форме и смыслу бесприставочных и приставочных наречий, типичная в древнерусских памятниках, позволяет сделать вывод о том, что приставочные наречия вторичны по происхождению в том смысле, что образовались на основе предшествующих им первичных наречий путем сложения последних с префиксами.

Предлагаемый взгляд на образование приставочных наречий находится в соответствии с положениями современной деривационной теории. Так, в частности, у приставочных наречий отчетливо выражена производность по форме: «протяженность вторичной морфемной последовательности превышает протяженность базовой»⁴. Вторичное наречие получено в результате присоединения приставки к уже существующему наречию. При этом наречие осталось наречием, так как «присоединение приставки не изменяет принадлежность слова к части речи» и «обычно не меняет значения слова коренным образом»⁵. По нашему мнению, проблему образования древнерусских наречий необходимо решать на основе метода словообразовательного анализа, «на принципе последовательного сопоставления мотивирующей и мотивированной основ»⁶.

Предлагаемый взгляд на происхождение префиксальных наречий совпадает с общеизвестным мнением о способе их образования, суть которого заключается в том, что такие наречия связаны по происхождению с предложно-падежными формами и сохраняют живые связи с ними. А. М. Пешковский замечал, что такие наречия хранят на себе довольно ясные следы своего генезиса, так что «без исторических справок, так сказать, „на слух“, без особого научно-исследовательского аппарата можно определить это происхождение»⁷, т. е. тот падеж и тот предлог, из которых они составлены.

Для своего времени учение о наречии А. М. Пешковского было, по видимому, действительно «самое полное как по кругу вопросов, так и по степени их освещения»⁸. Но уже пролегла целая эпоха между представ-

⁴ Е. С. Кубрякова, Основы морфологического анализа (на материале германских языков), М., 1974, стр. 185.

⁵ Е. А. Земская, Современный русский язык. Словообразование, М., 1973, стр. 33, 35.

⁶ В. В. Лопатин, И. С. Улуханов, Построение раздела «Словообразование», в кн.: «Основы построения описательной грамматики современного русского литературного языка», М., 1966, стр. 56.

⁷ А. М. Пешковский, Русский синтаксис в научном освещении, М., 1956, стр. 100, 143.

⁸ И. К. Марковский, Из истории образования наречий, соотносительных с именами прилагательными, в русском языке, КД, Днепрпетровск, 1964, стр. 2.

лениями А. М. Пешковского об образовании слов и современными представлениями. Однако до сих пор некоторые исследователи не учитывают этого. Заманчивая возможность установить происхождение наречий «на слух» заводит в конце концов эту проблему в тупик. Тем не менее традиционная теория существует как реальность, как общепризнанная концепция, а при разграничении наречий от падежных и предложно-падежных форм даже «рекомендуется рассматривать спорные случаи со стороны имени существительного, а не наречия»⁹. Это вынуждает альтернативную точку зрения обосновать более обстоятельно.

В первую очередь необходимо остановиться на методе морфологического анализа и его роли в формировании традиционной теории образования наречий. Возникновение традиционного взгляда на образование наречий связано с тем периодом представлений о слове и, в частности, о наречии, когда в нем не были разграничены и отделены друг от друга две разные структуры: морфологическая и словообразовательная. Это принципиальное различие, как известно, получило особенно четкую формулировку около двух десятков лет назад¹⁰. Но и после этого морфологический анализ все еще являлся основным методом, с помощью которого строилась теория образования и пополнения состава наречий в древнерусском и нередко в современном русском языке. Он же лежит и в основе теории адвербиализации, и в основе представлений о том, что наречия образуются в результате вымирания имен, окостенения отдельных падежей, выпадения их из парадигмы. В частности, вопрос о происхождении префиксальных наречий решался исключительно на основе результатов их морфологического анализа.

И в настоящее время некоторые исследователи полагают, что из существительного *даль* и предлога *о* образовалось наречие *одаль*, а «форма „поодаль“ образовалась при помощи двух предлогов и существительного „даль“ / „по-о-даль“/»¹¹. Однако в наречии *поодаль* ярко выражено указание на последовательное добавление нового элемента (*по-*) к уже существующему (*одаль*). Учет этой последовательности подсказывает, что наречие *поодаль* образовалось не от существительного *даль*, а от наречия *одаль*.

Отождествление элементов, из которых состоит наречие, с элементами, на базе которых оно создано, буквально пронизывает традиционную концепцию и отражается на всех ее построениях. Так, упомянутое *поодаль* включают в состав отсубстантивных образований, хотя по происхождению его следует отнести к разряду отнаречных образований. *Поодаль* считают полученным в результате адвербиализации предложно-падежной формы, хотя, разумеется, ни о какой адвербиализации не может быть и речи уже потому, что предложно-падежная форма *по-о-даль* просто невозможна (как и морфема *по-о-*). Да и наречие *одаль* образовалось вовсе не от существительного *даль* (как «подсказывает» нам его простое членение), а является всего лишь фонетическим вариантом наречия *одаль*, которое в свою очередь восходит к старому наречию *далъ*¹², так же как наречия *отати*, *осреди*, *омежи*, *опотати*, *оподаль*, *озади*, *опосль*, *окромь*,

⁹ А. С. Дымский, Предложно-падежные сочетания в соотношении с наречиями в современном русском языке. АКД, М., 1972, стр. 20.

¹⁰ Из отечественных работ см.: Н. Д. Арутюнова, Некоторые вопросы образования и морфологии основ слова, ФН, 1958, 1.

¹¹ А. С. Арутюнов и Я. Наречия отсубстантивного образования (от имен существительных в форме винительного падежа с предлогами) в современном русском языке. КД, Алма-Ата, 1968, стр. 252. Аналогичная точка зрения высказана и в работах других исследователей.

¹² Д. Н. Шмелев также обратил внимание на связь в древнерусском языке наречий *едаль* — *дали* и «более старых *дали*...*далъ*» (Д. Н. Шмелев, указ. соч., стр. 282).

о¹³кругъ и, надо полагать, о¹⁴коло восходят к старым наречиям *таи, среди, межи, потаи, подалъ, зади, послѣ, кромѣ, кругъ, коло*. Старую фонетическую форму наречий *одалъ* и *подалъ* и историческую преемственность между ними можно увидеть в следующих примерах:

«а тѣло егѣ лежаще одалѣ, кромѣ «а тѣло егѣ лежаще кромѣ подалѣ
раноу к земли» (Увар. лет., л. 197 об.) тѣлѣги, раноу къ земли» (Никон. лет., 186)

Анализ выводов о происхождении наречий, сделанных по результатам простого деления наречия на составные части, можно было бы продолжить. Но гораздо важнее проанализировать методику этих выводов, так как этимологические справки, полученные на основе морфологического анализа, находятся в противоречии с показаниями письменных памятников. Покажем это на примере наречия *впереди*, которое обычно служит классической иллюстрацией теории происхождения наречий из предложно-падежных конструкций.

В древнерусском языке это наречие имеет и иную форму — *впередѣ*. В форме *впередѣ* оно наблюдается и в настоящее время во многих говорах¹⁵. Чтобы определить, от каких существительных происходят наречия *впереди* и *впередѣ*, пользуются методом реконструкции: наречия осмысляются как предложно-падежные конструкции *впереди* и *впередѣ*, а затем на основе элементов *преди* и *передѣ* восстанавливаются исходные существительные. По законам исторической фонетики известно, что окончание *и* свойственно существительным с основой на *-i, а *ѣ* — с основой на *-o. Следовательно, исходные существительные имели форму **передь* и **передѣ*. Завершив восстановление существительных, исследователи обращаются к письменным памятникам, чтобы найти там искомые предложно-падежные конструкции и на их основе подтвердить вывод о происхождении наречия (заметим, подтвердить вывод, полученный до обращения к письменным памятникам).

В письменных памятниках XV в. они находят почти самый первый случай употребления слова *впередѣ*: «поидоша два в передѣ. Михалко Юрьевичъ. Мрополкъ Ростиславичъ» (Ипат. лет., л. 210). На этом этапе исследователь встречается с серьезным затруднением. Прежде всего он должен определить, является ли *впередѣ* наречием или предложно-падежным сочетанием. Поскольку сделан вывод о том, что наречие образовано из предложно-падежной формы, но нет уверенности в том, стала ли уже эта форма законченным наречием, исследователь находит компромиссное решение: «возможно, в подобном употреблении *въпередѣ* представляло собой еще не наречие, а наречное выражение»¹⁶.

Но такой взгляд носит спорный характер, так как не объяснено, на основе каких показаний было установлено, что *впередѣ* — это предложно-падежная форма и что она находится в стадии окостенения («наречное выражение»). Ведь ни в одной из работ, в которых рассматривается история наречия *впереди* (-ѣ), не приведены примеры «живых», незастивающих предложных форм *впереди* (-ѣ), хотя наречие, по свидетельству исследователей, образуется в письменный период. Если такие предложно-падежные формы есть в памятниках, то почему они прошли мимо внимания исследователей? Если их нет, тогда на основе каких свидетельств приходят к выводу, что *впередѣ* находится в стадии застытия? Даже если и существуют похожие на наречия синтаксические конструкции, то к образованию на-

¹³ См.: «Словарь русских народных говоров», V, Л., 1970, стр. 171.

¹⁴ О. В. Петрушина, Наречия, образованные от имен существительных (По памятникам русского языка XII — XVII вв.), КД, Л., 1953, стр. 252.

речия они не имеют никакого отношения, так как предложно-падежная форма не переходит в наречие, не стремится к адвербиализации и не развивается в этом направлении. Наречия образуются деривационным путем. Рассуждая так, приходим к выводу, что за определением «наречное выражение» не стоит никакой лингвистической реальности.

Подтвердим справедливость этого резюме, рассмотрев вопрос о происхождении наречия *впереди* (-ѣ) со словообразовательной точки зрения. Задача заключается не в том, чтобы найти предложную конструкцию, равную по форме наречию, и объявить ее источником наречия. Необходимо установить, с каким словом находится наречие в отношениях производности, т. е. из основы какого слова и с помощью какой или каких деривационных морфем формируется структура и смысл наречия. Таким словом является наречие *переди* — *передѣ*, например:

«ехалъ еси съ пълку переди встѣхъ» «ѣхалъ еси с полку предѣ встѣхъ» (I Новг. лет., Синод. сп., л. 17) (там же, Комисс. сп., л. 103 об.).

Именно к этому наречию была добавлена приставка *въ* (и не только *въ*), и это добавление дало наречие *впереди* (-ѣ). Вот некоторые примеры, свидетельствующие о том, что наречие *впереди* (-ѣ) связано по происхождению с первичным наречием *переди* (-ѣ), является его историческим приемником:

«о них же переди списахом» (Ипат. лет., 908, Хлебн. сп.)

«ѡ немже впереди списахом» (Ипат. лет., 892, Хлебн. сп.)

«елико имаше мѣданыхъ болванъ,
постави а прѣди» (Алекс. 1 редакции, 82)

«елико имаше мѣданы^х болванъ,
постави а въпрѣди^х [полковъ на
колесницахъ]» (Алекс. 2 редакции, 196).

Наш вывод проверяется и на том предложении, в котором *впереди* (-ѣ) трактовалось «наречным выражением», ср.:

«поидоста впереди два Михалко
Гюргевичъ и Юрополкъ Ростила-
вичъ» (Переясл. лет., 85)

«поидоста преди два. Михалкъ Го-
ургевн. а Юрополкъ Ростислави»
(Радз. лет., л. 217)

«поидоша два в передѣ. Михалко
Юрьевичъ. Юрополкъ Ростиславичъ»
(Ипат. лет., л. 210, печатное издание).

Таким образом, наречие *впереди* (-ѣ) не являлось предложно-падежной формой и не входило в парадигму имени. Полагаем, что только на основе методики изучения образования наречий по результатам морфологического анализа пришли к выводу о том, что оно образовалось путем адвербиализации предложно-падежной формы. Так, членение наречия позволило осмыслить его как предложно-падежную форму *в преди* (-ѣ), т. е. осмыслить одну деривационную морфему в качестве предлога, а другую — в качестве падежной формы. Поскольку *переди* осмыслено местным падежом, это дало возможность конструировать исходное существительное в именительном падеже и вслед за этим возвести «предложно-падежную» форму к существительному, а само наречие — к этой «предложно-падежной» форме. В то же время при проведении этих этимологических операций не были учтены некоторые немаловажные обстоятельства. Например, существование имени **передѣ* (если существовало такое) и образование наречия *впереди* не связаны одной эпохой: наречие образуется

в письменный период¹⁵, а существительное восстановлено из праславянской эпохи. Уместно вспомнить о том, что «соответствия наречия и существительного следует искать в одном временном срезе, а не в разных»¹⁶. Не принято во внимание и то, что в языке существует первичное наречие, представляющее собой своего рода промежуточное звено между именем и вторичным наречием, и что оба наречия связаны между собой по форме и смыслу теснее, чем с именем. Наконец, не учтена (что характерно для традиционной теории) историческая преемственность в процессе словообразования наречий, формирование последующих структурных типов на базе предшествующих. Эта преемственность отражена в памятниках в виде прямого перехода бесприставочных наречий в приставочные, прямых замен одних наречий другими.

Как известно, лексические замены в письменных памятниках представляют собой «не простые исправления или искажения более раннего текста, а языковые факты, в которых отразилась многовековая история русского литературного языка»¹⁷. Это положение имеет принципиальное значение и для правильного осмысления соответствующего явления в области словообразования наречий, где лексические варианты связаны друг с другом не только семантически, но зачастую и словообразовательно (ср.: *переди* и *впереди*, *противъ* и *напротивъ*, *встрѣчу* и *навстрѣчу*). Поэтому для воссоздания исторической картины образования наречий важно постоянно иметь в поле зрения разветвленную сеть словообразовательных вариантов, имеющихся в письменных памятниках, особенно идентичного содержания. Каждый словообразовательный вариант с исторической точки зрения важен, во-первых, тем, что за ним стоит системное изменение, происходившее в словообразовании наречий, во-вторых, что он может свидетельствовать не только о смысловой замене слова, но и одновременно о замене наречия устаревшей словообразовательной модели наречием, принадлежащим модели продуктивной.

Итак, реальной предложно-падежной формы *впереди* {-б} нет. Но на каких же примерах иллюстрировали мысль о происхождении этого наречия из предложной формы? Вывод напрашивается сам: на примере самого наречия, которое осмыслилось как «наречное выражение», как «полу-наречное сочетание». Аналогичным образом «осмысляются» и многие другие наречия, например: *доднесь*, *окромѣ*, *навстрѣчу*, *одалъ* и более новые: *на ходу*, *на бегу*, *на лету*, *без устали*, *без удержу*, *без умолку*, *без просыпу*, *до упаду*, *неведогад*, *навытяжку*, *понаслышке* и др.

Подтвердим этот вывод. Ср.: «предложно-именную конструкцию „о+далъ“ мы находим с глаголами „сидеть“, „стоять“, „воссылать“. Напр.: Бригадирша *сидит одалъ* и чулок вяжет. . . *Одалъ* молодцы *стоят* . . .»¹⁸. Мы видим, что *одалъ*, наречие по происхождению и роли в предложении, автору представляется предложно-именной конструкцией, которая, по его мнению, «в качестве наречия в XIX веке еще встречается в произведениях русских классиков»¹⁹. Итак, предложно-именная конструкция в качестве наречия? Еще пример: «предложно-именное сочетание „на+встречу“ в современном русском литературном языке употребляется в качестве наречия и предлога с дат. пад. Напр.: . . . *Навстречу* шел человек с деревянной посудиною в руках. . . Корабль плывет навстречу солн-

¹⁵ Констатируют, что *впереди* «сравнительно позднего образования... Оно отмечено не раньше конца XV в.» (О. В. Петрушина, указ. соч., стр. 253).

¹⁶ Н. В. Чурмаева, указ. соч., стр. 153.

¹⁷ Ф. П. Филин, Лексика русского литературного языка древнекиевской эпохи (по материалам летописей). ДД, «Уч. зап. ЛГПИ им. А. И. Герцена», 80, 1949, стр. 18.

¹⁸ А. С. Аругян, указ. соч., стр. 251.

¹⁹ Там же.

пу. . .»²⁰. Опять-таки и наречие, и предлог автор называет «предложно-именным сочетанием». Далее он заключает, что «предложно-именная конструкция „на+встречу“ адвербиализовалась в русском языке в первой половине XVII в.»²¹. Однако приходится констатировать, что этот вывод — лишь следствие изучения образования наречия на основе методики морфологического анализа и «на слух». Предложно-именная конструкция существует сама по себе, а наречие *навстрѣчу* (как и *въвстрѣчу*) образуется не из нее, а от старого наречия *въстрѣчу*, ср.:

«бѣдючи межъ Сонтомъ и Олѣскимъ «а тотъ де Олѣимка попался ему
дѣньмъ попали имъ встрѣчу семъ на встрѣчу и учалъ его бить и
донкерские карабли и бѣжали съ ни- грабить» (Мат. Вор., 15)
ми битца» (Вести-Куранты, 87)

«2 часа съ четвертью оныхъ въ «2 часа съ четвертью оныхъ въ не
непрестанномъ огнѣ встрѣчу и съ престанномъ огнѣ (въ) встрѣчу и
обоихъ фланговъ держали» (Пох. со обоихъ фланговъ держали» (Бу-
жури., 17. РС XI—XVII) маги Петра I, 477).

Получив из наречия искомую предложно-падежную форму, исследователи полагают, что они подтвердили вывод о происхождении наречия из этой формы, хотя на самом деле они лишь подтвердили ошибочный в своей основе вывод, ибо последний был получен посредством простого разложения слова на части, без учета того, что результаты морфологического анализа наречия могут не отражать его исходной деривационной структуры. В результате же получается, что посылка равняется умозаключению. Мысль идет по замкнутому кругу: на основе наречия конструируют исходное существительное, из самого наречия получают искомую падежную или предложно-падежную форму и на самом же наречии подтверждают мнение о происхождении из этой формы, т. е. исходят из морфологического анализа и в итоге подтверждают его результаты. Подобный подход делает объектом изучения не столько само наречие как лексико-грамматическую категорию, сколько анализ падежных и предложно-падежных форм, либо действительно существующих, либо искусственно получаемых из самого наречия. Думается, что иногда полезно рассматривать наречие со стороны наречия, а не только «со стороны имени существительного» и прежде всего со стороны его падежных и предложно-падежных форм.

Подтвердим справедливость этих слов на обзоре морфологической классификации наречий древнерусского языка.

Взгляд на наречие преимущественно через призму падежных и предложно-падежных форм определил структуру морфологической классификации. Эта классификация строится на основе тезиса о том, что все наречия восходят к именным или глагольным формам. В своем классическом виде она состоит из пяти разрядов, согласно общераспространенному мнению, что наречия образовались и образуются «от 5 основных частей речи: существительных, прилагательных, числительных, местоимений и глаголов»²².

В качестве исторической справки нелишне заметить, что общие контуры морфологической классификации, по мнению исследователей, были намечены еще в XVII в. Подчеркивают, что «большое значение имеет разработка наречия у Юрия Крижанича. . . он первый дает классификацию

²⁰ Там же, стр. 221.

²¹ Там же, стр. 222—223.

²² Н. А. К а л а м о в а, Переход наречий в служебные части речи: предлоги, союзы, частицы. КД, М., 1952, стр. 86.

„приречек“ по „кончинам“, то есть рассматривает типы наречий с точки зрения их формообразования. Сначала Крижанич приводит наречия, образованные от имен прилагательных...; затем он говорит об образовании наречий от существительных, прилагательных и местоимений в сочетании с предлогами...»²³. О ведущей роли Ю. Крижанича в создании основ морфологической классификации писала Е. М. Галкина-Федорук: «Вообще никаких особых изменений во взглядах на наречие мы ни у кого не встречаем с Мелетия Смотрицкого до Ломоносова, за исключением Юрия Крижанича...», в труде которого («Грамматично изказанје об руском језику, поца Їврка Крижанича», М., 1859) дан «первый опыт анализа грамматической формы наречий»²⁴. На протяжении более 300 лет морфологическая классификация лишь уточнялась в деталях, но ее основополагающие принципы оставались неизменными.

Оперировать морфологической классификацией стало настолько привычным и традиционным, что уже перестали замечать, что она не отражает важнейших способов образования наречий, а в ряде случаев даже противоречит им. Образование наречий изучается в прямом соответствии с морфологической классификацией. Исследователи не выходят за пределы установленных разрядов даже в том случае, если обнаруживают, что наречие образовано вовсе не от пяти частей речи, которые лежат в основе классификации, а от самого наречия. Однако отнаречные образования (вопреки логике вещей и самой классификации) включают в отыменные разряды.

Проиллюстрируем сказанное. Так, утверждают, что «в форме *дондеси* мы видим случай, когда предлог присоединился к уже давно образовавшемуся наречию... То же самое можно сказать и относительно наречия *донинтс*»²⁵. Казалось бы, что отнаречные образования по праву должны занимать место в отнаречном разряде. Однако в работе этого автора (как и у других) они находятся в разряде наречий, образованных от существительных, в частности, от формы родительного падежа. Утверждают, что наречие *опатай* «образовалось из существовавшего тогда в языке наречия „потаи“ и предлога „о“»²⁶, но, несмотря на это, автор включил его в разряд наречий, образованных от существительных, в частности, от формы винительного падежа с предлогом *о*. Имея в виду наречия *накрепко*, *натуго*, *наглуго* и др., замечают, что уже «грамматистам XVIII в. и последующего времени представлялось несомненным образование наречий данного типа от наречий же»²⁷. Согласен с ними и сам автор. Однако эти отнаречные образования, хотя и с оговоркой, что они составляют «отдельную группу», в работе рассматриваются в разряде наречий, образованных от имен прилагательных в форме винительного падежа с предлогом, и не выделены в соответствующий разряд. Это значит, что наречия снова, вопреки своей природе и безусловно вопреки желанию автора, выступают отадъективными образованиями.

Некоторые исследователи согласны с мнением Ф. И. Буслаева и А. А. Потебни о том, что наречия типа *по-русьски*, *по-гречьски*, *по-сло-*

²³ Н. С. Рыжков, Морфология и семантика пменных и местоименных наречий в древнерусских памятниках XI — XIV вв. КД, М., 1952, стр. 22—23.

²⁴ Е. М. Федорук-Галкина, указ. соч., стр. 5—6.

²⁵ А. К. Коневецкий, Наречие в русском языке 1-й половины 17 века (морфологический очерк). КД, Вильнюс, 1958, стр. 50.

²⁶ Н. Н. Светловская, Типы отыменных и отместоименных наречий, засвидетельствованных памятниками русской письменности XV — XVII вв. КД, М., 1955, стр. 114.

²⁷ В. Ю. Франчук, Представочные наречия, образованные от имен прилагательных, в русском литературном языке XVIII в. КД, Харьков — Киев, 1961, стр. 102.

веньскы образовались от наречий типа *русьскы*, *гръчьскы*, *словеньскы*, и категорически утверждают, что «при образовании форм типа „по-русски“ не может быть и речи о процессе адвербиализации», что здесь имеет место «переоформление... на базе уже готового языкового материала»²⁸. Несмотря на такой вывод, исследователи (видимо, под влиянием общераспространенной концепции) продолжают анализировать образование этих наречий в общем потоке образований от падежных форм прилагательных. Безусловно, вопреки их желанию, наречия так и остаются в данном разряде. И по поводу наречия *въ вечерѣ* замечают, что «пожалуй, следовало бы говорить не об образовании наречия *въ вечерѣ* из предложной конструкции „в+местн. пад.“ а, скорее, о слиянии предлога *в* с уже адвербиализовавшейся формой *вечерьѣ*»²⁹. Но и это наречие находится в разряде наречий, образованных от существительных, в частности, от формы местного падежа с предлогом.

Примеры подобных выводов можно было бы продолжить. Но и приведенных достаточно для того, чтобы сделать заключение, что в древнерусском языке не только имеет место, но и типично образование наречий от самих наречий, порождение единиц этого класса деривационным путем, типизированными способами. Но в рамках традиционной морфологической классификации отнаречные образования находятся в отыменных разрядах, а это значит, что наречия, образованные деривационным путем, представлены в облике падежных, предложно-падежных и глагольных форм. Так, признавая, что наречия *доньнѣ* и *доднесь* «образовались путем слияния уже существовавших ранее наречий „нынѣ“ и „днесь“ с предлогом „до“», тем не менее включают их в разряд наречий, образованных от предложно-падежной формы существительного. Автор не замечает того, что противоречит себе, и буквально в том же предложении утверждает, что эти наречия образовались «по закрепленной в русском языке продуктивной словообразовательной модели „до + родительный падеж существительного“»³⁰. Мы видим, как непоследователен автор. С одной стороны, он безусловно признал отнаречное происхождение *доньнѣ* и *доднесь*. А с другой, морфологический анализ и классификация побуждают его сделать иной вывод — что это бывшие предложно-падежные формы, и в результате вместо приставки *до* (деривационной морфемы) автор видит предлог *до* (синтаксический элемент), а поскольку предлог *до* требует формы родительного падежа, то *доньнѣ* и *доднесь* попадают в разряд образований из формы родительного падежа с предлогом *до*; соответственно, *поднесь* включают в разряд образований из формы винительного падежа с предлогом *до*.

Выше говорилось о таких наречиях, которые находятся в именных разрядах, но относительно которых сами исследователи пришли к выводу, что они (наречия) неизменного происхождения. Теперь сделаем обзор самих разрядов, чтобы выяснить, всегда ли соответствует происхождение наречия тому разряду, в который оно включено, и насколько обоснованы критерии включения наречий в тот или иной разряд. Обратим внимание на наречия, о которых прочно утвердилось мнение, что они восходят к предложно-падежным формам. Класс наречий, образованных от предложно-падежных форм существительных, по мнению исследователей, самый многочисленный. Рассмотрим, по праву ли некоторые наречия занимают место в этом разряде.

Часть наречий включена в этот разряд на основе приема конструирования исходного существительного. Мнение о том, что наречия образо-

²⁸ И. К. Марковский, указ. соч., стр. 278, 276.

²⁹ А. К. Коневецкий, указ. соч., стр. 123.

³⁰ Н. Н. Светловская, указ. соч., стр. 85—86.

вались из предложно-падежных форм, нередко заставляет задуматься над вопросом, какое существительное легло в основу наречия. Если же существительных обнаружить не удастся, полагают, что они вымерли в связи с образованием наречий и что от самих существительных сохранились лишь отдельные падежные формы в виде наречий. На основе наречий конструируются исходные существительные. Отделив приставку *по-*, считают, что *посторонь* («рядом, возле, обок») образовано от «существительного * *сторонь/основ* на „*-i“»³¹. Согласно же показаниям письменных памятников, *сторонь* — это наречие, к которому непосредственно восходит *посторонь* (ср.: *одаль* и *поодаль*), например:

«Преставися княгини Ярославля, «Преставися княгиня Ярославля, ...положена бысть, *сторонь сына*» ...положена бысть, *посторонь сына*» (I Новг. лет., Синод. сп., л. 131) (там же, Комисс. сп., л. 167 об.).

Реконструируя наречия, получают существительное **исподь* и делают вывод, что наречия *высподи*, *наисподи* образовались из его предложно-падежных форм³². Согласно же показаниям письменных памятников, оба наречия восходят к первичному наречию *исподи*, ср.:

«налѣзоша исподи цѣлга подѣ трупѣмъ» (Ипат. лет., л. 29 об.)	«налѣзоша наисподи ѣ цѣлга по троупѣмъ» (Радз. лет., л. 41 об.)	«налѣзоша высподи ѣ цѣлга по трупѣмъ» (Переясл. лет., 15).
--	--	---

Наречие *отай* включено в отсубстантивный разряд на основе мнения о том, что это застывшая форма местного³³ или винительного³⁴ падежа вымершего существительного. Это мнение служит одновременно и доказательством, и основанием отнесения наречия к отыменному разряду. Согласно же показаниям письменных памятников, наречия *отай*, *потай*, *втай* восходят к первичному наречию *тай*, ср.:

«Пришедъ же Выше- городу ночь таи. при- зва и Путышю» (Силь- вестровский спи- сок, — Срезневский, 46)	«пришедъ вышегоро- ду ночь отай при- зѣ ва поутышю» (Усп. сб., л. 106-в)	«пришедъ к Вышего- роду ночью, втай призвалъ Путышю» (Четья Миней, — Аб- рамович, 184)
--	--	--

Наречие *насквозь* (-ь) рассматривают как окостеневшую форму предложного³⁵ или винительного³⁶ падежа вымершего существительного. Но это наречие образовалось в письменный период, и констатируют, что в этот период оно «не имело соответствия в виде предложной формы существительного»³⁷. Представляется, что отсутствие предложно-падежной формы в момент образования наречия свидетельствует лишь о том, что ее совсем не существует и что она не могла служить источником наречия. Да и никто из исследователей до сих пор не нашел искомой «предложной формы». И тем не менее место данного наречия (предлога) узаконено в отыменном разряде.

Между тем нет никаких оснований оставлять *насквозь* (-ь) в отсубстантивном разряде, так как это отнаречное образование. От наречия (пред-

³¹ А. К. Коневецкий, указ. соч., стр. 111.

³² О. В. Петрушинина, указ. соч., стр. 260; Н. Н. Светловская, указ. соч., стр. 121.

³³ Н. С. Рыжков, указ. соч., стр. 269.

³⁴ А. К. Коневецкий, указ. соч., стр. 110.

³⁵ О. В. Петрушинина, указ. соч., стр. 269.

³⁶ Н. Н. Светловская, указ. соч., стр. 97.

³⁷ О. В. Петрушинина, указ. соч., стр. 269.

лога) *сквозѣ* (-ѣ) образовано не только *насквозѣ* (-ѣ), но и *въсквозѣ* (-ѣ), ср.:

«копье летѣ сквозѣ оуши коневѣ» (Лавр. лет., л. 16) «копье летѣ въсквозѣ оуши коневѣ» (Типогр. лет., л. 32 об.).

В разряд наречий, образованных из предложно-падежных форм существительных, включаются обычно *съверху*, *наверху*, *поверху*, *сверху*. Согласно же письменным памятникам, все эти наречия восходят к первичному наречию *верху*, ср.:

«покровѣ ѿ каменя и ѿ стрѣлъ быша волѣла кожа, пропинаны врѣхѣ над ними» (О полон. Иерус., 2, 90, Волоколамский сп.) «покровѣ от каменя и от стрѣлъ быша и волуями кожи пропинаны, сверху над ними» (Ист. иуд. войны, л. 662 об.—663, Виленский сп.)

«съ знаменѣе вшедиши и верху воды ходашю» (Сб. Чуд., л. 666) «повелѣваеѣтъ петровѣ поверху водѣ ходити» (Палей, л. 83г)

«алконостѣ лица своѣ въ глубину кладеѣ. сама верху воды. настьдѣтъ» (Мер. прав., л. 32, РС XI—XIV) «сносить алконостѣ. лица на едѣно мѣсто и насадеѣтъ на ни. наверху мора» (Палей, л. 216).

Наречие *въ осень*, полагают, образовано из предлога *въ* и винительного падежа существительного *осень*³⁸. Согласно же показаниям письменных памятников, *въ осень* и *на осень* восходят к первичному наречию *осень*, ср.:

«Томѣ же лѣтѣ, осень, погоре Неревьскѣи коньцѣ» (I Новг. лет., Синод. сп., л. 41 об.) «Того же лѣта погорѣ на осень Неревьскѣи коньцѣ» (там же, Комисс. сп., л. 115 об.) «Того же лѣта в осень погорѣ Неревьскѣи коньцѣ» (там же, 225, Академический сп.)

Сходным образом трактуется происхождение наречия *назаутри*: из формы винительного падежа существительного *заутри* с предлогом *на*³⁹. Согласно же показаниям письменных памятников, оно восходит к наречию *заутри*:

«наоутри же Стополкѣ созва болярѣ. и Кызанѣ» (Лавр. лет., л. 87 об.) «заоутри же созва стополкѣ. бояры и кияне» (Радз. лет., л. 239 об.) «назаутри же Стополкѣ созва бояры и кияне» (Лавр. лет., 259, Академический сп.).

Наречие *въпрѣки* (-ѣ) включено в отсубстантивный разряд ввиду того, что *прѣки* считают существительным в форме винительного падежа, соединившимся с предлогом *въ* (*во*)⁴⁰. Согласно же показаниям письменных памятников, *прѣки* — это наречие, к которому непосредственно восходит *въпрѣки*, ср.:

«абѣе повелѣѣ копати прѣки трубамѣ. и прѣаша воду» (Лавр. лет., л. 37 об.) «абѣе повелѣѣ копати въпрѣки трубамѣ и прѣаша воду» (Переясл. лет., 28).

³⁸ А. К. Коневецкий, указ. соч., стр. 78; Н. Н. Светловская, указ. соч., стр. 110.

³⁹ Н. С. Рыжков, указ. соч., стр. 204.

⁴⁰ Н. С. Рыжков, указ. соч., стр. 192; О. В. Петрушина, указ. соч., стр. 274; А. К. Коневецкий, указ. соч., стр. 137.

Рассмотренные случаи (их можно было бы привести больше) свидетельствуют, что в отсубстантивном разряде в качестве наречий, образованных от предложно-падежных форм существительных, фигурируют наречия, совсем не образованные этим способом.

Примерно такую же картину можно наблюдать и в разряде наречий, образованных от прилагательных. Часть отнаречных образований, находящихся здесь, мы отметили выше. Рассмотрим еще случай.

О происхождении наречий типа *въскортъ*, *въмалѣ*, *въборзѣ* высказано немало предположений. Деление этих наречий на составные части (без учета словообразовательной модели) приводит к тому, что, с одной стороны, как будто налицо факт образования наречий из падежной формы прилагательного и предлога, с другой же стороны, известно, что прилагательные по своей природе не могут сочетаться с предлогом. Решение этой дилеммы находят в теории предварительной субстантивации: прилагательное сначала субстантивировалось, затем соединялось с предлогом, и это образование впоследствии превратилось в наречие.

Эта теория отличается, как видим, громоздкостью теоретических построений, а это свойство иногда не только не повышает, но даже, как заметил в другой связи О. Н. Трубачев, «снижает их убедительность»⁴¹. Причина, вызвавшая необходимость теории предварительной субстантивации, кроется, на наш взгляд, в значительной мере в морфологическом анализе. Разделив наречие, исследователи получили сочетание предлога с прилагательным и затем стремились доказать, каким образом из невозможного по своей природе сочетания образовалось наречие.

Письменные памятники предлагают нам более простое объяснение процесса образования рассматриваемых наречий. Согласно их показаниям, *въскортъ* и *наскортъ*, *въмалѣ* и *намалѣ*, *въборзѣ* и *наборзѣ* словообразовательно соотносятся непосредственно с первичными наречиями *скортъ*, *малѣ*, *борзѣ*, ср.:

«малѣ не изиде из мене дѣша» (Палея, л. 115г)

«вмалѣ не изиде из мене дѣша» (там же, 230, Кирилл.-Белоз. сп.)

«малѣ ублюде богъ от смерти» (I Новг. лет., Синод. сп., л. 106)

«на малѣ ублюде богъ от смерти» (там же, Комисс. сп., л. 149 об.)

«поѣхаша по них борзѣ» (Ипат. лет., 539, Погодинский сп.)

«поѣхаша въборзѣ по ни» (Ипат. лет., л. 192 об.)

«изволиша оубо, да скорѣ в полатоу црвоу внидоу» (Амарт., л. 365б)

«изволиша оубо, да въскортъ в полатоу црвоу внидоу» (Амарт., 518, сп. Ундольского).

В древнерусском языке существовали прилагательные *борзый*, *малый*, *скорый*. Но необходимо учитывать и то, что бесприставочные и приставочные наречия в первую очередь связаны между собой, и что по сравнению с первичными вторичные наречия имеют с прилагательными более отдаленные (опосредованные) связи.

Реальное положение наречий в системе языка должно отразиться и в древнерусском словаре. Наречия целесообразно вывести из словарных статей прилагательных, существительных и иных частей речи и подать самостоятельно, с системой присущих им значений. Это необходимо сделать независимо от того, существует или уже не существует производя-

⁴¹ О. Н. Трубачев, Еще раз мыслю по древу, сб. «Вопросы исторической лексикологии и лексикографии восточнославянских языков. К 80-летию члена-корреспондента АН СССР С. Г. Бархударова», М., 1974, стр. 23.

щее слово. Лексико-грамматическую самостоятельность наречия получают не от предложно-падежных форм и не в результате их адвербиализации, а в ходе словообразовательного акта, на основе соединения наречных деривационных морфем с основами слов самых разнообразных частей речи.

Отнаречные образования находятся и в местоименном разряде. Так, наречие *всѹе* включено сюда лишь на основании мнения о том, что оно будто бы местоименного происхождения, но установить это теперь трудно, так как некоторые наречия местоименного происхождения «окончательно утратили всякую соотносительность с образующими их местоименными основами»⁴². Не показав, какой вид имела «образующая местоименная основа», исследователь все же включил *всѹе* в разряд наречий, образованных от местоимений. Такой ход рассуждений можно объяснить лишь тем, что исследователь находится под влиянием общераспространенного мнения о происхождении всех наречий из падежных и предложно-падежных форм. Поэтому он совершенно проходит мимо показаний письменных памятников о том, что в древнерусском языке старшей поры существует первичное наречие *сѹе* и что оно ближайшим образом связано с синонимичными приставочными формами *всѹе* и *насѹе*, ср.:

«не приимеши га̑ ба̑ своего има на сѹе» (Ряз. кормч., л. 257г, КС XI—XIV)	«не приложиши има̑ га̑ ба̑ твоѹе всоѹе» (Амарт., л. 67в)
---	--

М. Фасмер видит между наречиями *сѹе* и *всѹе* прямую преемственность, указывая, что *всѹе* образовалось «из *вѹ* и *сѹе*»⁴³. Подтвердим его вывод еще раз:

«соѹе же чѹтоуть ма̑» (Опис. Юрьевск. еванг., 58)	«всѹе же чѹтуть ма̑» (Огласит. поуч., л. 69г, КС XI—XIV).
---	---

Мы видим, что традиционная морфологическая классификация наречий древнерусского языка неполна. Пять ее разрядов не отражают важнейших способов образования наречий, а в ряде случаев представляют этот процесс с некоторым искажением. С одной стороны, в классификации совсем не представлен разряд наречий, образованных от самих наречий, а с другой, в отыменные разряды включены наречия, способ образования которых не соответствует данному разряду.

Класс префиксальных наречий велик. Об этом свидетельствуют и показания современных говоров, ср.: *напосле, опосле, попосле, напримерно, повдоль, потемно, втемно, потайно, потайком, всейчас, облиз, взачастую, впоперек, посверху, сповсрх, навокруг, наокруг* и многие другие наречия, которые можно найти в словарях русских народных говоров. Можно заметить, что в говорах распространены не только одноприставочные, но и многоприставочные наречия. Обратим внимание на словообразовательную модель «приставка *во* + наречие», случаи типа *вотуго, ворано, вомамо, воредко* — больше 70 образований. Почти во всех примерах «выступает ослабление качества, обозначаемого производящей основой, т. е. значение приставки *во-* совпадает со значением суффикса *-оват-*»⁴⁴. Такие факты только подтверждают мысль о том, что префиксация наречий в современных говорах имеет глубинные связи с префиксацией наречий в древнерусском языке, что это старый, но постоянно действующий и продуктивный способ пополнения состава наречий.

⁴² Н. Н. Светловская, указ. соч., стр. 286.

⁴³ М. Фасмер, Этимологический словарь русского языка, I, М., 1964, стр. 364.

⁴⁴ Ф. П. Филин, *Вбкрасно, Вбкрасный*, сб. «Русское и славянское языкознание. К 70-летию члена-корреспондента АН СССР Р. И. Аванесова», М., 1972, стр. 269.

Именно данные говоров в наиболее очевидной форме показывают результаты и тенденции деривационного развития категории наречия за прошедшее тысячелетие. Одним из основных результатов этого развития следует признать изменения в способах образования наречий, в частности, переход от бесприставочного способа к приставочному, а основной тенденцией — активизацию и углубление префиксации (в соединении с суффиксацией), ставшей в современном русском языке одним из наиболее продуктивных способов образования наречий. Внутреннее единство и преемственность между древнерусским и современным процессом образования наречий особенно очевидно проявляется в том, что наречия, отмеченные в письменных памятниках XI—XII вв. как бесприставочные, в последующем (в говорах XIX и XX вв.) фиксируются уже осложненными одним или даже двумя префиксами (ср.: *по-с-верху*, *во-по-тай*, *с-по-верх*, *по-в-дале*, *на-су-против*, *на-во-круг* и др.). Данные говоров, таким образом, опровергают представление о наречии как об «окостеневших» или «застывших» формах, которым якобы не свойственно развитие. Совершенно очевидно, что необходимо дополнить не только морфологическую классификацию наречий древнерусского языка, но и современных говоров разрядом наречий, образованных от самих наречий, а поскольку в именные разряды включены наречия неизменного происхождения, целесообразно рассмотреть состав каждого разряда с учетом основных положений современной деривационной теории.

Мы попытались показать, что представление о происхождении наречий из предложно-падежных форм не подтверждается показаниями письменных памятников и что оно основано на результатах морфологического анализа наречий, словообразовательные модели которых имеют внешнее сходство с некоторыми синтаксическими структурами (падежными и предложно-падежными). Ср.: *на встрѣчу*, *въ встрѣчу* (наречная модель «приставка + наречие») и *на встрѣчу* (предложно-падежное сочетание); *торчком*, *боком*, *нашиком*, *пешиком*, *петушком*, *битком*, *залом*, *тайком* — словообразовательная конструкция, совпадающая с формой творительного падежа. Но сходство по форме не должно служить основанием для вывода о том, что наречия якобы образуются из падежных и предложно-падежных форм или что последние превращаются в наречия. За внешним сходством скрыты разные явления.

Без сомнения, выявление словообразовательных моделей, в соответствии с которыми образовывались и образуются наречия, определение состава наречных парадигматических рядов является очередной и актуальной задачей. Только описание системы наречных словообразовательных моделей даст нам критерии для разграничения наречий от падежных и предложно-падежных форм, и, соответственно, рекомендации для унификации орфографии наречий.

ЛИТЕРАТУРА

(приняты в статье сокращения названий)

- Абрамович — Д. И. А б р а м о в и ч, Жития святых мучеников Бориса и Глеба и службы им, «Памятники древне-русской литературы». 2, Пг., 1916.
 Алекс. — В. И с т р и н, Александрия русских хронографов. Исследование и текст, М., 1893.
 Амарт. — В. М. И с т р и н, Книги временныя и образныя Георгия мниха. Хроника Георгия Амартыла в древнем славяно-русском переводе, I — Текст, Пг., 1920.
 Бумаги Петра I — «Письма и бумаги императора Петра Великого», III (1704—1705), СПб., 1893.
 Вести-Куранты — «Вести-Куранты. 1600—1639 гг.», изд. подготовили Н. И. Тарабасова, В. Г. Демьянов, А. И. Сумкина, под ред. С. И. Коткова, М., 1972.

- Ипат. лет.—Ипатьевская летопись. Изд.: ПСРЛ, 2, М., 1962.
- Ист. иуд. войны — Н. А. Меерскай. История иудейской войны Иосифа Флавия в древнерусском переводе, М.—Л., 1958.
- Лавр. лет.—Лаврентьевская летопись. Изд.: ПСРЛ, 1, М., 1962.
- Мат. Вор.—«Материалы для истории Воронежской и соседних губерний. Воронежские акты. Издание Воронежского Губернского Статистического Комитета». Г. Воронеж, 1887.
- Мер. прав.—«Мерило праведное. По рукописи XIV в.», издано под наблюдением и со вступительной статьей акад. М. Н. Тихомирова, М., 1961.
- Ник. лет.—Патриаршая или Никоновская летопись. Изд.: ПСРЛ, X, М., 1965.
- Огласительные поуч.—Огласительные поучения Феодора Студита, св. XIV в., (КС XI—XIV).
- Опис. Юрьевск. еванг.—«Описание Юрьевского евангелия Воскресенской Ново-иерусалимской библиотеки. Труд архимандрита Амфилохия», М., 1867.
- О полон. Иерус.—«La prise de Jérusalem de Joseph le Juif», par V. Istrin, 1—Paris, 1934; 2 — Paris, 1938.
- Пален.—«Пален толковая по списку, сделанному в г. Коломне в 1406 г.», труд учеников Н. С. Тихонравова, 1 — М., 1892; 2 — М., 1896.
- Переясл. лет.—«Летописец Переяславля-Суздальского, составленный в начале XIII в. (между 1214 и 1219 годов)», издан К. М. Оболенским, М., 1851.
- Новг. лет.—«Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов», под ред. и с предисл. А. Н. Насонова, М.—Л., 1950.
- Пох. журн.—«Походный журнал 1705 г.», СПб., 1911.
- Пск. 3 лет.—«Псковские летописи», 2, под ред. А. Н. Насонова, М., 1955.
- Радз. лет.—«Радзивилдовская, или Кенигсбергская летопись», I — Фотомеханическое воспроизведение рукописи, СПб., 1902.
- Ряз. кормч.—«Кормчая Рязанская 1284 г.» (КС XI—XIV).
- Сб. Чуд.—«Сборник Чудова монастыря № 20», XIV в. (КС XI—XIV).
- Срезневский.—«Сказания о святых Борисе и Глебе. Спльвестровский список XIV века». По поручению и на издании императорского Археологического Общества издал И. И. Срезневский, СПб., 1860.
- Типогр. лет.—«Типографская летопись». Изд.: ПСРЛ, 24, Пг., 1921.
- Увар. лет.—«Летописный свод 1518 г. (Уваровская летопись)», Изд.: ПСРЛ, 28, М.—Л., 1963.
- Усп. сб.—«Успенский сборник XII—XIII вв.», издание подготовили О. А. Князевская, В. Г. Демьянов, М. В. Ляпон, под ред. С. И. Коткова, М., 1971.
- КС XI—XIV — Картотека Словаря древнерусского языка XI—XIV веков, фонд Института русского языка АН СССР, Москва.
- КС XI—XVII — Картотека Словаря русского языка XI—XVII веков, фонд Института русского языка АН СССР, Москва.

Р. З. МУРЯСОВ

О СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ЗНАЧЕНИИ И СЕМАНТИЧЕСКОМ МОДЕЛИРОВАНИИ ЧАСТЕЙ РЕЧИ

Ряд основополагающих категорий языка (предметность, процессуальность, признаковость и т. д.) имеют сложное и многоплановое внутреннее строение, конструируемое как однопорядковыми, так и несоизмеримыми или разноплоскостными классами. Помимо признаков, характеризующихся четкой сеткой грамматических отношений, внутри частей речи являются такие слои слов, которые, не обнаруживая высокой степени грамматикализации, выступают нередко в качестве «регуляторов» сферы функционирования грамматических категорий. Эти классы слов получают в разных исследованиях различные названия.

Не все грамматические категории в одинаковой степени подвержены ограничительному воздействию со стороны структурно-семантических разрядов¹. Наиболее чувствительными в этом отношении являются категория числа и категория определенности — неопределенности. Значительное число абстрактных, собирательных и вещественных имен не образует формы мн. числа. Для категории определенности — неопределенности существенно деление существительных на собственные и нарицательные, конкретные и абстрактные, вещественные. Иерархическое расположение структурно-семантических разрядов невозможно, ибо они часто пересекаются. Так, оппозиция «одушевленность — неодушевленность» перекрещивается в другой плоскости с оппозицией «собственность — нарицательность». Дихотомия «одушевленность — неодушевленность» не охватывает весь класс предметности. Она распространяется только на одну ее часть, а именно на предметную часть в узком смысле слова. Отнесение к неодушевленности всех разрядов существительных, кроме одушевленных, с семантической точки зрения представляется неправомерным. Абстрактные имена невозможно безоговорочно отнести в разряд неодушевленных. Даже, наоборот, большинству абстрактных имен свойствен «антропоцентризм»², т. е. они характеризуют человека с точки зрения различных видов его деятельности, разнообразных внутренних свойств, склонностей, черт характера и взаимоотношения с другими людьми и т. д. Абстрактные существительные типа нем. *Dummheit*, *Klugheit*, *Leiden-schaft*, *Liebe*, *Haß*, *Freundschaft*, *Würde*, *Koketterie* и т. д. являются косвенными выразителями одушевленности³. Поэтому оппозицию «одушев-

¹ Термин «структурно-семантический разряд» в советской германистике был предложен О. И. Москальской. См.: О. И. Москальская, Структурно-семантические разряды слов в составе части речи, сб. «Труды 3-й конференции по германистике», М., 1962.

² V. Skalička, Wortschatz und Typologie, «Asian and African studies», Bratislava, 1965, 1.

³ См. обзор: Е. В. Гулыга, Е. И. Шендельс, Грамматико-лексические поля в современном немецком языке, М., 1968, стр. 139.

ленность — неодушевленность» следовало бы локализовать только в рамках конкретных существительных.

Возможны и другие виды внутреннего семантического членения частей речи. Выделение таких классов, как абстрактность, одушевленность и т. д., нельзя назвать чисто семантическим моделированием, так как они обнаруживают себя в грамматическом строе языка. Семантическое моделирование частей речи менее четко и в значительной степени зависит от теоретической концепции и целей исследователя. В этой связи достаточно вспомнить опыт выделения семантических полей в разных лингвистических направлениях.

Наиболее эффективным приемом внутренней семантической структуры частей речи является словообразовательное моделирование. Поскольку в самом понятии модели заложена идея формулы, схемы, аналога, она представляет собой структурную единицу языка, формальный прием объединения слов с общим словообразовательным элементом в единый, относительно обозримый класс. Кроме того, список словообразовательных элементов, несмотря на некоторые неточности и колебания в номенклатуре, носит относительно закрытый характер. Те классы слов, которые выделяются на основе лингвистического значения словообразовательных моделей, мы будем называть деривационно-семантическими категориями, или словообразовательными полями. Между структурно-семантическими разрядами и словообразовательными полями существует тесная связь, и нередко они перекрещиваются. Например, ядро структурно-семантического разряда одушевленности составляют названия деятеля (лица), образующие одну из наиболее богатых словообразовательных средствами деривационных категорий, но нет специализированных суффиксальных средств выражения одушевленных существ — не-лиц. Одни структурно-семантические разряды, помимо своих грамматических особенностей, обладают достаточно четкой деривационной конфигурацией, в то время как для других словообразовательные форманты образуют периферию средств выражения (ср. категорию абстрактности с богатым набором словообразовательных средств и вещественность, для которой словообразование не является доминирующим средством выражения). Несмотря на указанную взаимосвязь между структурно-семантическими разрядами и деривационными категориями, между ними существует принципиальное различие. Оно заключается прежде всего в формах их выражения, обнаружения и в их разнонаправленной языковой сущности. Деривационные категории являются независимо от их отношения к грамматическим категориям. Они выступают как бы «усилителями» структурной четкости структурно-семантических разрядов. Структурно-семантические разряды являются в сущности семантическими классами с теми или иными грамматическими особенностями. Деривационные категории выявляются как результат функционирования словообразовательных моделей. В связи с этим необходимо подробнее остановиться на понятии «значение» в словообразовании. Если под моделью понимать формулу структурных и семантических отношений между производящей и производной основами, своего рода «программу» создания или представления слова *in statu formandi*, то в качестве реально осознанных компонентов модели выступают слова конкретной части речи и конкретный аффикс. Закономерная повторяемость структурных и семантических отношений между производными и производящими основами приводит к их обобщению, т. е. к представлению этих отношений в виде схем, моделей в отвлечении от их конкретного лексического наполнения. Словообразовательная модель, будучи стабильной структурой, в этом смысле напоминает грамматическую оппозицию, которая существует в мышлении говорящих (хотя и неосознанно, в виде динамиче-

ских стереотипов) и реализуется в процессе речи, где оппозиции начинают реально функционировать⁴. Безусловно, словообразовательный аффикс не обладает каким-либо самостоятельным лексическим значением, соотносимым с конкретным денотатом⁵. По мнению некоторых языковедов, аффикс сам по себе не имеет никакого лексикологического значения⁶. Более осторожно подходит к проблеме аффиксального значения Г. Марчанд. Он пишет: «Суффикс имеет семантическую значимость, но не встречается как независимая речевая единица»⁷. Значение суффиксов может быть абстрагировано от слов, образованных с их помощью, поэтому оправданным представляется определение значения суффикса как «серийное». — «Gruppenbedeutung»⁸ или «Klassenbedeutung»⁹. Отрицание плана содержания суффикса наталкивается на два серьезных противоречия. Во-первых, отрицание семантики суффикса привело бы к отрицанию морфемности суффикса. Как известно, морфема в своем классическом понимании является минимальной значимой единицей, что в современном языкознании в принципе не оспаривается. Во-вторых, если суффикс не обладает своим собственным значением, то возникает естественный вопрос: откуда производное слово получает новое синтезированное значение? Утверждение о том, что суффикс имеет значение только в составе слова, неубедительно также потому, что для вхождения в состав того или иного слова суффикс должен иметь какое-то собственное значение, в противном случае он бы не вошел в соединение с данной первичной основой. По законам «внутренней валентности»¹⁰ между первичной основой и аффиксом существуют взаимные «селекционные» отношения. Дело, по-видимому, не в том, что словообразовательный аффикс в отрыве от производящей основы лишен значения, а в неудовлетворительном определении сущности словообразовательного значения¹¹.

Переключение одной части речи в другую представляет собой сложный процесс перекомпоновки элементов лексической и грамматической семантики. Какие категориальные и частные семы появятся в семантической структуре производного и каковы будут их взаимоотношения, их иерархия, зависит от характера части речи производящей основы, от того, в какой структурно-семантический разряд в рамках части речи производящая основа входит, от отнесенности слова к тому или иному семантическому полю и т. д.

Поскольку производное представляет собой вторичную основу или вторичное наименование, сущность такого знака заключается в установлении его отношения к другому или другим знакам. Характер отношений между производящими и производными невозможно определить без изуче-

⁴ Е. И. Шендельс, Многозначность и синонимия в грамматике, М., 1970, стр. 5.

⁵ См. о типах словообразовательных значений: Е. С. Кубрякова, Что такое словообразование, М., 1965; Р. З. Мuryсов, К понятиям «модель» и «значение» в словообразовании, «Вопросы романо-германской филологии. Сборник научных трудов в честь профессора М. Д. Степановой», М., 1975.

⁶ См., например: А. Бартошевич, К определению системы словообразования, ВЯ, 1972, 2; А. В. Лемов, К вопросу омонимии суффиксов в русском языке на материале суффикса (-к)а, сб. «Вопросы металингвистики», М., 1973.

⁷ H. Marchand, The categories and types of present-day English word-formation, «Readings in modern English lexicology», London, 1969, стр. 11.

⁸ M. Dokulil, Zur Frage der Stellung der Wortbildung im Sprachsystem, SaS, 29, 1968, стр. 13.

⁹ W. Fleischer, Wortbildung der deutschen Gegenwartssprache, Leipzig, 1974, стр. 37.

¹⁰ М. Д. Степанова, О «внутренней» и «внешней» валентности слова, «И. Яз. в шк.», 1967, 3.

¹¹ Р. З. Гинзбург, К вопросу о типологии значений, сб. «Всесоюзная научная конференция по теоретическим вопросам языкознания», М., 1974.

ния взаимоотношений между производящей основой и дериватором, так как производное представляет собой синтез этих двух компонентов. Отношение дериватора к первичной основе определяется некоторыми лингвистами как модифицирующее¹². Противоположная точка зрения на взаимоотношения между производящей основой и суффиксом высказана Е. Куряловичем. Он пишет: «Основа производного слова часто модифицирует значение аффикса. Основа является тогда семантическим контекстом аффикса»¹³. Г.-М. Гаугер называет модифицирующими все те суффиксы, которые переводят производящие основы в другой десигнативный класс. Суффикс же, не меняющий десигнативного значения производящей основы, он называет квалифицирующим¹⁴. Модифицирующими называются в русском языке, например, суффиксы с уменьшительно-ласкательным значением, суффиксы, образующие существительные со значением лиц женского пола¹⁵. Следует, по-видимому, выделить три вида отношений между дериватором и производящей основой: 1) классифицирующее отношение дериватора к первичной основе, 2) классификационно-модифицирующее отношение дериватора к первичной основе и 3) квалифицирующее или квалифицирующее отношение первичной основы к дериватору. Тем самым мы подходим к рабочему определению словообразовательного значения. Если исходить из понимания лексического значения как отношения, а грамматического значения как отношения между отношениями¹⁶, то словообразовательное значение можно было бы определить как классификационно-модифицирующее и квалифицирующее взаимоотношения между производящей основой и дериватором. Суффикс может выполнять как межкатегориальную, так и внутрикатегориальную классифицирующую функцию. Межкатегориальная классификация производных характерна для суффиксов, обладающих транспонирующей потенцией, т. е. способностью переключать производящую основу в другую часть речи, например, нем. *lehren* — *Lehrer*. Внутрикатегориальная классификация предполагает тождество семы высшей степени обобщения как семантического основания части речи и переключение производящей основы из одного деривационно-семантического поля в другое, например, *Tisch* — *Tischler*. Суффикс выполняет, таким образом, классифицирующую функцию как на уровне части речи, так и в смысле отнесения соответствующих производных к более узким семантическим категориям в рамках данной части речи. Диапазон значений разных суффиксов настолько широк, что некоторые суффиксы исчерпывают свое значение транспонирующей функцией, т. е. функцией переключения слова из одной части речи в другую. Такой обобщенный характер значения отдельных суффиксов обуславливает их платкий уровневый статус. Например, суффикс инфинитивной формы глагола в немецком языке *-en*, с одной стороны, служит грамматическим показателем инфинитива (ср. *lesen*), а, с другой стороны, как суффикс для образования глаголов от существительных и прилагательных (ср. *Land* — *landen*, *warm* — *wärmen*). А. А. Реформатский называет подобные морфе-

¹² К. N y r o p, Grammaire historique de la langue française, III, Kopenhagen, 1908, стр. 36; J. D u b o i s, Étude sur la dérivation suffixale en français moderne et contemporain, Paris, 1962, стр. 5.

¹³ Е. Курялович, Заметки о значении слова, «Очерки по лингвистике», М., 1962, стр. 244.

¹⁴ H.-M. G a u g e r, Determinatum und Determinans im abgeleiteten Wort?, «Wortbildung, Syntax und Morphologie. Festschrift zum 60. Geburtstag von Hans Marchand», The Hague — Paris, 1963, стр. 94.

¹⁵ «Грамматика современного русского литературного языка», М., 1970.

¹⁶ А. С. Чикобава, О философских вопросах языкознания, ИАН ОЛЯ, 1974, 4, стр. 316.

мы в русском языке суффикс-флексиями¹⁷. Высокопродуктивный суффикс прилагательных *-ig* в современном немецком языке квалифицируется германистами как наиболее обобщенный признак прилагательного как части речи¹⁸. Другие суффиксы обладают относительно конкретной семантикой. Идеальным случаем конкретизации значения суффиксов является положение, когда производный ряд может быть с ними объединен в рамках гиперонима¹⁹ или архилексемы²⁰. Таковым можно считать, например, ряд производных с *-он* в русском и других языках, обозначающий различные виды материалов, изготовленных из синтетических волокон: *нейлон*, *дедерон*, *поролон*, *илон* и т. д. На гиперонимическом уровне находится также ряд производных с суффиксом *-ianer* в немецком языке с родовым значением «последователь того или иного учения»: *Hegeelianer*, *Kantianer* и т. п. Конкретизация значения суффикса до гиперонимического уровня или до уровня родового обозначения лексико-семантических групп²¹ приводит иногда к его полной лексикализации, т. е. к употреблению его как самостоятельного слова. Интересное наблюдение в этой связи приводит Р. А. Будагов: «Романский суффикс *-ade* (*orangeade* — «апельсиновый напиток», *citronnade* — «лимонный напиток») превратился в американском варианте английского языка в самостоятельное слово. У продавцов спрашивают: „Have you some ade?“ — «Есть ли у Вас какой-нибудь прохладительный напиток?»²². Ср. также суффиксы групп химических соединений, веществ, минералов и т. п.: *Bromid*, *Chlorid*, *Alexandrit*, *Sulfat*, *Aspirin* и т. д. «Словарь современного немецкого языка» дает суффикс *-ismus* как самостоятельное слово в виде словарной статьи: *Ismus*, der; *Ismen*, lat. spött., bloße Theorie, theoretisches Gedankengebäude...»²³. Между этими двумя полюсами — категориальной семой на уровне части речи и семой на гиперонимическом уровне — располагаются все классы производных.

Неправомерным представляется отрицание многозначности суффиксов и на этом основании отрицание таких значений последних, которые являются более узкими, чем категориальное значение части речи. Так, И. Г. Милославский пишет, что русский суффикс *-тель* не имеет значения лица, так как в русском языке существуют слова с тем же суффиксом со значением не-лица. Поэтому суффиксу *-тель* может быть приписано лишь значение предметности. В противоположность суффиксу *-тель* суффикс *-ш(а)*, помимо категориального значения предметности, имеет, по мнению И. Г. Милославского, также конкретное значение — лица²⁴. Многозначность словообразовательных морфем не может служить доказательством отсутствия у них более узких значений, а подтверждает лишь положение о том, что полисемия — одно из универсальных свойств значимых языковых единиц.

Большинству суффиксов присуща классифицирующая функция. Модифицирующих суффиксов относительно мало.

¹⁷ А. А. Реформатский, Введение в языковедение, М., 1967, стр. 265.

¹⁸ М. Д. Степанова, Словообразование современного немецкого языка, М., 1953, стр. 237.

¹⁹ А. J. Greimas, Sémantique structurale. Recherche de méthode, Paris, 1966, стр. 23.

²⁰ E. Coseriu, Lexikalische Solidaritäten, «Poetica. Zeitschrift für Sprach- und Literaturwissenschaft», I, 3, München, 1967, стр. 299.

²¹ Ф. П. Филин, О лексико-семантических группах слов, сб. «Языковедские исследования в честь академика Стефана Младенова», София, 1957.

²² Р. А. Будагов, Введение в науку о языке, М., 1965, стр. 232.

²³ «Wörterbuch der deutschen Gegenwartssprache», hrsg. von R. Klappenbach und W. Steinitz, 3, Berlin, 1970.

²⁴ И. Г. Милославский, План содержания у русских суффиксов, «Вестник МГУ», 1974, 4, стр. 39, 40.

Квалификативная функция производящих основ по отношению к дериватору заключается в том, что производящие основы конкретизируют, уточняют обобщенные семы словообразовательных полей. В функциональном плане производящие основы можно было бы сравнить с атрибутивной функцией прилагательного. Они как бы отвечают на вопрос «что за...?». Суффикс сам по себе сигнализирует об отнесенности производного к тому или иному словообразовательному полю, производящая же основа указывает на признак²⁵. Данное определение словообразовательного значения опирается на синтагматическую природу производных слов. Однако следует иметь в виду, что, как бы мы ни старались дать явлению исчерпывающее определение, мы должны учитывать его условный и относительный характер.

Части речи обладают определенной «предрасположенностью» к переходу в то или иное словообразовательное поле. Прилагательные обычно поставляют лексику в поле качественных (абстрактных) имен, но они не входят в поле имен деятеля, глагол активно пополняет поля имен действия и имен деятеля.

Переключение слова одной части речи в другую часть речи вызывает существенную перестройку всей его смысловой структуры. Производное слово «вбирает» в себя семы производящей основы, «перерабатывая» и синтезируя их, но не повторяя смысловой структуры производящей основы. Транспозиция слова в другую часть речи начинается с изменения или замены категориальной семы — семы высшей ступени обобщенности, т. е. семантического «стержня» части речи. Категориальная сема производящей основы перемещается в семантической структуре производного с высшей ступени семной иерархии на более низкую ступень. Этот основной семантический сдвиг влечет за собой дальнейшую перестройку звеньев иерархии сем. Одни семы производящей основы сохраняются в семантической структуре производного в модифицированном виде, другие семы совсем затухают. Например, глаголы делятся на структурно-семантические разряды предельности — неопределенности, переходности — непереходности и т. д. Оппозиция «переходность — непереходность» представлена в немецком языке в отраженном виде в производных с *-er* и *-ling*, ср. *Lehrer* — *Lehrling*, *Prüfer* — *Prüfling*, *Finder* — *Findling* и т. п. Оппозиция «предельность — неопределенность» теряет свою значимость в соответствующих производных с указанными суффиксами. Категориальная сема довлеет над семантической структурой производного слова. Возникают совершенно новые классы, которые не были и не могли быть представлены в классе производящих основ. Такими классами являются, например, *nomina qualitatis*, *nomina actionis*, *nomina agentis* и т. д. Новая категориальная сема сообщает слову новые тенденции развития его семантической структуры (ср. тенденцию к конкретному опредмечиванию имен действия в немецком языке). Классические дефиниции *nomina abstracta* и *nomina actionis* содержат указание на многослойный характер их семантики — это одновременно и имя, и действие (resp. и качество). Термин *nomina abstracta* нельзя признать удачным применительно к словообразованию, так как в структурно-семантический разряд абстрактных имен включаются в грамматике как имена действия, так и собственно абстрактные деадъективные имена. Из взаимодействия сем «предметность» и «признаковость» получается словообразовательное поле *nomina qualitatis*, т. е. имен качества. Поле *nomina actionis* является результатом взаимодействия двух категориальных сем: семы «предметность» и семы «процессуаль-

²⁵ См. определение терминов «квалификативное значение», «квалификативное отношение» у О. С. Ахмановой («Словарь лингвистических терминов», М., 1969).

ность». В производном имени эти две семы занимают неравноправное положение, так как ведущей семой существительных является «предметность», а сема «процессуальность» выступает в качестве подчиненного признака предметности. По образному выражению В. В. Виноградова, «опредмечивание действия парализует грамматические свойства глагола»²⁶. Предметность в свою очередь осложняется значением процесса, действия. Словообразовательные поля, возникшие как результат взаимодействия сем на уровне частей речи, в семантическом плане очень близки категориальной семантике производящих основ, что находит свое отражение также в их «двухслойной» семантике. «Трехслойная» семантика характерна для производных поля *nomina agentis*. На сему «предметность» указывает *posse*, на семы «лицо» и «действие» указывает *agens-причастная* форма латинского глагола. В данном случае категориальная сема «действие» занимает 3-ю ступень сверху в иерархии сем. Семантическая сложность, многослойность словообразовательного поля выявляется в трансформационных интерпретациях (ср. *Schönheit* → *das Schönsein*; *Bewegung* → *das Bewegen*). В трансформациях двухслойных категорий ведущую роль в семантической интерпретации производного играет производящая основа. Более сложная картина взаимоотношений наблюдается в трехслойных в семантическом отношении полях. Трансформы таких производных нуждаются в дополнительных компонентах, эксплицирующих их семантику (ср. *Sprecher* → *jemand, der spricht*). В трехслойных деривационных категориях идиоматизация семантики компонентов производных интенсивнее и чаще [слово *Bäcker* дает в немецком языке следующую трансформу «*jemand, der (wer) gewerblich Backwaren herstellt*»]. На наш взгляд, такие значения, как «носитель профессии» и т. д., должны быть отнесены не к лексическим значениям, а к разряду словообразовательных значений, так как подобного рода серийные значения возникают в результате словообразовательного акта. Глаголы сами по себе прямо не указывают на профессиональный характер обозначенных ими видов деятельности, ср. нем. *tragen* и *Träger*, *lehren* и *Lehrer* и нек. др.

Семантическое усложнение словообразовательных категорий происходит также в результате семантической производности слов. В классе имен существительных ощущается индуцирующая сила семы «предметность». Индуцирующее влияние данной семы привело к появлению нового словообразовательного поля *nomina acti* или *nomina resultatis*, в семантическом отношении производного от поля *nomina actionis*. Та же тенденция, правда, значительно слабее, наблюдается в классе *nomina qualitatis* (ср. *Schönheit* «красота» с двойным семантическим слоем и *eine Schönheit* «красавица» с тройным семантическим слоем). Постепенный и достаточно регулярный переход имен действия в одном из лексико-семантических вариантов (ЛСВ) в поле *nomina acti* сопровождается одновременным усложнением их семантической структуры.

Семантическая близость словообразовательных полей категориальной семантике производных основ подтверждается коэффициентом деривационной адекватности, под которым мы понимаем количественное выражение соотношенности ЛСВ производных с ЛСВ производящих основ. При этом вовсе не предполагается, что между ЛСВ производных и производящих основ существует одно-однозначное количественное соответствие. Нередко один ЛСВ производящей основы может служить базой как для образования нескольких слов с разными суффиксами, так и для создания нескольких ЛСВ одного производного и, наоборот, один ЛСВ производного конденсирует в себе ряд ЛСВ производящей основы (ср. нем. *bedür-*

²⁶ В. В. Виноградов, Русский язык, М.—Л., 1947, стр. 118.

fen — *Bedürfnis*, *begraben* — *Begräbnis*, *beimengen* — *Beimengung*, *aushelfen* — *Aushilfe* и *begründen* — *Begründung*, *behüten* — *Behütung* и мн. др.).

Семантическая многослойность словообразовательных полей может служить одним из ограничительных факторов функционирования моделей. Чем ближе семантика словообразовательного поля категориальной семантике производящих основ, тем свободнее функционирует словообразовательная модель, тем меньше запретов она испытывает со стороны лексики. Высший коэффициент адекватности характерен для производных с суффиксом *-ung* — 0,8. Многослойность словообразовательного поля сопровождается резким падением коэффициента адекватности. Так, коэффициент адекватности производных с *-er* составляет 0,44. Минимальным коэффициентом обладают производные с *-ling*, так как на данную модель наслаивается сема свернутой грамматической категории залога²⁷. Приведенные цифровые данные подтверждают мысль о зависимости семантической близости производящих и производных основ от уровня обобщения сем, взаимодействующих при функционировании словообразовательной модели. Синтез сем высшего ранга обуславливает и высший коэффициент деривационной адекватности. Производные двухслойных полей отличаются своим «синтаксизмом» и ярко выраженными текстообразующими потенциями²⁸.

Словообразующие потенции моделей следует рассматривать также с точки зрения их экстралингвистической направленности. Наибольшей «сопциологичностью» характеризуются поля имен лица и названий инструментов. Возможность образования от глаголов того или иного обозначения лица и в особенности устойчивости данного образования, его узувальность, помимо системы языка, обуславливается в конечном счете общественной значимостью носителя действия, обозначенного глаголом. Синтаксическая, текстообразующая и в какой-то степени дейктическая направленность производных полей имен действия и имен качества обеспечивает им относительно свободу словопроизводства.

Словообразовательные потенции модели обнаруживают нередко значительную зависимость от грамматических и лексико-грамматических особенностей частей речи, выступающих в качестве категориальных производящих основ. Как известно, регулярность в словообразовании не достигает той степени последовательности, которая наблюдается в грамматике. Словообразовательная регулярность нарушается противодействием со стороны лексики. Тем не менее, в отношении грамматических категорий и словообразовательных моделей существует известный изоморфизм. Так, глаголы, не обозначающие действия, поступки, состояния человека, характеризуются дефектной парадигмой лица и числа в силу несовместимости их лексического значения с грамматическим значением 1 и 2-го лиц. Е. И. Шендельс указывает на восемь ступеней формообразующей активности глаголов немецкого языка. Наиболее полно словоизменительная система представлена у переходных глаголов, наименьшим набором грамматических форм обладают непереходные глаголы, в особенности три группы среди последних: 1) субъектные глаголы, ограниченные неличным субъектом (*passieren*, *sich ereignen*), 2) модальные глаголы и 3) безличные глаголы²⁹. Данная классификация *mutatis mutandis* может быть экстраполи-

²⁷ Количественные характеристики даются на основе списка слов, полученного путем сплошной выборки на буквы А и В из словаря «*Wörterbuch der deutschen Gegenwartssprache*» (всего 2858 глаголов).

²⁸ О текстообразующих потенциях лингвистических единиц см.: И. И. Черныш в а, Текстобразующие потенции фразеологических единиц, сб. «Лингвистика текста. Материалы научной конференции», II, М., 1974.

²⁹ Е. И. Шендельс, Многозначность и синонимия в грамматике, стр. 11—12.

рована также на словообразовательную систему. Глаголы с неполной грамматической парадигмой образуют лакуны в словообразовательных полях, например, в поле *nomina agentis*, *nomina collectiva* и т. д. Приведем некоторые цифровые данные, иллюстрирующие связь между структурно-семантическими разрядами глаголов и их словообразующими потенциями. От 2858 глаголов нашего списка образовано 1416 существительных. В среднем на два глагола приходится одно существительное. Среди производных доминируют имена на *-ung* (55% всех производных). Проверка производящих основ с точки зрения переходности — непереходности резко меняет картину. Отдельно был проанализирован класс переходных глаголов с префиксом *be-* и их субстантивные дериваты. 452 переходным глаголам с префиксом *be-* соответствуют 396 производных существительных, т. е. на 100 глаголов приходится 87,5 производных существительных. Удельный вес производных с *-ung* составляет 67,2%.

Одним из ощутимых факторов, способствующих реализации словообразовательных потенций глаголов, является словосложение. Первый компонент сообщает второму компоненту синтаксический «импульс» к словопроизводству, что особенно характерно для композитов, второй компонент которых образуется от транзитивных глаголов. Например, в современном немецком языке нет слова **Holer*, но есть *Essenholer*, нет слова **Erstatter*, но есть *Berichterstatter*, нет слова **Wisser*, но есть *Besserwisser* и *Alleswisser* и мн. др.

Не все словообразовательные категории изучены в одинаковой мере. При недостаточно подробной изученности основных словообразовательных полей в германских и славянских языках, современная лингвистическая литература не располагает специальными исследованиями по классу *nomina acti*. Нет даже примерного определения того, что следует понимать под этой категорией слов, какие виды *nomina acti* существуют и т. д. Интересные наблюдения, высказанные в свое время М. М. Покровским, не нашли своего дальнейшего развития³⁰. А. А. Уфимцева указывает, что «семантический признак „результат действия“ может принимать в зависимости от конкретного лексического значения производящей основы различные формы»³¹.

Классы имен со значениями результата действия, локативности и собирательности образуют качественно иные словообразовательные поля, которые мы называем производными, вторичными полями. Вторичными являются такие словообразовательные поля, которые не обладают самостоятельным пространственным статусом и конструируются путем образования общего сегмента с первичными деривационными полями. К первичным полям относятся поля имен деятеля, имен действия, имен качественной абстракции, имен инструментов и имен неодушевленных предметов. Первые четыре поля обладают достаточно последовательной системой деривационных моделей. Поле неодушевленных имен не находит такого последовательного выражения в словообразовательной системе немецкого языка и поэтому его конфигурация нерельефна, его границы расплывчаты, что обуславливает его разнородное внутреннее строение: в этот класс имен входят как относительно стабильная, в понятийном отношении целостная группа имен — обозначений растений, так и группа, включающая в себя множество изолированных, не поддающихся более или менее строгой классификации единичных предметов, например, *Stein*, *Boden*, *Fluß*, *Berg*. Следует, однако, оговорить, что поле имен неодушевленных предметов нельзя отождествлять со структурно-семантическим разрядом неодушев-

³⁰ М. М. Покровский, Избр. работы по языкознанию, М., 1959.

³¹ А. А. Уфимцева, Слово в лексико-семантической системе языка, М., 1968, стр. 161.

ленности. Последний значительно шире и объемнее одноименного словообразовательного поля. С точки зрения словообразовательной структуризации обозначения инструментов должны быть выделены в самостоятельное словообразовательное поле, поскольку они не всегда могут рассматриваться как заместители агенса.

Вторичные поля возникли в свое время как результат семантической производности отдельных лексем. Однако семантическая производность получила такой размах, что она поднялась на уровень словообразовательной регулярности и в современном немецком языке производное значение может рассматриваться как второе словообразовательное значение модели, ср., например, модель «глагол + *ung*», достаточно регулярно совмещающую два значения: значение действия и значение результата действия. Таким образом, действие и результат действия можно считать в современном немецком языке двумя словообразовательными значениями модели. Правда, значение результата действия присуще меньшему количеству производных, чем значение действия. Иногда значение результата является единственным значением производного, что также свидетельствует об усилении значения предметности данной модели. Поле имен результата действия имеет ряд семантических модификаций. В зависимости от того, с каким первичным полем поле *nomina acti* пересекается, различается несколько семантических микромоделей:

I. Действие → *patiens* — предмет, возникший как результат действия и служащий пассивным объектом воздействия при основах переходных глаголов: *Beigabe* 1) «das Beigebene» и 2) «das Beigeben»; *Beimengung* 1) «das Beimengen» и 2) «das Beigemengte».

II. Действие → инструмент, средство осуществления данного действия: *Betäubung* 1) «Narkose» и 2) «vorübergehende Trübung des Bewußtseins»; *Beschränkung* 1) «das Beschränken» 2) «etwas Beschränkendes».

III. Действие → абстрактное понятие как результат действия: *Beobachtung* 1) «das Beobachten», 2) «Feststellung durch Beobachten»; *Abstraktion* 1) «Begriffsbildung», 2) «Begriff».

IV. Действие → группа людей или предметов, возникающая в результате осуществления или протекания данного действия: *Bewölkung* 1) «Gesamtheit der Wolken», 2) «Entstehung, Bildung von Wolken»; *Bevölkerung* 1) «Gesamtheit der Bewohner», 2) «das Bevölkern»; *Bemannung* 1) «Mannschaft», 2) «das Bemannen».

V. Действие → место, образовавшееся в результате данного действия, а также предмет как результат действия: *Abbruch* 1) «das Abreißen», 2) «das Weggerissene», 3) «Stelle, wo etwas weggerissen ist»; *Biß* 1) «Zugriff mit den Zähnen», 2) «die durch Beißen verletzte Stelle am Körper».

VI. Действие → носитель действия как результат функционального переноса: *Administration*, *Bewachung*.

VII. Действие → состояние. В таких случаях производные с *-ung* являются синонимами абстрактных производных существительных с суффиксом *-heit*, имеющих в качестве производящих основ, как правило, причастие II, что указывает на завершенность действия³². Т. Шиппан сравнивает их в какой-то степени с так называемым стативом или пассивом состояния (*Zustandspassiv*)³³, например, *Aufregung*, *Beleuchtung* и т. д.

VIII. Действие → акт действия. Такая семантическая комбинация имеет место обычно при глаголах, обозначающих поступки, действия людей: *Ächzer*, *Krächzer*, *Schlucker*, *Nicker*, *Lacher*, *Anranzer* и т. д. Собствен-

³² W. Fleischer, указ. соч., стр. 172.

³³ Th. Schippan, Einführung in die Semasiologie, Leipzig, 1972, стр. 120.

ными *nomina acti* являются имена данного разряда. Весь круг микромоделей можно было бы назвать *nomina resultatist*.

Вторичная деривационная категория имени результата действия представлена значительным количеством суффиксальных моделей, для которых данное поле является производным от их основного поля семантического сопряжения. К их числу относятся модели с суффиксами *-ei* (*-erei*, *-elei*), *-ung*, *-e*, *-t*, *-sel*, *-nis*, *-ation* и т. д. Категориальной производящей основой моделей для поля результата действия является глагол.

Сложное переплетение семантических компонентов характерно для поля *nomina loci*. Поле *nomina loci* имеет ряд разновидностей. Наиболее распространенным видом локативности можно считать комбинацию «действие + место осуществления или протекания действия». Такая комбинация сем последовательно проводится в модели производных с суффиксом *-ei* (*-erei*, *-elei*), обозначающих в большинстве случаев и вид ремесла, деятельности, и место осуществления данной деятельности, ср. *Bäckerei*, *Gießerei*, *Gerberei* и т. д. Особая сложность семантической структуры локативного поля объясняется тем, что, во-первых, производящими основами имен поля локативности могут быть как глаголы, так и существительные. Глаголы и существительные поставляют в поле локативности производные с совершенно отличными словообразовательными отношениями. Девербативные производные обладают относительно прозрачной семантикой и могут быть объяснены через трансформацию — «*die Anstalten, wo der betreffende Beruf ausgeübt wird*»³⁴. Значительно сложнее семантика десубстантивных производных, на которую, кроме значения места, налагается значение собирательности, например, *Birkicht*, *Erlicht*, *Rühricht*, *Weidicht*, ср. русск. *иеняк*, *березняк* и т. д., татар. *имәнлек*, *алмәлек*, которые можно было бы объяснить через трансформу «место нахождения совокупности предметов». Но такую трансформу мы получаем и при интерпретации несколько иного рода производных, например, *Fasanerie*, *Schäfferei*. В первом случае речь идет о естественной форме местонахождения предметов и нерасторжимости собирательности и локативности. Обе семы находятся в отношении взаимной детерминации, т. е. взаимозависимости. Производные второй группы обозначают помещения, предназначенные для кого-либо, чего-либо. Третий слой локативности в словообразовательной системе немецкого языка включает существительные, обозначающие учреждения, в которых локативность сопровождается имплицитной собирательностью (ср. *das Ministerium* «министерство»).

Несколько своеобразное положение занимает среди деривационных полей собирательность. Она частично пронизывает все первичные и вторичные поля. Вторичные поля можно было бы назвать, в отличие от первичных, классифицирующих деривационных полей, классификационно-модифицирующими, потому что эти категории модифицируют уже существующие классификационные категории. Например, говорить о собирательности как об автономной категории не представляется возможным, так как она указывает на совокупность кого-либо, чего-либо. Собирательность, таким образом, модифицируя часть классов слов первичных полей, создает свой класс имен. С другой стороны, собирательность классифицирует имена в другом ракурсе, а первичные поля выступают как своего рода категориальные квалификаторы. Они уточняют, о какой именно разновидности собирательности идет речь. Не случаен поэтому тот факт, что при семантическом моделировании частей речи одни и те же семы занимают неодинаковое положение в семной иерархии при рассмотрении полей

³⁴ Н. Paul, Deutsche Grammatik. Wortbildungslehre, 5, Halle/Saale, 1957, стр. 6—7.

в разных ракурсах. Так, при описании первичных полей, семы вторичных полей занимают подчиненное положение по отношению к семантическому стержню первичных полей; например, в поле *nomina agentis* сема «собирательность» подчинена семе «агенс». При описании же поля собирательности сема «агенс» выступает как дифференциальная по отношению к интегральной семе «собирательность». Семантическая специфика вторичных полей заключается в том, что нет автономных сем «собирательность», «результат действия» и т. д. без квалифицирующих, уточняющих сем, между тем как первичные деривационные поля базируются на семах, не требующих квалификации, уточнения. Для вторичных полей характерна многослойность сем. Например, локативно-собираательные производные обладают следующим набором сем: «предметность», «действие», «место действия» (*Bäckerei*) или «предметность», «действие», «результат действия», «собирательность», «агентивность» (*Bemannung*). Категориальные семы «предметность» и «действие» не являются актуальными семами для подобного рода производных. По мере усложнения семного набора словообразовательного поля ослабевает роль категориальных сем, тогда как при формировании первичных словообразовательных полей они играют основную роль. Чисто модификационную функцию выполняют суффиксы уменьшительности и эмоциональной оценочности. Функции суффиксов-модификаторов можно приравнять к квалифицирующей, уточняющей функции прилагательных: *Häuschen* — *ein kleines Haus*. Сюда же относятся полудифференцирующие суффиксы, ср. *Ärztin* «*weiblicher Arzt*».

Обычно классифицирующие суффиксы в случаях плеонастического присоединения могут выполнять модифицирующую функцию, например, *Dichterling*, *Schreiberling*, *Poetaster*.

Классификационно-модифицирующие категории образуют тот канал, через который осуществляется взаимопроникновение полей, функционирование одних и тех же словообразовательных моделей в разных полях.

Таким образом, типология словообразовательных полей приводит к выявлению их трех разновидностей: 1) первичные или классифицирующие поля, создаваемые в большинстве случаев в результате взаимодействия категориальных сем; 2) вторичные, производные или классификационно-модифицирующие поля, конструируемые на базе и путем пересечения первичных полей; 3) чисто модификационные категории, не создающие новых полевых конфигураций и вносящие лишь несущественные, дополнительные оттенки в семантику первичных и вторичных деривационных полей.

Вторичные поля могут иметь разный диапазон охвата первичных полей. Собираательность пересекает все первичные поля. Поле результата действия охватывает все первичные поля, кроме поля имен качества. Поле локативности образует общий сегмент для трех первичных полей — деятеля, неодушевленных предметов и действия. В свою очередь вторичные поля, пересекая друг друга, также создают общие участки, например, «собираательность + локативность», «результат действия + собираательность + локативность» и т. д.

Классификация словообразовательных категорий до сих пор носила десигнативный, т. е. лексико-обобщенный характер, причем не учитывалась синтагматическая природа производного слова. Выделение словообразовательных категорий должно опираться на семантические модели³⁵ в словообразовании, имеющие единую структуру смысла, эксплицируемую набором семантически гомогенных словообразовательных структур

³⁵ См. о семантических моделях: О. И. Москальская, Проблемы семантического моделирования в синтаксисе, ВЯ, 1973, 6.

А. А. ВЕЙЛЕРТ

О ЗАВИСИМОСТИ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЕДИНИЦ ЯЗЫКА ОТ ПОЛА ГОВОРЯЩЕГО ЛИЦА

Анализ магнитофонных записей разговорной речи юго-западного района ФРГ привел тюрбингенских исследователей к неожиданному, по мнению А. Руоффа, явлению — различиям в языке, обусловленным разницей пола информантов. Он пишет: «Тот не вызывающий уже сомнения факт, что между мужчиной и женщиной в одинаковых по всем другим характеристикам группах обнаруживаются большие языковые различия, был для нас наиболее неожиданным»¹. Речь идет о статистическом исследовании, проведенном на материале в миллионы словоупотреблений, записанных на магнитофон в 300 населенных пунктах у 1300 информантов². Поскольку ранее нами была сделана попытка проанализировать количественные различия в употреблении некоторых грамматических форм (пассив) в спонтанной речи мужчин и женщин — носителей средне немецкого (Mitteldeutsch) диалекта в СССР³, мы решили проверить выводы тюрбингенских лингвистов на материале указанного диалекта. Наши исследования велись в Эвбекши-Казахском районе Алма-Атинской обл. (контрольная запись проведена в с. Иссык), в Тюлькубасском районе Чимкентской обл. (контрольная запись — в селах: Совхоз им. Мичурина, Каучук, Кинап), в Осакаровском районе Карагандинской обл. (контрольная запись — в селах Покорное, Красный Кут, Арбайтер, Найдорф). В данной статье используется статистический материал села Найдорф.

Информанты отбирались по так называемым «однородным признакам»: исследовался язык нескольких поколений членов одной семьи, причем каждая из пяти возрастных категорий наших информантов характеризуется примерно одинаковыми демографическими и социальными показателями; в равной мере и национальный состав населения сел, в которых проводились наши исследования, достаточно однороден. Анализировался язык 30 мужчин и 30 женщин, наиболее близких по своим демографическим характеристикам. Анализ материала⁴ обнаружил 2613 слов (31 368 словоупотреблений), которые рассматриваются в статье с точки зрения их распределения по частям речи. Количественные характеристики групп слов даны у лиц различного пола в двух аспектах — их относительной величины (доли) и частоты. Первая задача решается на основе некоторых математических приемов⁵, вторая — с помощью одной из формул Б. Н. Головина⁶.

¹ «Zeitschrift für Phonetik, Sprachwissenschaft und Kommunikationsforschung», 28, 1, Berlin, 1975, стр. 120.

² Там же, стр. 119.

³ См.: А. Weiler t, Das Verb im Redeakt, «Zeitschrift für Phonetik, Sprachwissenschaft und Kommunikationsforschung», 22, 4, Berlin, 1969, стр. 120.

⁴ Его этапы — перевод транскрипционных записей в графику, составление кода, поименное кодирование речевых образцов и их анализ на ЭВМ по программе для 60 групп слов, таблицы, частотные словари для мужчин и женщин и т. д.

⁵ Применительно к устной речи см.: А. А. Вей л е р т, Об использовании количественных данных в диалектологии, ВЯ, 1973, 4.

⁶ Б. Н. Г о л о в и н, Язык и статистика, М., 1971, стр. 29.

В табл. 1 мы покажем количество словоупотреблений (СУ) по каждой лексико-грамматической группе слов с указанием величины относительной ошибки доли (δ), верхней и нижней границ доли ($\bar{p} - p$) у мужчин и женщин, а также знака существенности расхождения границ доли (CP) — «+» и несущественности — «-».

Таблица 1

№ п/п	Части речи	Мужчины			Женщины			CP
		СУ	δ	$\bar{p} - p$	СУ	δ	$\bar{p} - p$	
1	глагол	5550	0,023	0,260—0,248	2745	0,032	0,295—0,277	+
2	существ.	2883	0,035	0,137—0,127	1180	0,055	0,130—0,116	—
3	прилагат.	645	0,077	0,032—0,028	215	0,135	0,025—0,019	+
4	наречие	2950	0,034	0,140—0,130	1075	0,057	0,118—0,106	+
5	местоим.	3880	0,029	0,183—0,173	1634	0,045	0,180—0,164	—
6	артиклъ	1239	0,061	0,060—0,054	481	0,089	0,056—0,046	—
7	числит.	488	0,089	0,024—0,020	257	0,123	0,030—0,024	—
8	предлог	1195	0,056	0,058—0,052	495	0,037	0,058—0,046	—
9	союз	1618	0,048	0,077—0,071	900	0,064	0,100—0,088	+
10	частица	832	0,064	0,040—0,036	369	0,103	0,043—0,035	—
11	междомет.	518	0,087	0,026—0,022	219	0,133	0,026—0,020	—
Итого		21798			9570			

В лингвостатистических исследованиях вполне допустимой считается $\delta = 0,300$. У нас же выше величины 0,135 (прилагательное у женщин) она не поднимается. Это значит, что мы оперируем достаточно надежным материалом. Разница долей у мужчин и женщин существенна⁷ у четырех частей речи: у глагола и союза — в пользу женщин, у прилагательного и наречия — в пользу мужчин. Сумма всех словоупотреблений, проходящих у мужчин и женщин под знаком «+», несколько больше половины их общего количества. Это значит, что в большей половине речевого потока функционируют единицы, характеризующиеся признаком среднестатистической разницы, неодинаковости у каждого из полов. Эта неодинаковость существенна, что позволяет считать ее одной из объективных характеристик изучаемого языка. В качестве таковой она измерима, причем единицей измерения может выступать уже упоминавшееся выше СУ с положительным знаком, или «положительное СУ», как мы его условно будем называть в дальнейшем.

Рассмотрим наш материал относительно частотности каждой из лексико-грамматических групп слов. Идеальным был бы случай, если бы равное количество мужчин и женщин «наговорило» одинаковое количество словоупотреблений. Тогда возможно было бы сопоставление средних частот по каждой части речи. На практике же этого добиться невозможно⁸, так как точное количество имеющихся в наших записях языковых единиц становится известным лишь после сбора материала. В то же время известно, что грамматические группы слов немецкого, да и любого другого языка можно разделить на два больших класса — на части речи с «ограниченным» инвентарем (числительное, местоимение, артиклъ, предлог,

⁷ Слово «существенно» и его производные употреблены здесь только в значении разницы, имеющей случайный характер.

⁸ Если не иметь в виду механического укорачивания магнитофонных лент в лабораторных условиях, этот метод вряд ли правомерен, так как лишает фонозаписи спонтанности и естественности, что является одним из составляющих понятия «контекст».

Таблица 2

Линг. тип	Части речи	Мужчины			Женщины			χ^2	СР
		слов	СУ	частота	слов	СУ	частота		
1	глагол	636	5550	8,7	329	2745	8,3	0,7	—
2	существ.	891	2883	2,9	496	1180	2,4	14,0	+
3	прилагат.	157	645	4,1	76	215	2,8	7,3	+
4	наречие	239	2950	12,3	176	1075	6,1	57,6	+

союз, частица, междометие) и части речи с «неограниченным» инвентарем (глагол, существительное, прилагательное, наречие). При анализе последних одним из наиболее важных критериев в выборе слов является речевая культура говорящего, если не понимать ее слишком узко⁹. Мы имеем в виду не абсолютную «неограниченность» словаря у перечисленных групп слов, а его относительную, практическую «неограниченность». Она индивидуальна, а ее материальное содержание в единицах языка поддается исчислению, что подтверждается попытками определить словарь отдельных говоров по количеству слов идиолекта¹⁰. Последнее обстоятельство для нас не так важно, так как мы имеем дело с контингентом лиц примерно одного уровня речевой культуры в каждой из возрастных групп.

Упомянутое выше свойство двух классов частей речи приводит к тому, что чем больше объем материала у одной из сопоставляемых совокупностей (в нашем случае — у мужчин и у женщин), тем более несоразмерима разница в частотности словарных единиц у каждой из них. Мужчины в нашем исследовании представлены значительно большим, чем женщины, количеством СУ. У них обнаружено 2247 слов в 21 798 СУ, у женщин — 1242 слова в 9570 СУ¹¹. Рассмотрим частотность глагола, существительного, прилагательного и наречия, т. е. основных частей речи, в табл. 2.

Существенными признаются расхождения частот в тех случаях, когда величина χ^2 выше критической или равна ей. При 5% вероятности и одной степени свободы (т. е. при сопоставлении только двух совокупностей) она равна 3,84 по одной из таблиц Б. Н. Головина¹². Только глагол имеет практически одинаковую частоту у лиц различного пола, остальные три основные части речи имеют частоту, выходящую за пределы случайного. Положительные СУ занимают почти две трети всего текста. Характерно и то, что частотность всех основных частей речи у мужчин существенно выше, чем у женщин (5,9—4,9). В перерасчете на СУ обнаруживается, что у мужчин на каждую 1000 СУ падает 168 слов, у женщин же значительно больше — 205. Напрашивается вывод — словарный запас женщин боль-

⁹ Под речевой культурой человека, родным и обиходным языком которого является диалект, следует понимать, по нашему мнению, «степень соответствия нормам орфоэпии, словоупотребления и т. п.» (О. С. А х м а н о в а, Словарь лингвистических терминов, М., 1966), установившимся (но не «установленным») в языковом коллективе в процессе продолжительного совместного проживания и являющимся следствием языкового выравнивания.

¹⁰ И. Эрбен, например, приводит количественные данные по словарю ряда населенных пунктов ФРГ: для Гронинберга (под Золингером) — 8140 слов, для Эшенроде (Верхний Гессен) — 5500 слов и т. д. (см.: J. E r b e n, Abriss der deutschen Grammatik, 9. Aufl., Berlin, 1966, стр. 21).

¹¹ Сколько выше общее количество исследованного словаря было определено в 2613 слов. Сумма же слов у мужчин и женщин (2247 + 1242) дает гораздо большую цифру. Здесь нет неувязки — 876 слов встречаются как у мужчин, так и у женщин.

¹² Б. Н. Г о л о в и н, указ. соч., стр. 31.

Таблица 3

Семант. класс	Мужчины			Женщины			СР
	СУ	з	$\bar{p} - p$	СУ	з	$\bar{p} - p$	
Абстракт.	1026	0,050	0,374—0,338	343	0,091	0,317—0,265	+
Нарицат.	1275	0,045	0,462—0,442	518	0,066	0,467—0,409	—
Собират.	158	0,155	0,064—0,046	49	0,280	0,054—0,030	—
Веществ.	94	0,203	0,040—0,026	52	0,270	0,056—0,032	—
Им. собств.	330	0,104	0,126—0,102	218	0,122	0,208—0,162	+
Итого	2883			1180			

Таблица 4

Семант. класс	Мужчины			Женщины			х ²	СР
	слов	СУ	частота	слов	СУ	частота		
Абстракт.	301	1026	3,4	105	343	3,3	0,2	—
Нарицат.	467	1275	2,7	247	518	2,1	10,6	+
Собират.	30	158	5,3	11	49	4,5	0,2	—
Веществ.	37	94	2,5	18	52	2,9	0,2	—
Им. собств.	156	330	2,1	115	218	1,9	0,8	—

ше, чем у мужчин. Это особенно заметно у прилагательных и наречий. У мужчин — 243 прилагательных и 81 наречие на 1000 СУ, у женщин — соответственно 354 и 164.

Итак, по данным табл. 1 доля прилагательных и наречий в общем количестве СУ у мужчин выше; по данным табл. 2 у мужчин же выше частотность этих частей речи. Отсюда вывод — мужчина чаще обращается к качественной характеристике предметов и процессов, женщина же определяет их красочнее и разнообразнее.

Отношения, складывающиеся в границах каждой части речи, представляют интерес и для лингвостатистики. Обратим внимание на существительное, точнее, на количественные характеристики, связанные с его семантической и этимологической классификациями. В табл. 3 и 4 приводятся средние данные по доле и частоте семантических классов существительного.

Абстрактные существительные, а из конкретных — имена собственные, имеют существенное расхождение долей у мужчин и женщин. Первые представлены в большем количестве у мужчин, вторые — у женщин. Примерно половина всех словоупотреблений проходит под знаком «+».

Частотность этого класса существительных мы рассмотрим в табл. 4. Только один класс существительных — нарицательные — обнаруживает существенное расхождение у мужчин и женщин в пользу первых. На 1000 СУ у мужчин — 365 нарицательных существительных, у женщин — 476. Положительные СУ составляют одну четверть.

Этимологический анализ показал, что исследованные существительные распадаются на 31 группу¹³. Нет необходимости представлять их

¹³ Этимология основ определялась по словарям: F. Kluge, Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache, hrsg. von A. Götze, 18. Aufl., Berlin, 1960; H. Paul, Deutsches Wörterbuch, 7. Aufl., Halle (Saale), 1960.

Таблица 5

Этимолог. класс	Мужчины			Женщины			СР
	СУ	з	р-р	СУ	з	р-р	
Индоевр.	162	0,152	0,065—0,047	73	0,232	0,076—0,048	—
Германск.	1053	0,049	0,383—0,347	364	0,087	0,335—0,283	+
Немецк.	813	0,059	0,299—0,265	386	0,084	0,352—0,298	—
Классич.	160	0,153	0,063—0,047	71	0,230	0,074—0,046	—
Романск.	122	0,177	0,057—0,035	43	0,299	0,047—0,025	—
Славянск.	572	0,075	0,213—0,183	240	0,115	0,228—0,180	—
Китайск.	1	—	— —	3	—	— —	—
Итого	2883			1180			

здесь все, для целей нашего исследования удобнее рассматривать их в семи группах: индоевропейская, германская (куда вошли и несколько примеров из нидерландского), немецкая (включая единичные примеры из нижненемецкого), а также заимствования из классических, романских и славянских языков (за исключением нескольких СУ, точнее — двух, из старославянского, все следует относить к заимствованиям из русского языка, с которым переселенцы в Россию познакомились лишь два столетия назад), а также из китайского языка. Рассмотрим их в табл. 5.

Доля существительных с германской основой у мужчин существенно выше. Остальные классы представлены удивительно ровно. Это тем более поражает, что в своей речи мужчины и женщины использовали только 876, как мы сообщали уже, общих слов, т. е. всего 36%. Создается впечатление, что в сознании человека хранится информация не только о качественном оформлении языковых единиц, но и об их количественных характеристиках. Варьирование этими последними, разумеется, интуитивное, приводит к смене речевых стилей, которая подкрепляется и изменением лексико-грамматических средств выражения.

Существительные германской этимологии преобладают по общему количеству словоупотреблений, что и привело к значительному числу положительных СУ у существительных в целом (одна треть). В табл. 6 рассмотрена их частотность.

В пересчете на СУ у женщин почти во всех случаях словарь богаче. У немецких и германских основ существительных разница существенна и достигает 390 слов на 1000 СУ у женщин и только 287 слов на 1000 СУ у мужчин. Около двух третей всего числа словоупотреблений проходит под знаком «+».

Заимствования из славянских языков, вернее, из русского, у существительных весьма велики. У мужчин их число достигает 28,5% от общего количества слов-существительных, у женщин — 25,8%. В связи с относительно небольшой частотностью русских заимствований доля их СУ в общем количестве словоупотреблений у существительных несколько ниже соответствующего количества незаимствованных слов (см. табл. 5). Весьма знаменательно и то, что доля заимствований по СУ у мужчин и женщин примерно равна.

Примеры, показывающие, что разница в статистических характеристиках языковых единиц в устной речи мужчин и женщин не является случайностью, можно было бы продолжить. Но уже и приведенных в шести таблицах данных достаточно, чтобы ответить на поставленный вопрос. Не подлежит сомнению, что определенное своеобразие в речи каждого из

Таблица 6

Этимолог. класс	Мужчины			Женщины			x*	CP
	слов	СУ	частота	слов	СУ	частота		
Индоевр.	56	162	2,9	24	73	3,0	0,2	—
Германск.	337	1053	3,1	160	364	2,3	9,5	+
Немецк.	216	813	3,8	132	386	2,9	4,1	+
Классическ.	65	160	2,5	36	71	2,0	1,2	—
Романск.	34	122	3,6	15	43	2,9	0,5	—
Славянск.	282	572	2,0	128	240	1,9	0,6	—
Китайск.	1	1	—	1	3	—	—	—

Таблица 7

№№ таб- лиц	Доля			№№ таб- лиц	Частота		
	«+» СУ	Общ. кол. СУ	%%		«+» СУ	Общ. кол. СУ	%%
1	15 698	31 368	50,0	2	8948	14 498	61,7
3	1917	4063	47,2	4	985	4063	24,2
5	1414	4063	34,8	6	2616	4063	64,4
Итого	19 029	39 494	48,2		12 549	22 624	55,5

полов существует, и оно может предполагаться не только в диалектной речи небольшого населенного пункта, не только в немецком языке, но и в любом языке. Более того, мы вправе ожидать такого же своеобразия в письменной речи авторов-мужчин и авторов-женщин. Необходимы исследования, которые могли бы подтвердить или опровергнуть эти предположения.

Новые работы по статистике речи у мужчин и у женщин будут интересны только тогда, когда они позволят провести сопоставление данных на базе каких-то общих критериев. Одним из них может рассматриваться введенное здесь понятие «положительное СУ».

Приводим табл. 7 с данными по количеству и доле положительных СУ по каждой из шести таблиц, рассматривая их по каждому из аспектов анализа, т. е. по доле и частотности. Абсолютные цифры здесь не несут никакого содержания, связанного с количеством. Но полученные с их помощью средние величины покажут соотносительную величину сопоставляемых совокупностей.

Конечные цифры, т. е. проценты, говорят сами за себя. Для сопоставлений по затронутой в статье теме одинаково перспективны как данные по доле частей речи в общем их количестве по СУ, так и данные по частотности слов. Последние даже предпочтительнее.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

РЕЦЕНЗИИ

Th. Lewandowski. Linguistisches Wörterbuch. — Heidelberg, Quelle und Meyer, I — 1973 (UTB, 200), II — 1975 (UTB, 201), III — 1975 (UTB, 300). 841 стр.

Рецензируемый «Лингвистический словарь» принадлежит перу западногерманского лингвиста Т. Левандовского — профессора немецкого языка и литературы Высшей Педагогической школы в Кельне. Этот трехтомный справочник (все три тома связаны сплошной нумерацией) вышел в серии «Основы дидактики языка», издаваемой Б. Вайстербером, Г. Месселеном и Т. Левандовским, и содержит определения более 1000 специальных терминов. Цель словаря Т. Левандовского, как указано в «Предисловии», состоит в том, чтобы противопоставить «односторонней абсолютизации» тех или иных лингвистических аспектов или теорий более общий подход, а именно — систематическое изложение основных понятий и терминов теоретического языкознания. Особое внимание автор обещает уделять вопросам, относящимся непосредственно к функционированию языка в процессе коммуникации, разъясняя при этом «стоящие за терминами концепции» в критическом плане (стр. 5). Само собой разумеется, что учебный характер словаря предполагает наиболее полное включение в него таких лингвистических понятий, которые проверены временем и практикой и стали бесспорным достоянием науки.

Приходится с сожалением констатировать, что цели словаря, изложенные автором в «Предисловии», не находят в нем реального воплощения. Чтение словаря убеждает в том, что основные задачи, сформулированные автором, фактически следует понимать наоборот: то, что он в «Предисловии» считает наиболее важным, в словаре становится второстепенным, а второстепенное ставится им во главу угла. В самом деле, в словарь Т. Левандовского включены главным образом не общелингвистические термины (как следовало бы ожидать из

его заглавия), а лишь номенклатура течений в лингвистике, которые, появившись в последние несколько десятилетий, уже в значительной мере скомпрометировали себя. Речь идет о концепции Хомского в ее многочисленных разновидностях, о теориях языка, основанных на положениях логического позитивизма, формальной и символической логики и т.д.¹ В словаре Т. Левандовского рекламируются произведения таких лингви-

¹ Ср. из последних работ: I. R o b i n s o n, The new grammarians' funeral. A critique of N. Chomsky's linguistics, Cambridge, 1975; J. L e i b e r, Noam Chomsky. A philosophic overview, New York, 1975; F. H i o r t h, Noam Chomsky. Linguistics and philosophy, Oslo — Bergen — Trömsö, 1974. Известный финский языковед Р. Анттила недавно писал: «Современные лингвисты (в том числе и бывшие поборники этой теории) все больше признают, что трансформационно-генеративная грамматика зашла в тупик. Это подтверждается тем, что ни одно из правил Хомского „не работает“. Представители недавно возникшей „естественной порождающей грамматики“ также убеждаются в том, что хомскианство является ныне просто историческим курьезом» (см.: R. A n t t i l a, Ist der Strukturalismus in der Sprachwissenschaft schon passé?, «Historiographia Linguistica», I, 2, 1974, стр. 279—280). Как показали последние исследования, основное положение порождающей грамматики — о безграничном генерировании предложений на основе ограниченного языкового инвентаря — является результатом неверного толкования известного тезиса Гумбольдта (см.: H. W e y d t, Unendlicher Gebrauch von endlichen Mitteln. Missverständnisse um ein linguistisches Theorem, «Poetica», 5, 1972).

стов, как Кан, Брекеле, Лайонз, Кифер, Бар-Хиллел, а также логиков и философов — Куайна, Карнапа, Остина, Кассирера, Мура, Витгенштейна и др. Главной целью теорий, пропагандируемых этими учеными, является, как известно, стремление к максимальной формализации и «стратификации» любых фактов языка, независимо от их природы и свойств, а нередко и вопреки научной необходимости подобных трансформаций.

В этой связи весьма показательны споредливые высказывания, содержащиеся в недавно опубликованном в ФРГ трехтомном лингвистическом словаре под редакцией Г. П. Альтхауса, Г. Хенне и Х. Виганда, которое можно прямо отнести к основным идеям, пропагандируемым в словаре Т. Левандовского: «Наиболее частыми заблуждениями (Irrwege) при построении лингвистики как теоретической науки являются следующие — догматическое, необоснованное введение теоретических конструкторов или частных теорий (Teiltheorien)..., построение спекулятивных гипотез, не имеющих прямого отношения к фактам или не разъясняющих факты, недостаточный учет соотношения между частными теориями, механистический анализ без объяснения зависимости между различными аспектами словесной коммуникации, неясное использование основных понятий теории»².

Кроме теории Н. Хомского и близких к ней концепций, в словаре Т. Левандовского широко представлены термины по различным областям прикладного языкознания (в ущерб собственно лингвистической терминологии): машинного перевода, кодирования, перекодирования и передачи информации, кибернетики, лингвостатистики, разного рода экстралингвистических дисциплин (паралингвистики, кинесики и др.), теории графов, психолингвистики, а также так называемой «общей теории науки»³ и методов обучения языку (Sprachdidaktik). В этой связи нельзя забывать, что не всякая наука, объектом изучения которой может стать язык, в состоянии вскрыть истинные законы языка и не всякие методы изучения языка в равной мере научны, одинаково пригодны для лингвистики и соответствуют природе изучаемого

объекта. Некритическое сопоставление закономерностей в математике и физике, с одной стороны, и в лингвистике — с другой, довольно часто, как показала практика, дают результаты, не идущие дальше «поверхностного» уровня, хотя именно эти характеристики без достаточных оснований нередко выдаются за «глубинную» структуру исследуемых реалий. К тому же, как известно, сопоставление далеко не во всех случаях оправдывает отождествление сопоставляемых объектов. Правда, некоторые сторонники формализации гуманитарных наук утверждают, что математическая теория якобы «очищает» (purifies) лингвистику⁴. Нельзя не признать, что желание во что бы то ни стало видеть в любых проявлениях языка лишь еще одну иллюстрацию тех или иных математических или кибернетических закономерностей, безусловно, очищает лингвистику... от лингвистики, лишает ее присущей ей специфики. Ведь именно такой ценой достигается пресловутая «строгость» так называемых «точных» методов в языкознании, с помощью которых, кстати, как показала практика, нередко доказываются прямо противоположные тезисы.

И все же основным лейтмотивом словаря Т. Левандовского, его *profession de foi* остается концепция Н. Хомского: перед нами своеобразная «эциклопедия» хомскианства, подробно и добросовестно отражающая все изгибы теоретического становления этого учения, оказавшего столь неблагоприятное влияние на многих языковедов второй половины XX столетия. В словарь включены не только такие «ключевые» понятия теории Н. Хомского, как «поверхностная» и «глубинная» структура, «трансформация», «порождающая грамматика» и др., но и более мелкие терминологические звенья этой концепции, например, «природный носитель языка» (native speaker), «несовместимость» (incompatibility), «компетенция», «избыточность», «грамматическая правильность» (grammaticality), «экспланаторность», «амальгама», «холодный символ», «вложение», «правило подстановки», «правило развертывания» [Имеется и отдельная статья «правило». Интересно, что против злоупотребления этим понятием предупреждал еще Я. Грими (см. «*Kleinere Schriften*», Gütersloh, 1890, стр. 35)], «вычеркивание» (deletion) и т.д. С другой стороны, в рецензируемом словаре совершенно отсутствуют статьи, посвященные многим важным лингвистическим понятиям, например, «анатомосемия», «жаргон», «аттракция», «креолизация», «дублет», «иостратические языки», «парные слова», «синкретизм», «синкопа», «рифмованное

² «*Lexikon der germanistischen Linguistik*», hrsg. von H.-P. Althaus, H. H. Henne, H. E. Wiegand, I—III, München, 1973, стр. 67.

³ Сфера интересов словаря Т. Левандовского, таким образом, в большой мере совпадает с тематикой других изданий, вышедших в той же «Библиотеке карманных книг» («*Uni-Taschenbücher*»); ср.: F. von Kutschera, *Wissenschaftstheorie. Grundzüge der allgemeinen Methodologie der empirischen Wissenschaften*, I—II, München, 1972; его же, *Sprachphilosophie*, München, 1975.

⁴ См.: J. W h a t m o u g h, *Order in language and in other human behavior*, «The concept of orders», ed. by P. G. Kuntz, Seattle — London, 1968, стр. 329.

словообразование», «тапалология», «регенерация лексики», «потенцирование», «семантическая параллель», «филология», «гlossa», «интернациональное слово», «слово-призраки», «теория волн» и мн. др. Показательно, что, по нашим подсчетам, из 527 статей, занимающих 361 страницу первого тома словаря Т. Левандовского, лишь около 147 статей, занимающих всего 110 страниц, прямо или косвенно посвящены непосредственно лингвистическим вопросам.

Уже само количество статей, посвященных идеям Хомского и подобным теориям, говорит само за себя. В большинстве же случаев автор излагает свое позитивное отношение к тем или иным формалистическим или идеалистическим концепциям не собственными словами, а посредством целого набора искусно подобранных цитат, которые, не оставляя сомнения в его симпатии к той или иной точке зрения, в то же время создают иллюзию его «объективности». Нередко перечисление различных точек зрения по тому или иному вопросу превращается в беспорядочное нагромождение разрозненных концепций, причем автор как бы предлагает читателю выбрать для себя наиболее приемлемую. Однако преобладание в перечне точек зрения, соответствующих основной направленности словаря и воззрениям его автора, незаметно «давит» на читателя и неизменно подсказывает ему, как, по мнению Т. Левандовского, следует относиться к рассматриваемому вопросу (ср. стр. 628).

Правда, в отдельных случаях, Т. Левандовский вынужден признать ошибочность «некоторых» положений Хомского. Так, на стр. 284 он отмечает, что исследование грамматико-синтаксических структур независимо от семантики предложения, практиковавшееся Хомским в 1957 г., оказалось «теоретически неверным». На стр. 399 Т. Левандовский признает, что ограничение лингвистического исследования только выявлением разного рода «структур» на основе определенных операций, моделей и «порождающих правил» вызвало справедливую критику, требовавшую всестороннего учета речевых, стилистических, ситуативных, а также диахронических факторов. Однако в большинстве статей Т. Левандовский выступает как поборник идей Хомского. Например, на стр. 179 он представляет Хомского как «родоначальника» понятия «экспланаторности» (explanatory adequacy), хотя это понятие и стоит в противоречии с трансцендентным характером его теории, а на стр. 191 в статье «Факты» (имеются в виду лингвистические факты) вообще излагает только теорию Хомского, направленную, как известно, на формализацию так называемых «данных» (data), якобы отличных от собственно лингвистических фактов. Напомним, что Н. Хомский придержива-

ется того мнения, что теория не вытекает из данных (гесп. фактов)⁶, против чего справедливо неоднократно возражали многие лингвисты (в частности, В. Лябов)⁶.

При чтении словаря Т. Левандовского бросается в глаза то обстоятельство, что теория Хомского выдается им за «истинную», «научную», «передовую», «современную» лингвистику и явно противопоставляется «более примитивной» (хотя в общем верной и в ряде случаев даже необходимой) «традиционной» грамматике (гесп. лингвистике), которая, как он с сожалением отмечает, «до сих пор изучается в школе»⁷. Действительно, в рецензируемом словаре имеется специальная статья, посвященная «традиционной грамматике» (стр. 775), где автор вполне обнаруживает свое *stredo* в этом отношении. Он пишет: «Традиционная грамматика — деструктуралистская грамматика, старая школьная грамматика, в сферу которой входит главным образом выделение частей речи и которая при анализе предложения по схеме „подлежащее — сказуемое“ опирается на классическую или аристотелевскую логику, а с конца XIX в. — на различные психологические течения (Штейнталь, Вундт, Пауль)» (разрядка наша. — М. М.). Большая часть статьи о так называемой «традиционной грамматике» отведена подробной ее «критике», со стороны американского структурализма и порождающей грамматики и, в частности, со стороны Каца и Хомского. На стр. 776, например, приводится цитата из работы Каца, где говорится, что традиционная грамматика «выдвигает неформальные, неполные и не поддающиеся систематизации положения», а также цитата из работы Хомского, который утверждает, что «традиционная грамматика оставляет необъясненными многие основополагающие закономерности языка». Подобные же взгляды излагаются Т. Ле-

⁶ Ср. у Р. Карнапа: «Не существует способа, с помощью которого можно было бы определять теоретические понятия в терминах наблюдения» (Р. Карнап, Философские основания физики, М., 1971, стр. 313).

⁷ См. сб. «Новое в лингвистике», VII, М., 1975, стр. 113. Ср.: R. H. Robins, Theory-orientation versus data-orientation. A recurrent theme in linguistics, «Historiographia linguistica», I, 1, 1974.

⁸ Ср. справедливую критику этого направления в статье: Р. А. Будогов, Что означает словосочетание *современная лингвистика*?, ВЯ, 1975, 6. Недавно издан даже специальный словарь по терминологии «нового» языкознания: «Terminologie zur neueren Linguistik, zusammengestellt von W. Abraham unter Mitwirkung von K. Elema, K. Griesen, A. P. ten Cate und J. Kok, Tübingen, 1975.

вандовским и в обширной статье «Школьная грамматика» (стр. 581—584).

В «Предисловии» к словарю Т. Левандовский предупреждает, что из-за ограниченности объема он не включает в словарь такие термины «школьной грамматики», как «аблатив», «артикль», «аорист» и др., и отсылает читателя к соответствующим статьям, посвященным «более крупным» категориям. В словарь, однако, включены такие узкоспециальные статьи, как «оператор» (стр. 458—459: термин формальной логики и трансформационной грамматики), «рекурсивность» (стр. 548: термин Хомского), «ядро» (стр. 447: термин Лайонза, Теньера и Пайка), «узел» (стр. 314: термин теории графов), «релятор» (стр. 550) и «функтор» (стр. 217) — термины формальной логики, «матрица» (стр. 412), «естественный язык» (стр. 439, ср. ВЯ, 1976, 4, стр. 77) и др.

Общий план построения статей в словаре Левандовского следующий: в каждой статье кратко (с перекрестными ссылками) излагаются те или иные подходы к описываемому понятию, в ряде случаев подкрепленные соответствующими цитатами или примерами (особенно иллюстрирующими элементарные лингвистические понятия — «изменение значения», «грамматический род», «аспирация», «опозиция» и др.). В конце статьи обычно приводится небольшой список специальной литературы, отличающийся эклектичностью и случайностью как с точки зрения содержания приводимых работ, так и в плане хронологии их написания. Несмотря на то, что в аннотации к третьему тому рецензируемого словаря сказано, что при краткости его отдельных статей они «характеризуются широтой проблематики и содержат исчерпывающую информацию» по затрагиваемым вопросам, необходимо отметить, что статьи, посвященные так называемой «традиционной лингвистике», не отличаются полнотой, хотя автор и не упускает случая, чтобы сообщить точку зрения Хомского по тому или иному вопросу «традиционной теории». Недолгота статей, посвященных вопросам «традиционной лингвистики», особенно ощутима в связи с тем, что в словаре, адресованном, по замыслу автора, прежде всего учащимся, совершенно отсутствуют указания на многие интересные явления, процессы и закономерности, наблюдаемые в истории языков.

В словаре Т. Левандовского имеется статья, в которой рассматривается так называемый «компонентный анализ» значений (стр. 339—341), введенный американскими дескриптивистами и до сих пор пользующийся большой популярностью у некоторых языковедов. Анализ этот, как известно, состоит в искомом (основанном на логико-психологических и интуитивных, а не лингвистических соображениях),

«разложении» того или иного значения слова на «элементарные смыслы».

В этой связи было бы интересно отметить, что в ряде языков (особенно в африканских, например, суахили, аве и др.) многие понятия, которые в других языках обычно выражаются одной лексемой, можно выразить только совокупностью слов, по своему основному значению представляющих как бы «разложение» соответствующего понятия на более мелкие смыслы. Это явление, которое, в отличие от произвольного «семантического разложения» при компонентном анализе, представляет собой естественный и реально присущий ряду языков феномен, впервые было отмечено В. Планертом в 1907 г. и названо им «перечислительным оборотом речи» (enumerative Redeweise).

В специальной статье рецензируемого словаря излагается суть так называемой «порождающей семантики» (стр. 222—224), которую, как известно, «развили» на основе теории Хомского (сам Хомский долгое время вообще не принимал во внимание категорию значения, да и сейчас признает ее с большими ограничениями) американские лингвисты Лакофф, Макколи, Росс и Постал. В конце этой статьи Левандовский решительно возражает против какой-либо критики «порождающей семантики», исходящей, по его словам, со стороны «прагматически ориентированных лингвистов», которые, основывая свою критику на «контекстных и ситуативных факторах», якобы неизбежно «попадают в порочный круг». В этой связи нельзя не указать на недавнее высказывание канадского языковеда А. Шогта, отражающее, очевидно, современную точку зрения многих лингвистов в Европе и Америке на «генеративную» или любую другую формализованную семантику: «При чтении того или иного исследования по семантике неискушенный человек не может избавиться от впечатления, что... разветвленные формулы, имеющие математический или логический вид, служат только для того, чтобы завуалировать отсутствие ясности, а не для прояснения проблем, о которых говорят. Таким образом, лингвистика все больше становится уделом небольшой кучки избранных, которые, ведя свою эзотерическую дискуссию, вызывают удивление, раздражение, а то и просто безразличие простых смертных»⁸.

Одним из достоинств своего словаря Т. Левандовский считает привлечение советской (и вообще «славянской») лингвистической литературы (она дается в латинской транскрипции). Кроме того, большинство разбираемых в словаре тер-

⁸ См.: H. G. Schogt, *Sémantique synchronique: synonymie, homonymie, polysémie*, Toronto — Buffalo, 1976, стр. 4.

минов снабжено не только английскими, но и русскими соответствиями. К сожалению, советские авторы в тексте словаря либо упоминаются вскользь (ср. О. С. Ахманова, стр. 35, 107, 117, 718; Л. Р. Зиндер, стр. 677; Н. М. Жинкин, стр. 680; Г. А. Климов, стр. 427; Б. М. Лейкина, стр. 790; С. Д. Кацнельсон, стр. 790; Т. П. Ломтев, стр. 790; А. А. Леонтьев, стр. 317; И. П. Мучник, стр. 677; Ю. Мартемьянов, стр. 167. Е. В. Падучева, стр. 342; И. М. Тронский, стр. 333; Т. Сильман, стр. 763; А. Харкевич, стр. 273; Л. В. Щерба, стр. 240, 392), либо приводятся только в списке литературы, приложенном к той или иной статье. В некоторых случаях Т. Левандовский все же цитирует точку зрения отдельных советских лингвистов по частным вопросам языкознания (например, А. И. Ефимова, стр. 642, Е. М. Галкиной-Федорук, стр. 107, Р. И. Аванесова, стр. 463, 485, А. А. Реформатского, стр. 732). В нескольких специальных статьях словаря Левандовский подробно излагаются работы В. Г. Адмони (стр. 67, 434, 473). Однако круг цитируемых лингвистов невелик, приводимые цитаты (в немецком переводе) очень коротки, вырваны из общего контекста соответствующей работы и носят случайный характер. При этом автор отдает явное предпочтение авторам, занимающимся кодированием (стр. 318) или формализацией языка (стр. 13, 15, 30, 40, 44 и др.).

В словаре нельзя найти ни изложения конкретных успехов советского и русского языкознания (из русских лингвистов упоминаются лишь И. А. Богуздз Куртез, стр. 142, 484, 485, 490, 510; С. Карцевский, стр. 227, 510, 694, 707; Ф. Ф. Фортунатов, стр. 373, 811 и В. Поржевицкий, стр. 373), ни оценки его роли в развитии мировой лингвистики.

Наряду с этим Т. Левандовский включает в свой словарь целый ряд статей, посвященных историографии западной и восточной лингвистики (например, стр. 510—513: «Пражская лингвистическая школа», стр. 233—234: «Глоссематика», стр. 332—333: «Сравнительно-историческое языкознание» и др.).

На стр. 409 словаря Т. Левандовского напечатана специальная статья, посвященная марксистскому анализу языка. Показательно, что эта статья занимает всего девять строк (для сравнения укажем, что понятию «трансформации» посвящено в словаре три страницы, а понятию «глубинной структуры» — около двух страниц). Дело, однако, не ограничивается сравнительным объемом статей. Содержание указанной статьи показывает, что автор не только не понял, но и исказил суть марксистского анализа языка. В статье утверждается, что марксистский анализ языка «стремится» будто бы к исследованию лишь одной проблемы — соотношения языка, мышле-

ния и действительности на основе... «партийно-тенденциозного марксизма» (parteiideologischen Marxismus — sief!) и что этот анализ якобы «несовместим» с такими категориями, как «социальный слой» или «социальная значимость», «социальный статус» того или иного языкового явления.

В этой связи необходимо прежде всего указать на следующее высказывание В. И. Ленина, которое с предельной ясностью раскрывает истинную подоплеку «скепсиса» Т. Левандовского в отношении марксистского анализа языка: «...за гносеологической схоластикой эмпириокритицизма нельзя не видеть борьбы партии в философии, борьбы, которая в последнем счете выражает тенденции и идеологию враждебных классов современного общества. Новейшая философия так же партийна, как и две тысячи лет тому назад»⁹. В самом деле, Т. Левандовский отнюдь не чужд философским вопросам, а излагаемые в его словаре лингвистические (а нередко и псевдолингвистические) понятия неизменно покоятся на определенном философском основании. Но какова та философия, которой придерживается Т. Левандовский?

Внимательное ознакомление с его словарем не оставляет сомнения в том, что он является поборником наиболее реакционных, наиболее идеалистических философских течений современности — неопозитивизма, ментализма, «общей семантики», теории «черного ящика», неогумбольдтианства, лингвистического детерминизма и др. Всем этим философским направлениям в словаре Т. Левандовского посвящены подробные статьи, снабженные цитатами из произведений представителей соответствующих философских школ. Специальные статьи в рецензируемом словаре посвящены изложению реакционной «философии повседневного языка» (ordinary language philosophy) и так называемой «критике языка» (Мур, Витгенштейн), согласно которой язык якобы «затрудняет» выражение мыслей или даже «искажает» их (стр. 649). К сожалению, в словаре Т. Левандовского не нашлось места для важнейших философских концепций нашего века — диалектического и исторического материализма.

В словарь включена специальная статья, в которой автор дает свое понимание философских проблем языкознания (стр. 658—660). В этой статье, однако, нельзя найти ни слова о том, что марксистский анализ языка в качестве основных проблем рассматривает не только, как думает Т. Левандовский, соотношение языка, мышления и действительности, но и социальную природу языка. Даже в специальной статье, посвященной социолингвистике (стр. 617—621),

⁹ В. И. Ленин, Полн. собр. соч., 18, стр. 380.

ничего не сказано о том, что именно советским, а не американским лингвистам принадлежит заслуга создания и успешной разработки социолингвистики. Вместе с тем, особо подчеркивая роль социолингвистики в обучении языку, Левандовский указывает на «облагораживающее» влияние «высших слоев общества» на «низшее» в рамках так называемого «компенсаторного», или «эмансипирующего» обучения языку, в терминах которого он и толкует понятия «социальный слой» и «социальный статус», якобы отрицаемые марксистами¹⁰. В свете «компенсаторного» обучения представители «высших» слоев общества якобы дают возможность людям из «низшего» социального слоя «развить» свои способности, которые, по мнению представителей этого учения, обычно будто бы находятся в «рудиментарном состоянии».

Ничего не сказано в словаре Левандовского и о том, что первостепенную роль в марксистском анализе языка, наряду с уже перечисленными вопросами, играет рассмотрение языка как главного орудия и средства человеческого общения. Более того, в указанной статье словаря Т. Левандовского вообще нет упоминания о философских проблемах языкознания, возникающих в рамках марксистской философии¹¹, таких, как движение от низшего к высшему и переход количества в качество, положение о единстве и борьбе противоположностей как основном факторе развития, соотношение категории общего, частного и отдельного¹², положение о материальной природе языка и соотношении материального и идеального в языке и др. Напротив, в качестве «основополагающего» тезиса философии языка Левандовский приводит на стр. 659 цитату из Витгенштейна: «границы моего языка — это границы моего мира»: именно этот тезис, по мнению Г. Патцга, «задает тон» в философии нашего времени (буквально так и написано в словаре!). Для ознакомления с вопросом о соотношении языка и действительности (стр. 631) Т. Левандовский, как это ни странно, отсылает читателя к напечатанным в его словаре специальным статьям, посвященным... теории Сепира — Уорфа, грамматике, ориентированной на содержание (Л. Вайсгербер), и «принципу лингвистической относительности» Д. Хаймса.

¹⁰ Ср. вышедшую в той же серии, что и словарь Т. Левандовского, книгу: В. W e i s g e r b e r, Elemente eines emanzipatorischen Sprachunterricht, München, 1973.

¹¹ Ср.: А. С. Мельничук, Философские вопросы языкознания, ВЯ, 1975, 5.

¹² Ср.: М. М. Маковский, Соотношение индивидуальных и социальных факторов в языке, ВЯ, 1976, 1.

На стр. 379 словаря Т. Левандовского приводится специальная статья «Пустая формула» («Leertotzeln»). Как известно, этот термин употребляется в логике для обозначения одного из видов силлогизмов. Поскольку сам термин «силлогизм» в словаре не разбирается (что совершенно справедливо, ибо этот термин имеет и языкознание лишь косвенное отношение), возникает вопрос, зачем понадобилось автору специально останавливаться на термине «пустая формула»? Ответ на этот вопрос, видимо, дают те примеры, которые он приводит для иллюстрации указанного понятия. Так, Т. Левандовский, в частности, утверждает, что диалектика Гегеля представляет собой... собрание «произвольно манипулируемых пустых формул» (sic!), хотя он и ссылается при этом на Э. Топича.

Бессмысленность и реакционный характер подобных утверждений вполне очевидны и не нуждаются в опровержении. Диалектика Гегеля явилась вершиной в развитии домарксистской диалектики и справедливо называлась еще А. И. Герценом «калгеброй революции». Известно, как высоко ценили диалектику Гегеля К. Маркс, Ф. Энгельс и В. И. Ленин. В. И. Ленин писал: «Гегелевскую диалектику, как самое всестороннее, богатое содержанием и глубокое учение о развитии, Маркс и Энгельс считали величайшим приобретением классической немецкой философии»¹³. И в другом месте: «Гегель гениально угадал диалектику вещей (явлений, мира, природы) в диалектике понятий»¹⁴. Все сказанное подтверждает то положение, что круг терминов, приводимых или не приводимых в любом лингвистическом словаре, а также их интерпретация под определенным углом зрения, всецело зависят не только от теоретического сдвеха автора, но главным образом от его философской ориентации. При этом чем более идеалистична философия, которой придерживается тот или иной ученый, тем более бесперспективны и оторванные от действительности теории он пропагандирует в своей области науки.

Среди основных целей лингвистического анализа Т. Левандовский называет ряд процедур, которые являются, как нам представляется, совершенно чуждыми по отношению к языку и никак не отражают его истинную природу. Таковы дистрибутивный и компонентный анализы, а также так называемый «анализ содержания» (Inhaltsanalyse), представленные работами Л. Вайсгербера, Э. Косериу, У. Вайнрайха, Э. Лейна и др. Отметим, в частности, что «анализ содержания»

¹³ В. И. Ленин, Полн. собр. соч., 26, стр. 53.

¹⁴ В. И. Ленин, Полн. собр. соч., 29, стр. 178. Ср. также: В. И. Ленин, Полн. собр. соч., 45, стр. 30.

строится главным образом на основе субъективного толкования языковых фактов, рассматриваемых в свете перенесенных на семантику понятий фонологии, в рамках которых выделяются инвариантные семы, архисемы, архилексемы, классемы и др.¹⁵

Не менее важными при анализе языка оказываются для Левандовского и так называемые «языковые игры» (Sprachspiele) Витгенштейна, а также семиотические и логические манипуляции в рамках «прагматики», хотя он и вынужден признать, что все эти процедуры выходят далеко за пределы лингвистики (стр. 284). Особо хотелось бы выделить кочующее из одного лингвистического словаря в другой (и, естественно, нашедшее свое место и в словаре Левандовского на стр. 536) понятие «избыточности» (gespr. недостаточности). Поскольку лингвистика является прежде всего наукой о человеке и его языке, она призвана изучать человеческий язык таким, какой он есть на самом деле, со всеми его «непоследовательностями» и «отклонениями» от «правил», если эти «отклонения» действительно свойственны языку и являются его неотъемлемыми признаками.

Количество опечаток в словаре Т. Левандовского невелико. На стр. 266 (1,

2 и 3-я строки снизу) по вине типографии произошло перемещение строк, на стр. 709 в списке литературы к статье «Синонимия» допущена ошибка: вместо напечатанного Harres R., Synonymy and linguistic analysis, 1972 следует читать: R. Harris, Synonymy and linguistic analysis, Oxford, 1973; на стр. 168 в списке литературы к статье «Эллипсис» вместо напечатанного Franz W., Ellipse und Bedeutungswandel. Englische Studien 62; 1927/1928 следует читать: W. Franz, Ellipse und Bedeutungswandel, «Englische Studien», 72, 1937—1938.

Не подлежит сомнению, что рецензируемый словарь никак не отражает ни сущность, ни проблематику, ни перспективы лингвистики как подлинно гуманитарной науки. Перед нами своеобразный компендиум того абстрактного и оторванного от жизни языка лингвистического (скорее терминологического) «новаторства», которое захватило и увлекло в послевоенные годы определенную часть лингвистов. Создаваемые представителями этого течения искусственные лингвистические «конструкты» представляются совершенно бесплодными и ни в коем случае не должны подменять собой исследование подлинного, живого человеческого языка, ибо только такое исследование является истинным и единственным объектом лингвистики.

М. М. Маковский

¹⁵ Ср.: D. A. B e r g s t r o m b i e, Pseudo-procedures in linguistics, «Studies in phonetics and linguistics», London, 1965.

В. И. Максимов. Суффиксальное словообразование имен существительных в русском языке. — Л., изд-во ЛГУ, 1975. 224 стр.

Различные типы славянского и русского словообразования давно уже привлекают внимание лингвистов. В последние годы, в связи с проблемой специфики слова в различных языках, вопросы словообразования и структуры слова приобрели особую остроту и актуальность. Словообразование постепенно превращается в самостоятельный раздел языкознания со своим объектом и методом исследования, со своими особыми проблемами.

Ряд монографий и значительное количество статей, посвященных словообразованию, рассматривают методы и принципы морфемного и словообразовательного анализа, способы словопроизводства, понятие словообразовательной системы, отношение словообразования к лексикологии и грамматике, историю и функционирование отдельных словообразовательных средств и другие общие и частные проблемы. И все-таки словообразование в целом, как и отдельные стороны его, изучены еще далеко не доста-

точно. Вот почему появление серьезных исследований в этой области встречается с большим интересом. К таким исследованиям, несомненно, относится рецензируемая книга В. И. Максимова, в которой освещаются некоторые важные вопросы теории русского именного словообразования, связанные с пониманием природы суффиксов как значимой части слова и особенностями их функционирования в русском языке на разных этапах его истории.

Большое место в исследовании занимают впервые отчетливо поставленные в совокупности вопросы о роли каждого из непосредственно составляющих элементов в процессе суффиксального словообразования. Производное слово со стороны плана содержания и плана выражения представляет сложное явление. Суффиксальное существительное обладает не только определенной материальной (звуковой) оболочкой и акцентными приметами, но и лексико-грамматическим (частеречным) значением предметности,

категориальными значениями рода, одушевленности — неодушевленности, числа, падежа, разрядным, лексическим и т. д. Кроме того, такое существительное характеризуется теми или иными экспрессивно-стилистическими, а нередко и оценочными свойствами.

Автор ставит цель выяснить: а) из чего складываются эти внешние и внутренние характеристики суффиксального производного, если учесть, что в его образовании непосредственное участие принимают три компонента: производящее слово (основа), суффикс и флексия; б) какова роль каждого из этих компонентов в формировании указанных особенностей производного. Эти вопросы весьма важны и в плане общей теории словообразования, и в плане практического анализа представленного в монографии материала. Они вместе с тем достаточно сложны, ибо, хотя о производящих основах, суффиксах и флексиях писалось много, вопрос о влиянии каждого из этих компонентов на формирование материального и смыслового облика слова и об их взаимодействии изучен еще далеко не достаточно.

Этим вопросам посвящены три главы первой части рецензируемой книги. В I главе В. И. Максимов проводит прежде всего четкое разграничение понятия «производящего слова» и «производящей основы». Отправной точкой в процессе деривации он справедливо считает производящее слово. Последнее, составляя материальный костяк производного, выступает в нем, как правило, в измененном виде, подчиняясь морфологическим закономерностям сочетания с последующими суффиксами. Производящая основа — это та часть производящего слова (формальномогущая и совпадая с ним), которая непосредственно представлена в структуре производных. В связи с этим выделяются следующие виды производящих основ: а) в зависимости от соотношения их с одним словом или их сочетанием: одичленные (*краснота*) и многочленные (*белоручка*); б) в зависимости от характера их отличий от основы синтаксической формы слова: полные, т. е. формально равные обычной основе слова — *паромщик* (*паром*), усеченные, которые в процессе словопроизводства частично сокращаются, — *дерзость* (*дерзкий*), и наращенные, получающие те или иные наращенные, — *кофейник* (*кофе*).

Раскрывая избирательную направленность производящих слов (основ), В. И. Максимов показывает, какими особенностями последних бывает обусловлен выбор суффиксов. Картина проявлений этой избирательности оказывается сложной и противоречивой, она зависит от многих грамматических, структурных, семантических, стилистических и морфологических, причем часто перекрывающихся, характеристик производя-

щих слов. Автор, в частности, отмечает рост в русском языке случаев соотносительности суффиксов, под которыми понимается такое явление, когда конечный суффикс производящего слова обуславливает употребление определенного суффикса в производном (параллельная соотносительность суффиксов типа *летчик — летчица* и последовательная — типа *воспитатель — воспитательница*).

В последнее время делаются попытки заменить понятие производящей основы иными понятиями, по существу прямо не связанными с процессом словообразования. Так, Н. М. Шанский понимает под производящей основой «семя, являющуюся по отношению к анализируемому слову тем, что мотивирует его как определенную языковую единицу и выступает в качестве его семантической и материальной базы»¹. В такой трактовке, как признает и сам Н. М. Шанский, производящая основа может быть не только основой, от которой действительно образованы или образуются те или иные производные, но и основой (частью слова или словосочетания, в том числе предложно-именного), которая в настоящее время лишь осознается таковой по причине морфологических изменений, затронувших структуру анализируемых производных.

Представляется, однако, что такое совмещение двух разных понятий в одном термине мало способствует раскрытию сущности словообразовательного процесса. Каждый термин должен быть достаточно ясен и должен отграничивать сопредельные, но не тождественные понятия, относящиеся, с одной стороны, к образованию слов, а с другой — к их членению. Производящая основа (в прямом смысле этого слова) является неотъемлемым элементом (одним из непосредственно составляющих) словообразовательного типа, функционировавшего или функционирующего в языке. Те же части производных слов, которые в настоящее время лишь воспринимаются как их мотивирующие, компоненты ни одного из типов словообразования не являются.

Отличие семы от производящей основы состоит в том, что первая представляется только материальной и семантической базой производных, последняя же влияет и на выбор аффиксов, определяет акцентные и экспрессивно-стилистические особенности образуемых от нее слов. Исходя из высказанных соображений, нам представляется, что автор прав, когда, рассматривая собственно словообразовательный процесс, оперирует терминами «производящее слово» и «производящая основа».

Рассматривая роль суффиксов и окончаний в процессе их деривации, В. И.

¹ Н. М. Шанский. Очерки по русскому словообразованию. М., 1968, стр. 38.

Максимов выступает против тезиса,двигаемого рядом исследователей, согласно которому лексико-грамматическое значение производного выражается при помощи всех элементов слова как языковой единицы. В. И. Максимов считает, что главная роль принадлежит здесь словообразовательным суффиксам, строго распределенным между частями речи, что при образовании слов разных лексико-грамматических классов используются в подавляющем большинстве случаев неперекрывающиеся суффиксальные подсистемы.

Подход автора к субстантивным категориям рода, одушевленности — неодушевленности, числа как к лексико-грамматическим, а не чисто грамматическим категориям, позволяет ему связать формирование соответствующих категориальных значений у производных существительных также с влиянием суффиксов. Принципиально важным является в разграничении таких понятий, как словообразовательное (derivativное) значение суффиксов, под которым понимается общее значение, придаваемое ими производным, и разрядное значение, которым обладают группы (разряды) последних.

Особое место при раскрытии словообразовательной роли суффиксов занимает в монографии характеристика их стилистических, оценочных и эмоционально-экспрессивных свойств. В. И. Максимов разграничивает понятия «стилистическое свойство» суффиксов и «стилистическая окраска» образованных при их посредстве конкретных слов. Он исходит из того, что стилистические свойства суффиксов носят обобщенный характер по отношению к группе слов, однородных не только типологически и семантически, но и стилистически, что открывает возможность группировки суффиксов по тому же принципу, что и лексики: с нейтральным, разговорным и книжным («строгим») стилистическим потенциалом. Интересны наблюдения, касающиеся наложения стилистического «поля» суффиксов на их семантическое «поле», стилистического параллелизма, исторического изменения или размытия стилистической окраски суффиксов и др.

В. И. Максимов последовательно проводит различие между стилистическими свойствами суффиксов, предопределяющими сферу употребления того или иного новообразования, и их оценочным и экспрессивным потенциалом. Автор указывает некоторые группы оценочных суффиксов, например, *-л(а)*, *-ав*, *-щим(а)*, но отмечает «отсутствие в русском языке суффиксов, способных — через посредство образуемых ими слов — передавать определенное чувство или какую-то комбинацию их» (стр. 36). В то же время автор выделяет суффиксы, способные усиливать выразительность слов и даже дифференцировать выражаемые чувства

по их силе: «огрубляюще-экспрессивные» — *-енци(а)*, *яг(а)*, *-юг(а)* и «смягчающе-экспрессивные» — *-ок*, *-чик*, *-ик*.

Значительное место в работе уделено роли окончания в словообразовании. Автор отмечает прямую зависимость выбора производными системы окончаний от конечного суффикса и приводит ряд убедительных доказательств, что флексии не принимают участия в формировании ни разрядного, ни лексического значения суффиксальных производных. Отмечается также тесная связь окончаний с суффиксами на примере акцентного потенциала первых, зависящих от типа суффиксов, с которыми они сочетаются (ср. *солбмина* и *глузотѣ*).

В IV главе первой части книги рассматривается вопрос о типе суффиксального словообразования, выдвигается и обосновывается система понятий, включающая не только основные единицы деривации (словообразовательного типа), но и подчиненные им единицы (варианта типа, семантического подтипа, модели, подмодели, образца). Таким образом, выстраивается целая цепь иерархически подчиненных словообразовательных единиц. Дальнейшее изучение истории функционирования других аффиксов покажет, насколько универсальны предложенные схемы.

Вторая часть рецензируемой книги — «Суффиксы *-ин(а)* и их производные в русском языке» — посвящена исследованию истории омонимичных суффиксов *-ин(а)* и их производных в русском языке, начиная с первых письменных памятников. Речь идет о группе омонимичных суффиксов, различия по происхождению, восходящих к праславянской эпохе, а возможно, и индоевропейской. Постепенно суффиксы обрели новыми значениями, дали свои отпочкования. Будучи весьма продуктивной на всем протяжении истории древнерусского, старорусского и современного русского языка, эта довольно многочисленная группа суффиксов с весьма разветвленными значениями дала огромную массу производных. Различные и близкие по своим компонентам, соответствующие словообразовательные типы взаимно влияли друг на друга, сходились и расходились, что привело в конечном счете к необычайно пестрой и запутанной картине их взаимоотношений. Перед автором стояла сложная задача распутать весь этот клубок тесно связанных друг с другом словообразовательных единиц и соответствующих суффиксальных производных, проследить историю каждого непроизводного суффикса и отпочковавшихся от них суффиксов, т. е. историю большой группы форматов.

Такая задача впервые ставится в русистике, ибо до сих пор в лучшем случае дело касалось истории того или иного отдельного аффикса в тот или иной пе-

риод развития языка. Новым в подходе к анализу конкретного материала является и то, что автор привлекает этот материал из источников разных периодов русского языка, начиная от древнейшего и кончая современным, разных жанров, сфер употребления, письменных и устных, общепородных и диалектных. Это дало ему возможность нарисовать развернутую историю всех рассматриваемых словообразовательных единиц и соответствующих производных во всей ее сложности и многоаспектности. Вместе с тем такой подход помогает лучше понять и современную систему русского словообразования (прежде всего, конечно, в исследуемой ее части), выявить закономерности ее развития в целом и функционирования отдельных ее элементов.

В I главе второй части книги прослеживается история суффикса *-ин(а)* в древнейших отадъективных образованиях и его производных. Автор сразу же столкнулся здесь с вопросом, породившим давние споры, но оказавшимся не решенным до сих пор, — о первичности в суффиксе *-ин(а)* конкретно-предметного или абстрактного значения и о последующем соотношении их. Опираясь на имеющиеся данные о формальных и семантических соответствиях суффикса *-ин(а)* в родственных языках, в том числе и на факты различной акцентировки соответствующих производных, В. И. Максимов высказывает мысль о том, что первоначальным у суффикса *-ин(а)*, сочетавшегося издревле с прилагательными, было значение не абстрактного признака (*тѣлѣстѣина* «толщина») и не предметно-конкретное (*тѣлѣстѣина* «толстая, грубая ткань»), а носителя признака вообще (стр. 120). Убедительны свидетельства об исконно русском происхождении суффикса *-щин(а)* в названиях областей типа *Костромщина*; о незагущающей продуктивности суффикса *-ин(а)* со значением отвлеченного качества в народном языке и его неконкурентноспособности по сравнению с синонимичными суффиксами в литературном, книжном; о всплеске продуктивности в XV—XVI вв. суффикса *-щин(а)*, вносящего значение подати; о формировании в XVIII в. и активизации в дальнейшем суффиксов *-щин(а)*, *-овщин(а)*, вносящих значение общественного или бытового явления; о их различном стилистическом потенциале: разговорном в субстантивных и адъективных моделях (*дѣлѣшѣйщина*, *бесовщина*) и книжном в подмодели с производными собственными именами (*галилетовщина*); об условиях, способствующих появлению у них отрицательно-экспрессивного потенциала.

В споре о первичности в суффиксах *-ин(а)* абстрактного или собирательного значения В. И. Максимов высказывает свою точку зрения: праславянское происхождение последнего представляется недоказанным, появление его в древне-

русском языке связано с переосмыслением производных типа *община*, *десятирина*. Не менее любопытная картина наблюдается при описании суффиксов *-щина(а)*, *-овщин(а)* с собирательным значением, возникших независимо, с одной стороны, в результате переразложения в отадъективных словах типа *братщина*, а с другой, на базе существительных типа *поповщина* с переносным значением «попы», а потом слившихся в один тип (стр. 108—124).

II глава этой части книги содержит историю суффикса *-ин(а)* со значением продукта, непосредственно получаемого от животных. В. И. Максимов отходит здесь от традиционной точки зрения, приписывающей суффиксу *-ин(а)* в данном случае только значение мяса. Суффикс *-ин(а)* с последним значением представляет только один из семантических подтипов, вторым выступает этот же формант со значением шкуры животных (*ярина*, *овчина*). В работе прослеживается также история производных формантов с той же семантикой — *-овин(а)* и *-ятин(а)*, детали конкурентной борьбы последнего с синонимичными суффиксами, указываются причины его большей активности в настоящее время и т. д.

В III главе содержится также немало материалов и наблюдений, существенно уточняющих представления о ряде весьма актуальных элементов словообразовательной системы русского языка. Прежде всего это следует сказать о суффиксе *-ин(а)* с усилительным (экспрессивным) значением, словообразовательный тип с которым впервые описан в работах В. И. Максимова. Известно, что до последнего времени этот формант отождествлялся с увеличительным и сингулятивным суффиксом *-ин(а)*. Оказывается, соответствующие производные имеют и особый план выражения — сложную родовую характеристику, зависящую от типа производящих слов. Эти производные могут быть не только женского или мужского рода, но и общего, что раньше не отмечалось в грамматиках.

О важности отграничения особого, усиленно-экспрессивного значения у суффикса *-ин(а)* можно говорить с разных сторон. Во-первых, он был весьма продуктивным на всем протяжении письменной истории русского языка; во-вторых, функционирование его в языке еще в дописьменную эпоху объясняет наличие большого количества лексических дублетов (типа *дола* — *долина*, *гига* — *гигина*, *оскома* — *оскомина*), один из которых содержит как будто бы исконно десемантизированный суффикс *-ин(а)*; в-третьих, выделение в суффиксе *-ин(а)* особого усилительного значения дает ключ к расшифровке семантики и многих других аффиксов: *-юг(а)* — *шоферюга*; *-яг(а)* — *паряга*, *-енци(а)* — *вечеренция*; в-четвертых, это помогает раскрыть историю

единичного и увеличительного суффикса *-ин(а)*.

Эта история впервые представлена в книге В. И. Максимова. Он установил, что единичные значения появились у суффикса *-ин(а)* позднее в конечном счете на базе усилительного. «В древнерусском языке, — отмечает автор, — скопился группа производных с ранее усилительными суф. *-ин(а)*, которые вследствие выпадения производящих слов или иных причин стали названиями единичных предметов, непосредственно соотносящимися с названиями, обозначающими совокупность или множественность тех же самых предметов. По внешней аналогии с ними появились тогда же и первые образования непосредственно с суффиксом *-ин(а)*, имеющим единичное значение» (стр. 167); ср. *хорожъ* — *хорожи* — *хорожина* и *харастина* «хворостина». В. И. Максимов проследживает дальнейшее формирование моделей с этим суффиксом, получившим в конечном счете еще и значение части (*золото* — *золотина*). Таким образом, оказалось, что спигулятивное значение суффикса *-ин(а)* — лишь одна сторона (образующая семантический подтип) более общего выделительного значения.

Нельзя не согласиться с В. И. Максимовым и в том, что увеличительное значение суффикса *-ин(а)* также «является вторичным по отношению к усилительному и единичному, сформировалось под воздействием контекстов, включающих лексические или итнонациональные средства, подчеркивающие необычную величину называемых объектов» (стр. 183—184). В книге приводятся обширные материалы, подтверждающие этот тезис; во многом уточняется родовая характеристика как производящих существительных, с которыми сочетается увеличительный суффикс *-ин(а)*, так и соответствующих производных, стилистические особенности последних. В монографии убедительно доказывается, что и некоторые другие суффиксы — *-ин(а)*, *-овин(а)* с предметно-сравнительным значением, во многом *-ин(а)* с предметным, вещественным, страдательным значением и значением отвлеченного действия / состояния в глагольных моделях — восходят к усилительному суффиксу *-ин(а)*, что еще раз подчеркивает его немаловажную роль в русской словообразовательной системе.

В рецензируемой книге поднято немало других интересных вопросов, например, о распределении и употреблении рассмотренных словообразовательных типов (моделей) в общенародном языке и в говорах, о расширении базовых суффиксов за счет конечных суффиксов производящих слов, относящихся лишь к определенным частям речи (существительным, прилагательным или глаголам), о неправомерности рассмотрения этих приращенных суффиксов как «звуковых прокладок»,

или интерфиксов (Е. А. Земская)², о регулярных и нерегулярных словообразовательных типах (подтипах), моделях (подмоделях), о соотношениях внутренних закономерностей развития суффиксальной системы и экстралингвистических факторов, влияющих на это развитие³. Особый интерес представляет вопрос о путях формирования словообразовательного значения у суффиксов. Если семантическое обогащение лексики происходит большей частью путем метафоризации, то возникновение новых значений у суффиксов идет иными, более сложными и разнообразными путями, которые еще почти не подвергались исследованию. Тем большую значимость имеют наблюдения и выводы В. И. Максимова в этой области на основе анализа большой группы суффиксов.

Конечно, не все наблюдения и выводы, содержащиеся в книге В. И. Максимова, представляются одинаково бесспорными. Ряд моментов нуждается в более серьезном обосновании и в подтверждении новыми материалами. Например, недостаточно доказано положение о том, что флексии не принимают участия в формировании разрядного и лексического значения суффиксальных производных. Здесь автор книги проявляет непоследовательность, забывая о том, что окончание относится к нему непосредственно составляющим суффиксальное производное в русском языке. Нельзя согласиться с некоторыми формулировками значений суффиксов: суффикс *-шин(а)* «с податным значением», суффикс *-щин(а)*, *-овщин(а)* «со значением общественного или бытового явления». Такая конкретизация значения аффиксов приводит к тому, что формирование лексического значения производного слова определяется целиком суффиксом.

Мы не ставили задачу рассмотреть все выводы, наблюдения и материалы, содержащиеся в монографии. Но и сказанное позволяет заключить, что перед нами

² Аналогичная точка зрения высказана также А. А. Деметьевым в статье «О так называемых интерфиксах» в русском языке (ВЯ, 1974, 4, стр. 120).

³ Здесь впервые на широком материале словообразования найдено подтверждение положению Ф. П. Филина о том, что «природа языковых изменений оказывается двойственной. С одной стороны, язык развивается согласно своим внутренним законам, заложенным в нем возможностями изменяться в том или ином направлении. С другой стороны, не все возможные изменения реализуются. Та или иная их реализация предопределяется общественными факторами, связанными с функциями языка в обществе» (Ф. П. Филин, К проблеме социальной обусловленности языка, в кн.: «Язык и общество», М., 1968, стр. 14—15).

глубоком исследовании ряда важных проблем русского словообразования. Автор монографии показал, что самый процесс образования слов много сложнее, чем это представляется при рассмотрении некоторых сторон и вопросов в их отдельности, разобщенности. Он сложнее по взаимообусловленности и взаимосвязанности участвующих в словообразовании компонентов, роль которых до сих пор рассматривалась прене-

брежительно в составе однородных категорий, а поэтому и не получила исчерпывающей характеристики. Сложный комплекс различных элементов, органически соединенных в слове, при анализе каждой из его сторон требует всестороннего исследования. Этим путем автор монографии получает убедительные, надежные и интересные выводы.

Ф. П. Сороколетов

Г. П. Клепикова. Славянская пастушеская терминология. Ее генезис и распространение в языках карпатского ареала.— М., «Наука», 1974. 256 стр.

Исследование Г. П. Клепиковой, опытного диалектолога и лингвотогеографа, основывается на материалах опубликованных карт «Карпатского диалектологического атласа» (М., 1967) и его данных, оставшихся пока в рукописи, на фактах многочисленных диалектологических монографий и словарей, а также на работах этнографического характера. В рецензируемой монографии центральное место отводится описанию карпатоукраинской терминологии горного овцеводства или, как пишет автор, терминологии «традиционного пастушества», «бытующей в славянских языках». Украинский диалектный материал сравнивается с соответствующими сведениями других славянских и неславянских языков карпатского, карпато-балканского и северославянского ареалов.

Изучение языкового аспекта данной проблемы проводится на этнографическом фоне в соответствии с известным методом «слова и вещи». Сходство экономики в зоне Карпат, обусловленное отгонным скотоводством (основной вид хозяйственной деятельности), привело к значительной общности материальной и духовной культур народов, различных по происхождению, к образованию общей для этих народов терминологии, обособившей жителей карпатского региона от основной части их соплеменников.

Среди проблем изучения материальной и духовной культур народов севернокарпатского ареала автор выделяет проблему «валахской» колонизации, учитывая ее экономический, социально-правовой, культурно-исторический и лингвистический аспекты. Миграцией пастушеского населения с Балканского п-ова в Северные Карпаты можно объяснить генетическую связь пастушества этих регионов. Исконный «балканский» тип пастушества лучше сохранился у восточнороманского населения, занимавшего, очевидно, в средние века горные массивы между указанными выше крайними регионами. «Валахи»

гомогенные в этническом отношении в начале миграции из Центральных Карпат (Трансильванских гор), становятся постепенно этнически гетерогенными. Явный восточнороманский характер «валахской» колонизации Закарпатской Украины в XIV в. ассимилируется затем славянской (западноукраинской, словацкой) средой, ослабевая на пути продвижения миграционных волн в Восточные, Средние и позже Западные Карпаты (XV—XVII вв.). Лингвистическими последствиями этих этнических и социальных процессов являются общие черты в области лексики и семантики главным образом в разряде профессиональной пастушеской терминологии, в которой явно прослеживается влияние «валахской» колонизации» (стр. 26).

В данной монографии задачей Г. П. Клепиковой является изучение терминологии пастушества методами лингвистической географии, интерпретация терминов, воссоздание их истории в диалектах карпатской зоны, что будет способствовать в будущем решению сложных этимологических проблем, выявление в карпато-балканской области диалектных зон, принадлежащих близкородственным языкам и неродственным языкам, которые характеризуются лексико-семантическими общими признаками, с целью восстановить историю взаимодействия языков и диалектов, народов и их культур в разные периоды, уточнение стратификации карпатской лексики и семантики, т. е. выделение «балканизмов» и «карпатизмов».

Задача, стоящая перед автором, трудна. Об этом свидетельствуют и те немногие лингвистические работы, посвященные карпатской терминологии пастушества, которые рассматриваются Г. П. Клепиковой в конце «Введения» (стр. 34—36).

В первой главе «Названия животных по полу, возрасту и другим признакам» анализируются термины, выраженные лексемами с корнями *p(V)řč(k-)*, **tsap*, **pъrv-*, **nelъp-*, **birka* (*byrka*), **bъl-*,

+bal(bál-), brez(br'az-), bar(d)z-, +vakeša, +kornut(a), +šut, +čul и под., которые обозначают также характерные особенности животных в связи с их полом и способностью к размножению, с качеством шерсти, с их мастью, с формой и величиной рогов, с внешним видом этих домашних животных и др. В работе Г. П. Клепиковой даны зоны распространения исследуемых терминов. Одни пастушеские термины зафиксированы на значительной территории, охватывающей карпатобалканский регион [p(V)rč(k-), +tsap, +bai(bál-), brez(br'az-), +šut и +čul], другие — главным образом, карпатский [pərv-, +nelēp-, +birka(byrka), bar(d)z-, +vakeša, +kornut(a)] и др.

При изучении перечисленных выше пастушеских терминов автор не обходит и вопрос об их происхождении. Одни термины являются исконными в славянских диалектах (**perk*, **peru-*, **nělep-*), другие — заимствованными, чаще из восточнороманских диалектов: **tsap*, **bal* (*bāl*), **brez* (*br'az-*), *bar* (*diz*), **vakeša*, **kornut(a)*, **šut*, **čul*, и реже из венгерских — **birka* и др. Таким образом, значительную роль в распространении пастушеских терминов в карпато-балканской зоне играло кочевое пастушеское население, романоязычное по своему характеру.

Некоторые термины заимствованы из славянских языков непосредственно и опосредованно, например, болг. *нѣлка* → восточнороманские говоры *нелка* — *нелатка*; слав. **ръкъ* → рум. *prci* → венг. *pr̥šilodik*, *percselónek*. В юго-западной Македонии *цап* — заимствование из албанского или аромунского, в венгерских говорах — из румынского. О давности заимствования свидетельствует наличие топонимов иноязычного происхождения: *Cutje Pleso*, *Kornuty*, *Szuty*, *Sutbez*, *Suttö*, *Sutovo*, *Culié* и др.

Вторая глава «Термины, связанные с доением и переработкой молока» посвящена рассмотрению некоторых названий молочных продуктов, молочного производства и др., выраженных лексемами с корнями *mbz-, *dof-, *c(V)rkati-, *kolastra-, *melzivo-, *šer-, *žentica-, *(d)zer-, *var-, *urda-, *syrvatka-, *kl'ag (gl'ag), *ryndza-, *bu (n) (d)z.

Эти термины бытуют на разных по величине территориях, будучи характерными для карпато-балканского массива [*dofiti (< *dof), *c(V)rkati, *kolastra, *melsivo, *sēr-, *žentica, *var-, *urda, *syvauka], для карпатской зоны [+ (d)zer, *kl'ag (g'l'ag), *rynda, buk(n)(d)z] или для балканской [musti (< *mьlz)]. Некоторые термины аттестованы в белорусских, русских и других говорах [+c(V)rkati, *sēr-, *g'l'ag].

Большая часть терминов, связанных с доением и переработкой молока [+kɔlastra, +ʒɛntica, +(d)ʒer, +urda, +kl'ag (gl'ag), +rɯndʒa, +bu(n) (d)z (bulz)] заим-

ствована в диалектах славянских, венгерского и греческого языков из восточно-романских диалектов, очевидно, в период «валашкой» колонизации. Исконно славянскими являются лишь термины с корнями **mlz-*, **doj-*, **c(V)rkati*, **var-*, **survatka*. Следует отметить, что в современных говорах румынских и молдавского языков нет терминов славянского происхождения с корнями **mlz-*, **sér-*, **survatka*.

Названия построек, используемых в пастушестве, рассмотрены в третьей главе. Это термины **staja*, **stajn'a*, *stnā*, **salaš*, **obor(a)*, **košar(a)*, **tsar(o)k*, **okol*, **koliba*, **komarnik*, **podišar*. В карпато-балканском массиве отмечены **staja*, **salaš*, **obor(a)*, **košar(a)*, **okol*, **koliba* и **komarnik*, а в карпатской зоне — **stajn'a*, *stnā*, **tsar(o)k* и **podišar*.

Лексемы **staja*, **stajn'a*, **obor(a)*, **košar(a)* и **komarnik* известны также в белорусских, центральных украинских, русских и других говорах. Из восточно-романских наречий заимствованы лексемы *stînjă*, **tsar(o)k*, **koliba*, **komarnik* и *po-dišar*. Молдавским и румынским говорам неизвестны славянские термины **staja* и **stajn'a*. Отдельные термины сохраняются в тех или иных говорах и как топонимы: *Vobor*, *Oborky*, *Obořiska*, *Oborka*, *Obořna*, *Oboera*, *Oboři*, *Wielki Kozsar*, *Kořariska*, *Coșarele*, *Koșare*, *Koșariușetto*, *Koșariune*, *Koșarsko Vrdo*, *Koșarnik*, *Koșarnița* и др.

В «Заключении» изложены выводы Г. П. Клепиковой относительно «различных аспектов функционирования пастушеской терминологии в современных диалектах карпатского ареала, а также ее генезиса» (стр. 223). Для описания нескольких типов пространственных соотношений в рамках соответствующей лексической группы и для описания нескольких диалектных зон в качестве единиц сопоставления автор берет не отдельные пастушеские термины, а лексемы, выступающие в качестве указанных терминов (ср. лексемы **ženica*, **dzer*, **nevarka*). Г. П. Клепикова устанавливает, что в определенном континуме диалектов возникает междиалектная омонимия терминов и что полная омонимия в рамках минимальной единицы диалектного членения невозможна в принципе. Междиалектная омонимия может иметь и экстралингвистическое объяснение (формы горного пастушества, практика переработки овечьего молока на творог).

Автор описывает основные ареалы лексем, выражающих термины, которые анализируются в трех главах работы и относятся к разным разрядам пастушеской лексики. Карпатским является ареал лексем **vakeša*, **bu(n)(d)z*, **žentica*, **podišar*, **salaš*, на небольшой территории распространены термины *husl'anka*, *serbadz'anka*, *kvasnina* и др. Лексемы

*kornut, *balan (balaia), *tsark, *strunga, *ryn(d)za и др. установлены в карпато-балканской зоне, в которую, однако, зачастую не входят диалекты южнороманских языков. Некоторые лексемы, бытующие в карпато-балканском ареале, имеют восточнославянские параллели [+kř'ag, *šiu(a), *tsap, *c(V)rkali, *košar(a), *staja, s(y)r(o)vaika, *byrka, byrl и др.]. Лексема *obor(a) и лексемы с корнями p(V)rv-(es)ti-, doj- имеют восточно- и западнославянские соответствия.

Зонные ареалы, установленные Г. П. Клепиковой путем конфронтации материала рассматриваемых ею разрядов пастушеской терминологии, позволяют определить пути формирования указанной терминологии в севернокарпатских диалектах. Автор замечает, что многочисленные заимствования в карпатоукраинских говорах, идущие с юга и юго-востока, выступают в форме, в обличии «валашского» влияния, так как восточно-романская языковая среда была или первоисточником отдельных инноваций, или посредником при распространении «балканизмов». По признаку «исконный элемент — заимствование» в пастушеской терминологии карпатоукраинской зоны Г. П. Клепиковой выделяется ряд групп.

В числе «исконных терминов» отмечены узокодокальные названия, которые свидетельствуют об участии местных украинских говоров карпатского ареала в формировании терминологии пастушества (*husl'anka, kvasny, zastajka, drib, c'apaty, pervistka*), а также севернокарпатские украинские термины, которые имеют соответствия в балканских языках и мало известны или неизвестны в Южных и Центральном Карпатах (*staja, syrcaika*, термины с корнем *běl-, *var-, *prk-, neliuka, košara, okil*). Наличие в двух разобщенных ареалах сходных терминов «можно рассматривать как наследие более древней эпохи — эпохи, предшествовавшей «валашской» колонизации» (стр. 236).

В числе «заимствованных элементов» рассматриваются термины, имеющие параллели в других районах Карпат, главным образом на восточнороманской языковой территории. Как пишет автор, это «вклад „валашского“ населения в карпатоукраинскую терминологию». Их ближайшим источником являются чаще всего восточнороманские языки, хотя в этимологическом отношении они различны (стр. 236).

Некоторые карпатоукраинские термины, имеющие соответствия на Балканском п-ове, относятся к исконным «валашизмам», если они аттестованы только в балканороманских диалектах или если они проникли в нероманские диалекты из последних, а также к «балканизмам», если они имеют широкое распространение в языках и диалектах к югу от Дуная. Немногие карпатоукраинские термины

распространены и на северославянской территории. Их изучение в лингвогеографическом плане позволяет определять их исконный или заимствованный характер.

Исследование Г. П. Клепиковой терминологии пастушества в генетическом плане позволяет заключить, что основным ее источником в карпатоукраинских говорах и в диалектах других языков севернокарпатской зоны является язык кочевого «валашского» населения (табл. 5 на стр. 243—244). Наконец, для полной характеристики процесса формирования карпатоукраинской терминологии пастушества, помимо установления инвентаря лексем, определен и более значительный инвентарь терминов. Некоторые термины возникли в результате локальной семантической эволюции лексем (исконных и заимствованных).

В работе представлены карты и таблицы, наглядно показывающие, например, районы распространения отгонного скотоводства в Европе (стр. 18), пути передвижения пастухов в средние века и в современную эпоху (стр. 20), ареалы распространения анализируемых лексем (стр. 237—243), соотношения между реальными, семемами и лексемами (стр. 226) и др.

Следует, однако, отметить, что в рецензируемой монографии имеются отдельные неточности, а некоторые утверждения недостаточно проверены и аргументированы.

Заглавие работы — «Славянская пастушеская терминология» — шире ее содержания. В действительности анализируются карпатоукраинские материалы в сравнении с данными других славянских (и неславянских) диалектов определенного региона, а из терминологических разрядов пастушества обследованы неполно¹ лишь три (названия животных по полу, возрасту и другим признакам, термины, связанные с доением и переработкой молока, и названия построек, используемых в пастушестве). Попытки автора оправдать название работы кажутся неубедительными (стр. 3, 5—6, 223).

Ареалы распространения терминов нередко определяются по данным диалектных словарей и монографий. Например, *nyl'anka* — не *nyl'anka*, *balan* — *balaja*, *košara*, *čarok*, *okba*, *košba* — *kušba* и др. зафиксированы в некоторых украинских говорах юго-западной части Одесской обл. (южная часть быв. Бессарабии), смежной Николаевской обл. и др. по сведениям работ А. А. Моска-

¹ Перечисленные в «Заключении» (стр. 227—228) термины, относящиеся к первому разряду (*drib, drobieta*) и ко второму (*husl'anka, kvasnina, podbudz'anka*), в соответствующих главах не упоминаются.

ленно («Словник діалектизмів українських говірок Одеської області», Одеса, 1958), В. П. Дроздовского («Українські говірки Бесарабського Примор'я», Одеса, 1961), Т. П. Заворотной («Лексика українських наддунайських говірок», Ужгород, 1957) и др. (стр. 53—54, 63—64, 188, 200, 205, 209). Известно, что для такого рода работ сбор материала не проводится по определенной программе во всех обследованных соответствующим автором населенных пунктах, в результате чего не выявлены ареалы распространения лексем, не зафиксированы систематически разные их значения и не проверено надежно их происхождение. В украинских говорах Одесской, Николаевской и Черновицкой обл., находящихся в непосредственном соседстве с молдавскими говорами, заимствования являются следствием прямых контактов украинских говоров только со смежными молдавскими говорами. Следует считать упуцением отсутствие на стр. 53—54, 63—64 и др. молдавских диалектных форм и их значений: *нелянка* (*жукка де ~, вака де ~, а фатат де ~*) «корова, отелившаяся на втором году» (в большинстве исследованных пунктов для «Молдавского лингвистического атласа» — АЛМ), «корова, отелившаяся на третьем году» (в населенном пункте 121 АЛМ), *бел — белэ — бялэ* «чисто белая масть овцы, барана» (в юго-западной части МолдССР и Одесской обл. УССР), *блан — балаэ* «белая масть овцы» (в молдавских центральных, заднеднестровских и некоторых юго-западных говорах), «белая масть коровы, быка, лошади и их кличка», «белый (о лице человека)» (в большинстве исследованных на территории МолдССР пунктов для АЛМ), «белый (о зубах, о птице, о хлебе, вине, бумаге, известии и др.)» (спорадически в разных районах Молдавии) и др.²

Значения некоторых пастушеских терминов в молдавском ареале указаны лишь по словарю молдавского литературного языка («Дикционар молдовенеск-рускес», Кишинэу, 1961 — ДМР). Очевидно, из-за отсутствия материалов о значениях, собственных молдавским говорам, автор монографии делает вывод о независимом семантическом развитии заимствованных терминов. Например, в ДМР лексема *стынэ* зафиксирована со значениями «загон для овец», «сыроварня». В говорах Черновицкой обл. *стынэ* означает «летний загон для овец» (АЛМ, карта 155 — рукопись). С этим значением она была заимствована в украинском говоре Северной Буковины (В. А. Про-

копенко, Областной словарь буковинских говоров, в кн.: «Карпатская диалектология и ономастика», М., 1972, стр. 461). В других молдавских говорах (по материалам АЛМ, собранным В. А. Комарником, и по данным анкет В. В. Корчмарь) *стынэ* означает также «место, где скармливается овце молоко и где оно перерабатывается», «домик, где делают брынзу», «пастушеская стоянка вне села, включающая колыбу пастухов, поднавес и загороженное место для овец, а также пастухов и овец», «помещение, где доят овец», «помещение из досок, где живут пастухи», «дом, где делают брынзу и где находится одежда пастухов», «домик, где делают брыну, вместе с загонем, где содержатся овцы после дойки» и др.

Лексема *комарник* зафиксирована в молдавских говорах со следующими значениями: «полка, на которую кладут свежий овечий сыр, чтобы стекла с него жидкость» (северо-западная и центральная группы молдавских говоров), «наклонный стол, на который кладут свежий овечий сыр, чтобы стекла с него жидкость» (говор с. Грибова Рышканского р-на), «домик на стые, где делают брынзу» (говоры сел Волока, Магала, Байраки, Горбово, Дяковцы, Старые Каракушаны, Кубань, Костулены и Леушены Черновицкой обл., северо-западной и западной части МолдССР), «загон, где доят овец» (юго-западная группа говоров)³. Полагаем, что значение, аттестованное в юго-западных говорах, известно и смежным украинским говорам Одесской обл., несмотря на то, что в цитируемых Г. П. Клепиковой работах лексема *комарник* отсутствует.

Молдавский ареал к востоку от Прута в одних случаях, как было указано выше, представлен терминами, извлечениями зачастую из ДМР (*чал* «козел», *браз — брызэ* «овца, коз с белым пятном на лбу», *корнут* «рогатый», *чут* «без рогов», *обор* «загон для скота», «конный рынок» и др.), а в других случаях совсем не показан. На территории МолдССР и соседних областей УССР бытуют лексемы *нелянка*, *оакеш* — *оакешэ* «черная овца с белыми пятнами вокруг глаз», «белая овца с черными пятнами вокруг глаз», «черная овца с белым пятном на голове», *а цыркуи* «доить овцу», в юго-западной части Пруто-Днестровского междуречья употребляют лексемы *дойка* «овца, которая кормит своим молоком чужого ягненка», *булаэ* «круглый кусок овечьего сыра», «круглый кусок горячей мамалыги с овечьим сыром внутри», *бел — белэ — бялэ*, а в западной части исследуемого массива — *а се пыри* «процесс случки у коз», *быркаэ* «вид овец с длинной шерстью».

² См.: АЛМ, карты №№ 156, 170, 180, 608, 739 (рукопись); карты хранятся в архиве сектора молдавской диалектологии и экспериментальной фоветики Института языка и литературы АН МолдССР, а также данные анкет, собранные В. В. Корчмарь.

³ См.: АЛМ, карты №№ 1555, 1558 (рукопись) и данные анкет В. В. Корчмарь.

и др.⁴ Надо полагать, что молдавские диалектные формы не указаны в «Заключении», где автор очерчивает зонные ареалы лексем (стр. 226—235), из-за отсутствия данных (см. *оакеш*, *булз*, *жинтица*, *балаз*, *рымаз*, *камарник*, *чул*, *неялык*, *шут*, *бырка* и др.). Поэтому страдает неточностью показ территории Пруто-Днестровского междуречья на картах №№ 4—8, 10, 12 и 13.

В работе утверждается, что термины *дзер*, *будз* — *булз* — *бунда*, *рымдза* и др. заимствованы в украинские и другие говоры из румынского (стр. 135, 158, 161). Известно, что аффриката *dz* характерна для говоров северо-восточной части дакороманского массива, для говоров молдавского типа. Сохранение *dz* в заимствующих говорах свидетельствует о давности контактов и о непосредственном источнике заимствования. Лексема *kl'ag* (*gl'ag*) в славянских языках (стр. 150—155) заимствована в период раннего средневековья из тех говоров восточнороманского населения Молдавии, Баната и Хунедоары, где сочетание *cl'* существовало⁵.

Отсутствует последовательность в употреблении некоторых терминов. Так, *дакорумынский* — (*дако*)*румынский* (*дакорумынские говоры*) то не включает молдавский (молдавские говоры) (стр. 66, 143, 154—155, 169—171, 205—206, 211—212, 228—229, 232, 233, 235), то включает его (стр. 74, 79, 116, 219). В работе сказано: «в румынских диалектах к югу от Дуная» (стр. 64, 68, 130, 136) и «в румынских диалектах Балканского п-ова» (стр. 75). В румынском языкознании существуют разные мнения (даже противоположные) о статусе романских наречий на юге от Дуная. Ал. Граур и И. Котяну считают их языками, Р. Тодоран и Б. Каза-

ку — дивергентными диалектами, а Ал. Росетти, Д. Макря и др. — диалектами⁶.

Имеются погрешности в передаче румынских и молдавских названий городов, сел, областей и др. Например, не *Хушь*, а *Хуши* (стр. 128), на стр. 134 *Глыбокая*, районный центр в Черновицкой обл., написано по-разному — *Глубокая* и *Глибока*, р-н *Констанца* — это не крайний восток Мунтении (стр. 157), а Добруджа; вместо старого названия «р-н *Тигин*, *Бессарабия*» (стр. 66) следовало бы использовать современное — *Бендер*, *МолдССР*; если сохраняем *э* в *Рымнику-Сэрат*, *Бузэу* и др. (стр. 66), то следует писать *Браила*, *Фэлciu* и др. (стр. 74). Допущены ошибки в написании названий сел *Ватрина*, *Пица Петрей* и жителей *укурену*, *поснарэ*, *моканэ* (табл. 1 на стр. 12—13). Кажется излишним перевод на французский язык только названий типов пастушества в этой таблице. Досадные опечатки имеются на стр. 71 (*oachăș* вм. *oacheș*), 74 (ALP вм. ALR), 112 (сноска 40 не закончена), 114 (*fătare* вм. *fătare*), 136 (AIR вм. ALR), 159 (*картулицэ* вм. *карцулицэ*) и др.

Несмотря на указанные недостатки, следует отметить, что книга свидетельствует о глубокой компетенции автора в исследуемой теме, изложенной стройно и логично, об умении пользоваться современными методами изучения диалектного материала. Рецензируемая книга — значительный вклад в изучение пастушеской терминологии в языках карпатского ареала. Она служит большим подспорьем для советских, польских, словацких, чешских и болгарских диалектологов, которые готовят программу-вопросник «Общекарпатского диалектологического атласа». Насыщенное фактами исследование Г. П. Клепиковой представляет несомненный интерес для специалистов-лингвогеографов и этнографов.

Р. Я. Удлер

⁶ E. Căzacu, Studii de dialectologie română, București, 1966, стр. 9—32.

«Сопоставительное исследование русского и украинского языков». — Киев. «Наукова думка», 1975. 288 стр.

Проблема сопоставительного изучения русского и других языков народов СССР в настоящее время приобрела особую актуальность в связи с образованием новой исторической общности людей — советского народа и функционированием в советском многонациональном государстве русского языка как языка межнационального сотрудничества и общения.

Свою научную специфику имеет сопоставительное исследование языков разной степени родства, в том числе и языков близкородственных с русским — украинского и белорусского.

Попытку определить основные направления научного исследования современного русского языка в сопоставлении с украинским предпринял коллектив авторов Отдела русского языка Института

языковедения им. А. А. Потебни АН УССР в монографии «Сопоставительное исследование русского и украинского языков» (отв. ред. Г. П. Ижакевич).

В книге предлагается и обосновывается методика сопоставительного исследования близкородственных русского и украинского языков с учетом, с одной стороны, общности их происхождения, лексической и структурной близости, а с другой — наличия национально-специфических особенностей, определивших их функционирование как самостоятельных языков. В работе даны образцы сопоставительного анализа внутривидовых процессов и явлений на лексико-семасиологическом, морфологическом, словообразовательном, синтаксическом и стилистическом уровнях, а также рассмотрены внешние, социально-контактные причины и факторы взаимодействия русской и украинской языковых систем. Кратко остановимся на композиции книги.

Глава первая «Принципы и задачи сопоставительного исследования близкородственных языков» носит теоретический характер. Она состоит из разделов «Основные направления и задачи сопоставительного исследования русского и украинского языков» (автор Г. П. Ижакевич) и «Научные предпосылки и методика сопоставительного исследования современных русского и украинского языков» (А. В. Лагутина).

В соответствии с теоретическими положениями этой главы анализируется конкретный сопоставительный материал в трех последующих главах. В главе второй «Лексика и фразеология» рассматриваются отдельные вопросы современной лексикологии и фразеологии. В одном из разделов этой главы прослеживаются общие процессы развития в лексике русского и украинского литературных языков в послеоктябрьский период (Т. К. Черторижская), описываются названия русского происхождения в топонимии Украины (Е. С. Отин), анализируются однокорневые паронимы в русской и украинской речи (А. А. Евграфова). Другие разделы посвящены психолингвистическому анализу антонимов в русской и украинской речи (М. П. Муравичкина), формализованному анализу лексического значения слова (М. М. Пещак) и сопоставительному рассмотрению русской и украинской фразеологии (Л. А. Лисиченко, Г. В. Павловская).

Третья глава «Словообразование» посвящается некоторым проблемам сопоставительного словообразования. В ней находят общие наблюдения над словообразовательными процессами в русском и украинском языках на современном этапе (В. Т. Коломиец). Здесь имеются раздел о средствах выражения отрицания в этих языках (Н. Г. Озерова) и раздел о стилистических функциях словообразования

существительных и прилагательных, написанный Л. П. Дидковской на материале художественных переводов с украинского языка на русский.

Вопросы сопоставительной русско-украинской грамматики излагаются в четвертой главе «Грамматика». В ней содержатся наблюдения над употреблением дательного принадлежности в современных русском и украинском литературных языках с привлечением материала чешского языка (И. Ф. Андерш), над стилистическими функциями форм числа имен существительных в русской и украинской литературной речи (Н. П. Голубева). К ним примыкают наблюдения над структурой «причастных» предложений в современных русском и украинском языках (Н. Н. Арват) и наблюдения над структурой сложноподчиненных предложений в языке русской и украинской публицистики 20-х годов (Л. И. Евдокимова).

Избранная авторским коллективом структура монографии имеет свои преимущества на данном этапе подобных работ, когда сопоставительные исследования современных русского и украинского языков еще не имеют давней истории и не могут опираться на сколько-нибудь апробированную методику. В этих условиях было важно не только очертить основные контуры метода, но и показать возможные пути его применения.

Сопоставительный метод определяется в книге как метод лингвистического «анализа соотношения структуры и структурных элементов двух языков на синхронном срезе с учетом всех факторов взаимодействия, взаимопроникновения и взаимовлияния исследуемых языков на всех языковых уровнях: фонологическом, словообразовательном, морфологическом, синтаксическом, лексическом и стилистическом» (стр. 5). При анализе с помощью этого метода близкородственных восточнославянских языков, в частности русского и украинского, учитывается большая близость их лексических составов, грамматических и фонематических систем, являющаяся результатом их общего происхождения, а также длительного пути их совместного исторического развития. Эти общие исторические черты заданы родственным языкам как бы априорно, и их учет обязателен как фон, оттеняющий основную задачу сопоставительного исследования этих языков.

Основное же внимание, по мнению авторов монографии, при сопоставительном изучении современных русского и украинского языков должно концентрироваться на отличительных чертах, которые весьма существенно проявляются не только в лексике и фразеологии, но и в фонетике, грамматическом строе каждого из языков и определяют специфику самостоятельных языков русской и украинской нации. Этим обусловлен тот

факт, что в теоретической интерпретации сопоставительного метода изучения современных русского и украинского языков предполагается привлечение исторических, диалектных и прочих данных с целью объяснения нужного языкового явления при его сопоставлении. Сразу же следует отметить, что это важное положение сопоставительной методики изучения близкородственных языков анализом конкретного материала в монографии последовательно не подтверждается.

Авторы монографии подчеркивают, что сопоставительный метод изучения близкородственных современного русского и украинского языков — это метод синхронного системного изучения категорий двух языков с учетом специфики на фоне общих черт. В этом русле практическое исследование в монографии и направлено прежде всего на поиски специфики в каждой изучаемой области. Это направление, хотя и интересное, все же не всегда можно признать приемлемым, поскольку во многих случаях, особенно при школьном обучении языкам, находящимся в близком родстве, системность должна предполагать и описание сходных черт этих языков.

Нельзя пройти и мимо того факта, что материалы, собранные в рецензируемой монографии, не равноценны и чрезвычайно многоплавовы. Тут имеются разделы, ориентирующие на анализ фактов современных литературных языков и на исследование речевых явлений. Не всегда представленные в книге материалы одноплавовы по объему рассматриваемых вопросов, по наполненности иллюстративным материалом, а также по охвату источников и библиографии. Не выдержана последовательно методика исследования в отдельных частях книги. Кроме синхронно-описательного, в работе используются психолингвистический и формализованный методы анализа языкового материала. Все это в определенной степени снижает структурные достоинства книги. Однако подобного рода недостатки в известной мере допустимы, когда в монографии ставится задача поиска перспективных направлений научного лингвистического метода.

Оценивая место рецензируемой книги в ряду сопоставительных работ, анализирующих современное состояние русского и украинского языков, следует признать, что она имеет четкие и в основном реально приемлемые общетеоретические положения, выдвигает наиболее актуальные задачи этого метода и показывает

перспективные пути применения подобных исследований. Монография может послужить отправным пунктом для многих исследований, направленных на решение важных теоретических проблем и на практику обучения русскому языку в условиях близкородственного русско-украинского билингвизма.

Обе эти задачи — теоретическое исследование проблем русско-украинского сопоставительного языкознания и практическая помощь со стороны ученых в деле совершенствования школьной и вузовской языковой подготовки — одинаково важны и взаимосвязаны. Труды языковедов, подобные рецензируемому, способствуют решению указанной двуединой задачи, поэтому мы вправе рекомендовать эту книгу украинским лингвистов читателям (одновременно выразив сожаление, что книга вышла небольшим тиражом — 2000 экз.).

Хотелось бы в заключение обратить внимание на следующий научно-организационный момент.

Рецензируемая монография выполнена в недавно созданном Отделе русского языка Института языковедения АН УССР. Создание такого отдела по инициативе академика И. К. Белодеда — первый опыт подобного рода в республиканском академическом институте. Это опыт ценный, заслуживающий подражания и распространения в других республиканских академиях, ибо изучение русского языка как языка межнационального общения народов СССР — проблема первостепенной важности и несомненно всеобщего значения¹.

Заслуживает положительной оценки и то, что недавно организованная научная ячейка академического института умело выполнила координационно-организующую роль, как часто говорят, «головного» учреждения при создании рассматриваемой коллективной монографии. Монография создана объединенными усилиями ученых Академии наук Украины с привлечением специалистов ряда высших учебных заведений республики — Донецкого и Черновицкого университетов, Дрогобычского, Ровенского, Сумского и Харьковского педагогических институтов.

И. Ф. Протченко

¹ См. об этом: Ф. П. Филин, Изучение русского языка на современном этапе, «Русская речь», 1976, 1.

«Вопросы испанской филологии. Материалы I Всесоюзной научной конференции по испанской филологии».—

Л., изд-во ЛГУ, 1974. 187 стр.

(Серия «Древняя и новая Романья», вып. 1)

Состоявшаяся в июне 1970 г. на филологическом факультете Ленинградского университета I Всесоюзная научная конференция по испанской филологии явилась представительным смотрам достижений отечественной испанистики и подведением итогов сделанного до сих пор в этой области. Рецензируемый сборник, содержащий сравнительно небольшую (немногим меньше трети), но важную часть докладов, которые были прочитаны на конференции, открывает серию «Древняя и новая Романья», имеющую задачей исследование романских языков и литератур как на территориях их исконного распространения (Пиренейский полуостров, Франция, Италия), так и на более новой для них почве (Южная и Центральная Америка, Канада), т. е. в пределах весьма обширного ареала и в широких хронологических рамках. Неслучайно поэтому, что в целом ряде статей сборника проблемы испанской и отчасти португальской филологии рассматриваются в более или менее широком романистическом русле. Привлечение материала других, в данном случае — родственных языков, учет контактов с ними, а также и с иносистемным арабским, обуславливают постановку как сравнительно-исторических, так и сопоставительно-типологических вопросов. Тем самым содержание книги приобретает и общезыковедческий, в частности — и социолингвистический, интерес, поскольку затрагиваются соприкосновения народов и культур.

В основном направленность книги — лингвистическая¹, но первая статья, написанная акад. М. П. Алексеевым, — «Испанистика в свете испано-русских культурных связей», — равно как и предшествующая ей выдержка из его же «Вступительного слова» к конференции, являют пример широкого историко-филологического подхода к теме, при котором равное внимание уделяется исследованиям и языка, и литературы на общезыковедческом и культурном фоне. Автор прослеживает развитие интереса русских людей к Испании, ее культуре, литературе, языку, начиная с XVI в., и заканчивает свой очерк второй половиной XIX в., когда открывается собственно научный этап в истории отечественной испанистики как специальной ветви романистики.

Следующая и самая объемистая в книге статья О. К. Васильевой-Шведе «Испанистика в СССР и актуальные проблемы испанской филологии» посвящена, как это явствует из ее заглавия, тоже общелингвистическому аспекту дисциплины, т. е. учитывает как лингвистические, так и часть литературоведческих работ. Статья эта — и обзорная, и проблемная. Автор дает, хотя и в очень сжатой форме, необходимые сведения о том, что русскими филологами (преимущественно — Петербургского университета) было сделано в области изучения испанского языка, и об основоположниках нашей научной испанистики — акад. А. Н. Веселовском и проф. Д. К. Петрове, завершившем свой творческий путь уже в советское время. Автор статьи, кроме того, говорит не только об испанистике, но и о португалистике. Статья до предела насыщена библиографическими данными, занимающими место даже не столько в списках, сколько в самом тексте. Но это здесь — не излишество, а нужнейший и закономерный показ того богатства, который накопили отечественные испанисты и португалисты. Ученым исследования (монографии, статьи), все защищенные диссертации, отчасти — вузовские учебники и пособия, а также различные антологии и хрестоматии. После этого обзора — краткая постановка наиболее актуальных и дискуссионных лингвистических проблем (характер языкового развития на Пиренейском полуострове, единство и многообразие испанского языка в связи с его распространением в Южной Америке, классификация романских языков и место испанского среди них, специфика ряда грамматических явлений испанского — «аналитического» формообразования и так называемой «нефлективной морфологии», наличие категории вида и др.). Ряд этих тем находит развитие в других статьях сборника.

Собственно испанистические статьи предваряются содержательной работой А. А. Касаткина, социолингвистической по своей направленности, — «Учение В. И. Ленина и задачи лингвистики как общественной науки». В начале ее автор подвергает резкой и справедливой критике идеалистические концепции западных философов-лингвистов (Э. Стертеванта, Л. Витгенштейна и др.). Основной же пафос статьи — в постановке проблемы национального и государственного языка как проблемы лингвистической, а не экстралингвистической. Автор опирается при этом прежде всего на опыт языковой политики в нашей стране. Он специально останавливается на основ-

¹ Только две статьи посвящены историко-литературной проблематике: В. И. Беляев, Изучение испано-арабской литературы в России — Советском Союзе; З. И. Плавский, Некоторые черты своеобразия испанского романтизма.

ных вопросах языкового строительства и высказывается в защиту нормирования языка как важнейшего условия общения в пределах нации.

Пограничной между социолингвистикой, сравнительно-историческим языкознанием и лингвистической географией является проблематика статей М. А. Бородиной «Значение лингвистической географии для изучения языков Пиренейского полуострова» и Г. В. Степанова «Изучение испанского языка Америки и его значение для испанского, романского и общего языкознания». Характер языковых контактов в этих регионах и связанные с ними конкретные особенности развития языков, т. е. и черты общности, и расхождения между ними, вызывают очень большой теоретический интерес. Особого внимания заслуживает мысль Г. В. Степанова о благоприятной возможности, которую семантическая эволюция испанских слов на южноамериканской почве дает для действительной критики теории лингвистической относительности — гипотезы Сепира — Уорфа: «В данном случае, — пишет исследователь, — речь идет не о возникновении иной картины мира „из языка“, а об уподоблении новых элементов действительности через старые слова-понятия элементам уже известной картины мира и о приспособлении языка к обозначению новых элементов мира» (стр. 157).

Диалектика языкового развития и необходимость сочетания диахронических и синхронического аспектов при подходе к ней — в центре статьи Р. А. Будагова «Изучение испанского языка в наше время». Объектом внимания служит так называемая архаичность испанского языка². Понятие это, как показывает автор, относительно. Если испанский язык «возник раньше французского и итальянского» и сохранил ряд архаических черт, утраченных другими романскими языками, то «впоследствии в связи с „выходом“ испанского на просторы будущей Латинской Америки он стал развиваться интенсивнее и французского языка и итальянского» (стр. 89).

В статье «Типология романских языков и различные аспекты языковой реализации» В. Г. Гак, имея в виду реализацию как выбор определенных возможностей, представляемых языком, прослеживает ее в аспекте синхронии на примерах двух языков — испанского и французского, учитывая при этом, однако, и результаты развития в обоих языках той или иной тенденции их строя. Диахронический подход играет здесь роль явно подчиненную. Единицами сопоставления

служат и словосочетания, и предложения как отрезки плана выражения. Константируя серьезные расхождения структурного порядка между родственными (в данном случае — романскими) языками, автор в конце статьи задает вопрос (правда, по более частному синтаксическому поводу): «не следует ли... более углубленно искать общности и специфику родственных языков в плане содержания и в нормах речевой реализации?» (стр. 108). Этим как бы намечается перспектива исследований.

К исследованиям родственных языков в сопоставительном плане относится и работа Г. Я. Туровера «Иберо-романские фразеологические конвергенции (к проблеме языковой интеграции)», представляющая собой опыт применения к материалу части романских языков методики вычисления коэффициента близости, предложенной М. М. Копыленко. Г. Я. Туровер приводит к своей статье некоторые итоги исследования фразеологизмов типа «глагол + имя существительное» в испанском, португальском и каталанском языках. Как и следовало ожидать, наибольшая близость обнаруживается между испанским и португальским, наименьшая — между португальским и каталанским. Ценимым является введение мер близости. Даже на небольшом статистическом материале (в статье рассмотрено 105 фразеологических единиц, по 35 в каждом языке) автор получает следующие данные: испано-португальских изоглосс насчитывается 13, общекаталанских — 10, испано-каталанских — 5, португальско-каталанских — 4. Некоторые сомнения вызывает истолкование автором понятия межъязыкового лексического тождества: в одних случаях имеется в виду генетическое тождество (исп. *mano*, порт. *mão*, каталанск. *mà*, лат. *manūm*), в других случаях характер тождества не совсем ясен. Так, на стр. 166 португальский глагол *estreitar* и каталанский *estrènyer* обозначены одним и тем же индексом Б в отличие от испанского *apretar*, обозначенного индексом А. Между тем, португальский и каталанский глаголы нельзя считать генетически тождественными единицами. Каталанск. *estrènyer* (с ударением на предпоследнем слоге) является прямым продолжением вульгарнолатинского инфинитива **istrīngere*, который отличается от классической формы только наличием протетического гласного (ср. класс. лат. *strīngere*). Что же касается порт. *estreitar*, то здесь перед нами деноминативный глагол, образованный уже на португальской почве от основы имени прилагательного *estreit-o*, *-a*, которое в свою очередь восходит к вульгарнолатинскому пассивному причастию **istrīct-um*, *-am* (класс. лат. *strīct-um*, *-am*).

Краткую статью Е. Г. Голубевой хочется выделить как образец максимально

² Ср.: Р. А. Будагов. Понятие архаичности языка в романской лингвистике, в кн.: «Philologica. Исследования по языку и литературе. Памяти академика В. М. Жирмунского», Л., 1973.

четкого изложения итогов большой исследовательской работы, выдержанной в лучших традициях филологической науки. «Употребление наклонений в придаточных предложениях обстоятельства времени, относящихся к будущему, в португальском языке XIII—XX веков» описывается на основе анализа сплошной выборки из текстов объемом более 400 печатных листов. Специфика португальского сравнительно с другими романскими языками состоит, как известно, в использовании двух конъюнктивных форм — *presente do subjuntivo* и *futuro do subjuntivo*, однако до последнего времени не был вскрыт закон дистрибуции этих форм в речи. Е. Г. Голубева формулирует его следующим образом: «В предложениях, действие которых следует за действием главного предложения, употребляется только *presente do subjuntivo*; в предложениях, действие которых предшествует действию главного предложения или совпадает с ним во времени, в подавляющем большинстве случаев употребляется *futuro do subjuntivo*, хотя может употребляться также и *presente do subjuntivo*» (стр. 113).

Н. Д. Арутюнова в своих «Наблюдениях над испанским модальным диалогом» подчеркивает ту важную особенность речевых цепочек, которая состоит в том, что они включают в себя, как правило, регулярно воспроизводимые конструкции. Выбор того или иного речевого клише зависит от определенной тактики, которой придерживается каждый из участников диалога. В структуре модальных реплик-клише Н. Д. Арутюнова выделяет как универсальные черты, так и черты специфически испанские. «В испанском языке невозможны реплики типа „нет, знаю“ или „да, не знаю“, первая часть которых представляет собой реакцию на реплику собеседника, а вторая — выражает независимое суждение» (стр. 71). В ограниченных рамках статьи автор, естественно, был вынужден лишь наметить ряд важных линий дальнейшего исследования этой интереснейшей темы «лингвистики речи».

Статья Е. М. Вольф «Указательные местоимения как средство повторной номинации» также может быть отнесена к исследованиям проблем «лингвистики речи». На материале португальских текстов автор вскрывает различную природу так называемой анафоры: оказывается, что в одних случаях повторяется актант, в других случаях указательное местоимение связывает первичное и повторное наименование целой ситуации. Кроме того, приходится различать повторную номинацию, соотношенную с модусом, и повторную номинацию, соотношенную с диктумом. «Как можно видеть, — справедливо заключает автор, — употребление местоимений в повторных номинациях зависит от целого ряда факторов и отра-

жает сложные семантические отношения между словами контекста» (стр. 99).

В статье Е. И. Левинтовой «К изучению отрицания в испанском языке» лишний раз подтверждается тезис о несовпадении общих логических схем и их отражений в том или ином конкретном языке. Автор иллюстрирует данный тезис указанием на наличие в испанском запрещающего наклонения (*apuntalo — no lo apuntas*) и специфику испанских норм в способах выражения частного отрицания: русск. *Вошла не Мария* нельзя передать в испанском как **Entró no María*. В испанском требуется или наличие противопоставления (*Entró no María, sino Juan*) или — что предпочтительнее — перестройка простого предложения в сложное (*No era María la que entró*). Все это известно. Поэтому наибольший интерес представляет та часть работы (стр. 126—127), в которой намечен план исследования разнообразных случаев нарушения смыслового соответствия между построениями, содержащими и не содержащими формально выраженное отрицание. «Особенно много таких явлений, — пишет Е. И. Левинтова, — ... в сфере несвободных сочетаний» (стр. 126). Ср. *no dejar de* «не преминуть сделать что-либо» и *dejar de* «прекратить что-либо делать».

К исследованию проблемы отрицания примыкает статья Г. К. Неустроевой «Эмфатические конструкции с отрицательной частицей *no/não* в испанском и португальском языках». Автор останавливается на построениях типа *Cual no sería mi sorpresa* «Каково же было мое удивление...», где *no/não* выступает уже как частица усиительная (наряду с вопросительным местоимением, приобретающим также функцию интенсификатора). Ценным в статье Г. К. Неустроевой является установление различия стилистических сфер употребления описываемых конструкций в испанском языке, с одной стороны, и в португальском — с другой.

Две статьи в сборнике посвящены лингвистической терминологии (К. В. Ламина «О грамматической терминологии»; В. Д. Федоров «О трактовке термина „словосочетание“ на материале испанского и португальского языков»). Дело в том, что испанская и португальская лингвистическая (преимущественно-грамматическая) терминология несколько отличается от общеевропейской, кое в чем архаичнее ее, главное же — за терминологическими отличиями стоят дискуссионные моменты в трактовке местоимений, ряда глагольных категорий, словосочетания. В пристальном анализе своеобразия этих явлений двух языков — интерес названных статей.

Статья А. В. Супрун «О распространении простого предложения в испанском языке» посвящена уточнению понятия примыкания. Известно, что этим термином принято обозначать довольно раз-

породные синтаксические связи. Оказывается, что порядок слов в испанских предложениях зависит от характера обстоятельности, «т. е. от того, имеем ли мы дело с обстоятельством при слове или с детерминирующим обстоятельством при предложении. В первом случае грамматически выражаемое подлежащее, как правило, не может стоять между обстоятельством и сказуемым, во втором — такое словорасположение является нормальным» (стр. 162). Ср. *Juan* (подлежащее) *vendrá* (сказуемое) *a las siete* (обстоятельство, вытекающее из валентности глагола) «Хуан придет в семь часов». С другой стороны, *Con la destrucción de Cartago* (обстоятельство, не вытекающее из валентности глагола), *los romanos* (подлежащее) *pasaban a ser dueños* (группа сказуемого) *del Mediterráneo* «С разрушением Карфагена римляне сделались господами положения на Средиземном море».

Несколько особое место занимает среди других статья И. В. Михайловой и Р. Н. Пиотровского «Теория автоматического анализа в применении к испанскому языку». Естественно, что авторы сосредотачивают свое внимание исключительно на средствах плана выражения как единственно доступных для автоматической обработки.

Особняком также стоит статья И. А. Короленко «Об интерпретации фонетического перехода $f > h$ ». Других ста-

тей, посвященных проблемам звуковой стороны испанского языка, в рецензируемом сборнике нет. Статья И. А. Короленко носит скорее информационный характер: содержание ее сводится практически к пересказу имеющихся в науке точек зрения на проблему и на возможные пути ее решения.

Статья О. И. Липатовой «Об одной особенности стиля Альваро де Лангле-сна» — серия очень кратких изящных этюдов об использовании писателем потенциальных слов для достижения искомого стилистического эффекта.

Книга «Вопросы испанской филологии» — сведение воедино усилий большого коллектива ученых. Большинство статей отличается предельным лаконизмом изложения, они насыщены как теоретическим содержанием, так и фактическим материалом. Проблематика и характер затронутых в них языковых явлений — разнообразны. Специфика глубоко проанализированных данных частного языкознания в ансамбле всей книги соотносена — имплицитно, либо и эксплицитно — с закономерностями более общего порядка — историческими и типологическими и на широком культурно-историческом фоне. Сборнику как целому это придает особую масштабность.

Е. Д. Панфилов, А. В. Федоров

А. Н. Савченко. Сравнительная грамматика индоевропейских языков. — М., «Высшая школа», 1974. 440 стр.

В наших университетах и педагогических институтах ежегодно готовятся специалисты по самым различным индоевропейским языкам (армянскому, латинскому, греческому, индоиранским, славянским, германским, романским и др.). К сожалению, за последние десятилетия крайне редкими являются случаи чтения общего курса сравнительной грамматики индоевропейских языков в университетах нашей страны. Между тем, сравнительная грамматика индоевропейских языков является тем фундаментом, без которого невозможно подготовка высококвалифицированных, теоретически грамотных кадров в области истории любого индоевропейского языка. Вот что по этому поводу писал выдающийся французский языковед А. Мейе: «Грамматик, изучающий какой-либо индоевропейский язык, если он не знает сравнительной грамматики, должен ограничиться простым констатированием фактов, не пытаясь вовсе давать им объяснения, так как иначе он рискует объяснять причинами, лежащими в данном языке, и его особенностями такие факты, которые древнее этого языка

и происходят от совершенно других причин... Очевидно, что грамматик вправе не знать сравнительной грамматики только в том случае, если он способен ограничиться простым наблюдением голых фактов, никогда не делая попытки их понять»¹.

За последние десятилетия студенты и аспиранты наших университетов в большинстве случаев не имели возможности получить достаточные сведения по сравнительной грамматике индоевропейских языков не только на лекциях, но и из книг. Руководства К. Бругмана, А. Мейе, Г. Хирта вышли в свет уже достаточно давно, и они, естественно, не учитывают результатов развития сравнительного языкознания за последние 30—50 лет. Да и найти эти руководства можно далеко не во всех университетских библиотекх. Почти совершенно недоступными для студентов и значительной части аспирантов являются новые книги:

¹ А. Мейе, Введение в сравнительное изучение индоевропейских языков, М.—Л., 1938, стр. 32—33.

О. Семереньи («Einführung in die vergleichende Sprachwissenschaft», Darmstadt, 1970) и Р. Анттила («An introduction to historical and comparative linguistics», New York, 1972). Вот почему появление нового, хотя и кратко курса «Сравнительной грамматики индоевропейских языков» А. Н. Савченко следует рассматривать как факт исключительной важности. Книга А. Н. Савченко представляет собой учебник, адресованный лицам, не искушенным в вопросах индоевропейской сравнительной грамматики. Поэтому нужно признать оправданной опору в реконструкциях преимущественно на такие языки, как древнеиндийский, древнегреческий, латинский, готский, старославянский, литовский — при почти полном исключении из приводимых реконструкций кельтских и тохарских языков (о хеттском материале см. ниже).

Композиция рецензируемого учебника в общих чертах повторяет композицию известного «Введения...» А. Мейе. Местами книга А. Н. Савченко очень близка к книге А. Мейе и по использованному в ней материалу (см., например, разделы, посвященные структуре корней, суффиксов и окончаний). Вместе с тем интерпретация этого материала у А. Н. Савченко, несмотря на примерно одинаковое членение на главы, нередко, как мы увидим ниже, существенным образом отличается от книги А. Мейе. Но вернемся к композиции учебника. Вслед за «Введением», в котором дается общее представление о сравнительно-историческом методе в языковедении и затрагиваются некоторые вопросы реконструкции праиндоевропейского состояния, автор переходит к характеристике отдельных индоевропейских диалектных групп (стр. 29—57). Глава II «Фонетика», наряду с изложением традиционного материала, содержит раздел, посвященный краткому разбору «ларингальной» гипотезы (стр. 128—137). В III главе «Морфология» автор касается структуры индоевропейского корня, суффиксов и окончаний, а также затрагивает ряд других вопросов, связанных как с фонетическим, так и морфологическим аспектом исследования (стр. 133—167). В главах IV—VI А. Н. Савченко последовательно рассматривает имя (стр. 168—237), местоимение (стр. 237—256) и глагол (стр. 257—327), в главе VII переходит к структуре индоевропейского предложения (стр. 328—355) и заканчивает свою книгу (гл. VIII) рассмотрением различных гипотез, касающихся диалектного членения индоевропейского языка (стр. 356—390).

Автор включает в книгу результаты собственных исследований и наблюдений, которые были опубликованы в различное время в виде отдельных работ (местоимения, индоевропейский средний залог, эргативная конструкция и др.). Именно эти разделы книги представляют, пожа-

луй, наибольший интерес для индоевропейцев. Вместе с тем освещение таких вопросов, как следы эргативной конструкции в праиндоевропейском, заставляет автора слишком часто обращаться к дальнейшей реконструкции. Само по себе это ни в коей мере не предосудительно, но следует при этом иметь в виду задачи, стоящие перед учебником. Для будущего специалиста в области научения славянских, германских или иных индоевропейских языков не столь важно знать различные — подчас в высшей степени спорные — гипотезы, связанные с попытками реконструкции древнейших стадий развития праиндоевропейского языка, сколь уметь пользоваться данными родственных индоевропейских языков для объяснения фактов исторической грамматики языка своей специальности. Реконструкция основных черт праиндоевропейской грамматики представляет собой, безусловно, очень интересную проблему. Но в сравнительной грамматике индоевропейских языков реконструкция отдельных аспектов древнеиндоевропейской грамматики должна быть не самоцелью, а лишь средством, помогающим начинающему лингвисту глубже разбираться в своей специальности. Характерно, что и сам автор весьма недвусмысленно заявил, что основное содержание его книги составляет б л и ж н я реконструкция (стр. 22).

А. Н. Савченко широко использует в своей книге новые и новейшие работы по индоевропейскому языковедению², например, материалы В. Н. Чекмаева (опубликованные в сборнике «Балто-славянские исследования», М., 1974). Он подробно останавливается на популярной среди части языковедов нестратической гипотезе, давая ей в общем скептическую оценку (стр. 25—26), а также на ларингальной гипотезе. Отношение к последней у автора двойное. С одной стороны, он пишет о «т. н. „ларингальной“ теории» (стр. 27), которая «находится еще в положении гипотезы», о том, что ряд известных языковедов не признает этой гипотезы и что «делать из нее далеко идущие выводы и широко применять ее в ближней реконструкции, по меньшей мере, рискованно» (стр. 137). «Увлекался поисками отражения „ларингальных“, — пишет А. Н. Савченко в другом месте, — некоторые языковеды склонны объяснять ими все, что можно, и в таких случаях не обходится без натяжек» (стр. 134). С другой стороны, об этих гипотетических (с точки зрения самого же автора) «ларингалах» в книге постоянно говорится как о вполне реальных и совершенно бесспорных фактах. Так, падением «ларингальных» объясняется образование глухих

² При этом следует учитывать, что книга была написана к 1968 г., а полностью закончена и отредактирована в 1970 г.

придыхательных (стр. 69), долгих слоговых сонорных (стр. 79), протетических гласных (стр. 97), основ на **-ā* (стр. 212), суффиксов опитатива (стр. 291) и мн. др. Логичнее было бы или отказаться от скептической оценки ларингальной гипотезы, или, сохранив эту оценку, исключить из книги, посвященной вопросам ближней реконструкции, постоянные ссылки на ларингальную гипотезу.

Очень интересно изложен в книге вопрос о рядах заднеязычных (стр. 61—68). Вслед за А. Фиком, Л. Авэ, Г. Хиртом, А. Мейе и В. Георгиевым, автор признает наличие в праиндоевропейском двух рядов гуттуральных: веларный (**k*, **g*, **gh*) и лабиовеларный (**kʰ*, **gʰ*, **gʰh*). Существенным представляется общее соображение, приведенное в пользу этого тезиса: «Но что представляли собой палатализованные заднеязычные, независимые от фонетической позиции, и как произносились они, напр., перед твердыми согласными, мы не знаем» (стр. 64—65). Главным же аргументом в пользу вторичности ряда **k* (сравнительно с рядами **k* и **kʰ*) А. Н. Савченко считает случаи непоследовательной сатемности в языках сатем (стр. 65). Он приводит список В. Н. Чекмана с примерами подобного рода из диалектов литовского языка (стр. 67).

Однако этот аргумент автора вызывает ряд возражений. Во-первых, неверно, что «тщательных поисков в этом направлении еще не было» и что дублетные формы в списке В. Н. Чекмана не упоминались в литературе. Хотя В. Н. Чекман собрал, безусловно, очень интересный материал, большое количество подобных примеров можно найти в работах К. Буги, В. Махека, Я. Отрембского, Ф. Шпехта, Э. Френкеля, А. Вайана и др. В частности, из 16 примеров В. Н. Чекмана, приведенных в рецензируемой книге, мною кратко отмечались в литературе: *kleivas/sleivas* (К. Буга, Ф. Шпехт, Э. Френкель, Я. Отрембский), *gnub-/gnaib-/žnyb-/žnaib-* (К. Буга, Э. Френкель, Я. Отрембский), *geitas/žėitas*³ (А. Вайан, Я. Отрембский). Отмечалась непоследовательная сатемность и для таких слов, как *žvaigždė* (Я. Отрембский) и *želtmū* (А. Вайан)⁴. Во-вторых, пример

³ У В. Н. Чекмана даны производные этого прилагательного.

⁴ Обстоятельные списки случаев непоследовательной сатемности на более широком ареале языков сатем приводит, например, В. Георгиев в кн. «Исследования по сравнительно-историческому языкознанию», М., 1958, стр. 30—34, 39—41. См. также: F. S p e c h t, Der Ursprung der indogermanischen Deklination, Göttingen, 1944 (1947), стр. 317, примеч. 1 (со ссылкой на более старую литературу) и другие места его книги.

с литов. *kāuti/šauti* трудно признать недействительным, ибо он предполагает общность происхождения также русск. *ковать* и *согать*. Наконец, эти и многие другие примеры представляют собой весьма сложную проблему, неразрывно связанную с колебаниями в отражении звонких и глухих смычных не только в рамках того же самого ареала, но на примере одних и тех же лексем. Так, наряду с литов. *žnābyti/gnābyti*, можно отметить латыш. *žnābīt/znābīt/knābīt*; наряду с литов. *žvaigždė* польск. *gwiazda* — ст.-слав. *сѣмъ/цѣмъ* (с глухим вариантом тех же заднеязычных). В случае в литов. *kāmas/žambas* «утои» непоследовательная сатемность также сочетается с расхождением по глухости — звонкости. Убедительного объяснения все эти и многие другие факты до сих пор не получили, хотя о расхождении по глухости — звонкости сравнительно недавно писали, например, Хр. Станг и В. Кипарский. Поэтому едва ли стоило приводить один только литовские примеры в качестве главного аргумента в пользу исконности индоевропейских рядов «веларный — лабиовеларный». В целом, однако, раздел о древнейших индоевропейских гуттуральных написан с большим знанием дела, с ясной аргументацией той точки зрения на этот сложный вопрос, которой придерживается автор.

И в других местах своей книги А. Н. Савченко умело концентрирует внимание читателя на самых сложных и актуальных вопросах сравнительно-исторической грамматики индоевропейских языков. Здесь и проблема древнейшей структуры индоевропейского корня (вместе с неразрывно связанной с ней ларингальной гипотезой), и вопрос об истории перфекта и медиа, их окончаний и исходного значения, и проблема гуттуральных, и вопрос о членении праиндоевропейского языка. Можно соглашаться или не соглашаться с позицией автора по тому или иному вопросу, но сама формулировка проблемы и точка зрения, изложенная в книге (как одно из возможных решений этой проблемы), всюду даны предельно четко, без модного в наши дни жонглирования мудреной терминологией. Положительно оценивая книгу А. Н. Савченко в целом и подчеркивая, что эта книга очень нужна нашим студентам, аспирантам и многим преподавателям, я хотел бы остановиться на ряде спорных вопросов как общего, так и частного характера.

Прежде всего А. Н. Савченко разделяет мнение о том, что «малоязынский диалект значительно раньше обособился от языка-основы, чем другие» (стр. 358). Этот важный тезис проходит красной нитью сквозь всю книгу, ибо автор реконструирует праиндоевропейское языковое состояние эпохи его распада, в значительной мере «по образу и подобию» хеттских языков, сохранивших, по его мнению, более архаичный строй, чем все

остальные индоевропейские языки⁵. Как на достоверные факты А. Н. Савченко неоднократно (стр. 15, 21, 357 и др.) ссылается на то, что хеттский материал подтвердил ларингальную гипотезу и предположение о первоначальном существовании в праиндоевропейском двух родов имен. Неприятие ларингальной гипотезы целым рядом индоевровепенстов, ее фактическое игнорирование авторами большинства фундаментальных этимологических словарей, скептическая оценка ее результатов и возможностей, данная ее же основоположниками (Е. Курилович, Э. Бенвенист), — все это заставляет усомниться в значительной достоверности соответствующих фактов. Да и сам автор в других местах книги, как мы видели, совсем иначе оценивает ближние реконструкции, базирующиеся на ларингальной гипотезе. Спорным (а не достоверным) является и вопрос о том, отражает ли хеттская система двух родов древнее индоевропейское состояние или же она представляет собой результат утраты женского рода в хеттском⁶. Не отрицая всей важности хеттского материала для индоевропейских реконструкций, я все же думаю, что в книге А. Н. Савченко его значение местами сильно преувеличено.

Вслед за целым рядом исследователей, автор рецензируемой книги принимает в качестве древнейшего (после выделения малоазийского диалекта) деление индоевропейской языковой области на восточную и западную (стр. 373—384). И здесь довольно отчетливо проявляется непоследовательность А. Н. Савченко. Как известно, в основе деления индоевропейских диалектов на восточные и западные с самого начала лежало их деление на языки *satem* и *centum*. Да и в сравнительно недавнее время В. Порциг (с позицией которого по данному вопросу во многом совпадают взгляды А. Н. Савченко) писал, что различие *satem* — *centum* «остаётся одной из древнейших фонетических изоглосс, которые мы можем установить в индоевропейской языковой

области»⁷. Поскольку автор рецензируемой книги считает данную изоглоссу поздней, он не может опираться на нее для доказательства древнейшего деления индоевропейских диалектов на восточные и западные. Что же предлагает А. Н. Савченко взамен этой изоглоссы?

Наиболее часто в книге встречается ссылка на окончание мест. падежа мн. числа **-si*, которое, по мнению автора, не встречается в западных индоевропейских языках (стр. 375, 378, 379, 385). На самом деле, локатив на **-oisi* или **-oisi*, кроме др.-инд. *-si*, др.-греч. *-oi* и ст.-слав. *-ъъ*, реконструируется для италийского⁸, т. е. западного индоевропейского диалекта, а в рамках восточного ареала наблюдаются существенные расхождения (ни др.-греч. *-oi*, ни ст.-литов. *-osi* не совпадают с др.-инд. *-si* и ст.-слав. *-ъъ* < **-oisi*). Кроме того, этой изолированной изоглоссе в области именного склонения можно противопоставить, например, такие балто-славяно-германские изоглоссы, как формант *-m* в косвенных падежах мн. числа или предполагаемое для дат. падежа ед. числа основ на *e/o* окончание **-b* (гипотеза В. Мажюлиса), о котором А. Н. Савченко говорит во многих местах своей книги. Таким образом, первый аргумент автора явно не выдерживает критики.

Второй его аргумент относится к области лексики: «В. Порциг выявил многочисленные лексические изоглоссы, характерные, с одной стороны, для восточного ареала, включая славянский и балтийский, и, с другой стороны, для западного» (стр. 384). Здесь прежде всего нужно отметить прямо противоположную оценку количественных данных, которую мы находим, например, в предисловии А. В. Десницкой к русскому переводу книги В. Порцига (стр. 20): «Порциг оперирует очень небольшими числами — в пределах 20—30 соответствий». Об этом же пишет и сам В. Порциг, считая, однако, что «потери, вызванные уменьшением объема материала, возмещаются его надежностью» (стр. 28). В частности, он настаивает на том, чтобы приводимые изоглоссы обязательно были эксклюзивными (стр. 98). В результате, однако, получается, что в самом обширном списке германо-италийских изоглосс (32 примера — максимальное из чисел, которыми оперирует В. Порциг) содержится весьма высокий процент случаев, когда перечисленные изоглоссы (кстати, не только лексические) выходят за пределы и германо-италийского, и предполагаемого

⁵ Странно, что при этом А. Н. Савченко нигде не ссылается на индо-хеттскую гипотезу Э. Стертеванта и нигде не высказывает своего отношения к ней.

⁶ Последней точки зрения придерживался, в частности, И. М. Тронский (см. его книгу «Общепринятое индоевропейское языковое состояние», Л., 1967, стр. 64). Кстати, А. Н. Савченко на стр. 259 — в совершенно другой связи — пишет: «Аориста в хеттском нет, но поскольку согласное свидетельство других индоевропейских языков говорит о том, что в праиндоевропейском он был, очевидно, в хеттском он исчез». Если в этом рассуждении заметить слово «аорист» словами «женский род», автор должен будет прийти к тому же самому выводу, что и И. М. Тронский.

⁷ В. Порциг, Членение индоевропейской языковой области, М., 1964 (на немецком языке книга вышла в 1954 г.), стр. 117.

⁸ См.: А. Эрнст, Историческая морфология латинского языка, М., 1950, стр. 52.

«западного» ареала⁹. Весьма субъективными в данном отношении являются и другие части книги В. Порция. Поэтому материал лексических (в основном) изоглосс, приведенный в этой книге, не дает достаточных оснований для реконструкции древнейшего деления индоевропейских диалектов на «восточные» и «западные».

Следующий аргумент А. Н. Савченко основан на анализе форм косвенных падежей личного местоимения *tī. В книге противопоставляется лат. *tibi* < *tē-bhi (правильно, не *bhi, а *bhet) — форма, типичная для западных диалектов, — восточным формам: литов. дат. падеж *šveici* и слав. (русс.) род. падеж *тебе* < *tēve — как в др.-инд. *tava* (стр. 379). Но если быть последовательным и сравнивать не литовский дательный со славянским родительным, а формы одного и того же падежа, то картина существенно изменится: лат. *tibi* (в надписях также: *tibei*, *tibe*), умбр. *tefe*, др.-прус. *tebbe*, ст.-слав. *тебѣ*. То же самое — в древних атописических формах местоимений *moi, *toi [др.-инд. *me*, *te*, др.-греч. *μοι*, *τοι* (*σοι*), литов. *mi*, *ti*, ст.-слав. *ми*, *ти*], которые отражены также в кельтских языках¹⁰. Если же взять формы личных местоимений 2-го лица мн. числа, то здесь смешение между «западными» и «восточными» диалектами будет еще более ярко выражено: лат. *vobis* и ст.-слав. *вами* различаются между собой «только согласной окончанием»¹¹; гот. мн. падеж *iuz* и литов. *jūs* отражают шую основу местоимения 2-го лица. Легко заметить, что данная изоглосса разъединяет языки германские и италийские, балтийские и славянские, объединяя в обоих случаях «восточную» и «западную» зоны.

Наконец, А. Н. Савченко считает, что s-футурум типичен для языков восточного ареала и чужд ареалу западному. Для этого ему, правда, приходится: 1) признать наличие старославянского s-футурума на основании одного единственного причастия *бышащени* (стр. 285, 382); 2) вести излишнее резкую полемику с И. Каулаускасом (стр. 285—286), который не без основания считал, что балтийский футурум образовался независимо от форм будущего времени в других индоевропейских языках¹²; 3) утверждать, что s-футурум в италийских и кельтских язы-

ках не связан с соответствующими образованиями языков восточного ареала и что он в западных языках «образовался неодинаково» (стр. 287, 382). Но именно этот последний факт свидетельствует о расхождении в образовании форм будущего времени в рамках западного ареала. В то же время, обе формы кельтского s-футурума имеют аналоги в языках восточного ареала¹³.

Таким образом, ни один из четырех аргументов, приведенных в книге А. Н. Савченко, не доказывает древнейшего деления индоевропейской языковой области на «восточные» и «западные» диалекты.

Касаясь балто-славянских языковых отношений, автор, вслед за рядом других исследователей, склонен считать, что общность этих языков была обусловлена явлениями, типичными для языкового союза (стр. 377). Однако правильность этого тезиса вызывает серьезные сомнения. В условиях языкового союза обычно развиваются функции, параллельные явления, которые материально оформляются различно, а не на базе генетически родственных форм. Между тем сравнение, например, форм балканского инфинитива и инфинитива балто-славянского вскрывает коренное различие между классическим образом языкового союза (Балканы) и характером языковых отношений в балто-славянском ареале. Развитие полных форм прилагательных, близость системы склонения в балтийских и славянских языках (см. особенно работы В. Мажюлиса) и многие другие морфологические явления также типичны для генетически близких языков, а не для условий языкового союза. Наконец, заимствованная лексика, например, на тех же Балканах обычно сравнительно легко отграничивается от лексики исконно родственной. Иная картина в балто-славянской области, где, несмотря на тщательно разработанные критерии, до сих пор бывает трудно отделить лексику общего происхождения от заимствованной, а в последнем случае далеко не всегда ясно, кто у кого заимствовал слово. Что же касается ранних заимствований, то их в балто-славянском ареале вообще невозможно отличить от исконно родственных слов. Все эти особенности характерны для генетической общности, а не для схождения, возникших в условиях языкового союза.

На основании сопоставления двух изоглосс — балто-германской и славяно-германской, каждая из которых разъединяет балтийские и славянские языки, А. Н. Савченко делает вывод о том, что единого балто-славянского языка не существовало (стр. 376—377). Не касаясь всей этой сложной проблемы в целом,

⁹ См.: Ю. В. Откупщиков, О принципах отбора лексических изоглосс, «Baltistica», 1972, 1 priedas, стр. 115 и сл.

¹⁰ См.: Г. Льюис, Х. Педерсен Краткая сравнительная грамматика кельтских языков, М., 1954, стр. 265.

¹¹ А. Мейе, Общеславянский язык, М., 1951, стр. 366.

¹² См.: J. Kazlauskas, Lietuvių kalbos istorinė gramatika, Vilnius, 1968, стр. 372.

¹³ См.: Г. Льюис, Х. Педерсен, указ. соч., стр. 349.

отмечу только, что аргументация автора мне представляется в данном случае спорной. С таким же успехом можно было бы сослаться на изоглоссы типа укр. *слухач* — польск. *ślusiacz* и русск. *слушатель* — болг. *слушател*, а также на расхождения в случаях укр. *слухач*, *сіах*, *діах*, *прохач* — русск. *слушатель*, *сеятель*, *деятель*, *проситель* и т. п., доказывать, что никогда не было... древнерусского языка. Отдельно взятые изолированные изоглоссы не имеют доказательной силы при решении столь сложного вопроса, как древнейшее членение индоевропейской языковой области и тех или иных ее ареалов.

Не всегда последовательно излагается в книге вопрос об индоевропейском аористе. Так, выше уже приводилось утверждение А. Н. Савченко о том, что индоевропейский аорист был утрачен в хеттском (стр. 259). Ниже (стр. 320) говорится, что ко времени отделения малоазийского диалекта в праиндоевропейском еще не было «итолне сложившейся категории аориста». Вместе с тем автор призывает, что вторичные окончания (типичные для аориста) древнее первичных, а последние уже существовали в эпоху обособления малоазийского диалекта (стр. 368), что презенс представляет собой маркированную категорию, противостоящую немаркированному простому аористу (стр. 323). Все это, по-видимому, справедливо, но находится в противоречии с утверждением о позднем формировании индоевропейского аориста.

Библиографическая часть учебника не отличается должной полнотой. Автор почти совсем не использует важные для индоевропейских реконструкций данные крито-микенских надписей. Несмотря на тщательность автора и редактора, в книге все же осталось много невыправленных опечаток, встречаются в ней случаи непоследовательной транскрипции (например, др.-инд. *tráyas* — на стр. 85, но *trayaḥ* — на стр. 105), неточные реконструкции (стр. 124: ст.-слав. **число* < **čislō*, а не из **čillo*), переводы (стр. 347: лат. *magnis itineribus* означает не «большими дорогами», а «большими переходами» (о быстроте движения Цезаря)), обозначения языков (стр. 60: ст.-слав. *блато*, но слав. (?) *болии*, *небо* и др.). В приводимых примерах из текстов часто отсутствуют ссылки на авторы или эти ссылки даются без указания соответствующих мест (стр. 341 и др.). В учебнике следовало давать переводы соответствий, не совпадающих по значению с сопоставляемым словом. Ибо во всех тех случаях, где дается перевод только первого или только последнего примера, читатель может сделать неверный вывод о значении остальных приведенных слов. Например, на стр. 76 литов. *rūdas* не означает «красный»; греч. *νέφος*, лат. *nebula*, др.-в.-нем. *nebul* не означают

«небо»; литов. *laikas* и греч. *λαῖκος* не означают «блестящий» и т. д.

В заключение — несколько частных замечаний (в порядке следования страниц).

Стр. 6. Сравнительно-исторический метод в языкознании развивается не «на протяжении столетия», а, по крайней мере, 150 лет.

Стр. 9. Славянское и литовское *d* не может соответствовать латинскому *f* в суффиксах и окончаниях.

Стр. 13. Литов. *dītas* употребляется не только, а преимущественно во мн. числе.

Стр. 80 и 87. Исходя из своего принципа деления сонантов на гласные (*i, u*) и согласные (*l, r, m, n*), А. Н. Савченко помещает слогообразующие сонанты *l, r, m, n* в таблицу согласных; фонем (стр. 80), а согласные *ž* и *ǰ* относит к числу фонем гласных (стр. 87). Такое парадоксальное распределение сонантов мне представляется неприемлемым. Судя по таблице на стр. 80, автор полагает, что палатализация заднеязычных в славянских языках (*k > č, c; g > ž, z*) происходила только в тех случаях, когда они отражали индоевропейские лабиовелярные **k^u, *g^u, *g^uh*. Это неверно, ибо велярные **k, *g, *gh* (данные в таблице совместно с **k, *g, *gh*) также подвергались действию палатализации, ср. ст.-слав. *чѣль*, *чръпати* (**k*), др.-русск. *жєравль* (**g*), *жєрдь* (**gh*) и др.

Стр. 85 И.-е. **trējes* дало греч. *τρεῖς* и лат. *trēs* не потому, что после *ž* «исчезает гласный», а в результате выпадения интервокального *ž* (ср. стр. 105 — применительно к латинскому языку). Здесь же совершенно непонятно утверждение о том, что «в санскрите *ž* дало *j*» (о числительном *trāyas*).

Стр. 88. Неточно изложена история латинских дифтонгов. В частности, не учитывается, что дифтонг *oi* дает разные результаты в конечном и в неконечном слоге, а также, что в последнем случае *oi* переходит не только в *ū*, но и в *oe*.

Стр. 102. В древних греческих надписях знак придыхания не ставился над *p* и *h*. Этот знак писался обычно после *p*.

Стр. 125, 184. Литов. *kaina*, а не *kainė*.

Стр. 172, 343 и др. Нужно *Romanis* (Δαυῶν), а не *romanis* (Ῥωμῶν); то же — в других местах книги.

Стр. 185. Греч. *στυγνός* — не причастие, а отглагольное прилагательное.

Стр. 196. Здесь и в других местах книги автор допускает неточности при объяснении происхождения ряда надежных окончаний. Так, касаясь вин. падежа мн. числа на **-on* (основы на *e/o*), он пишет, что «в славянском с отпало по закону открытого слога, а сочетание *on*, оутившись на конце слова, закономерно дало *ю*». Но, во-первых, предполагаемое отпадение конечного *-z* не создавало открытого слога, если в конце слова оста-

валось сочетание *-on*. Во-вторых, *-ы* закономерно давало конечное *-on* (ср. греч. *ἄκωη* и ст.-слав. *камы*), а *-on* давало *-ъ* (ср. род. падеж мн. числа *вѣтъ*, где конечное *-ъ* < **-on*¹⁴, предлоги *въ*, *съ*, *къ* и др.). Наконец, сам автор для основ на согласный (стр. 204) и на *-ei* (стр. 208) в аналогичных случаях дает новую интерпретацию происшедших фонетических изменений.

Стр. 186 и 200. Здесь приводится действительное причастие от глагольного корня **roid-* «звать» один раз в форме *вѣдѣ*, *вѣдѣши*, другой — *ведѣ*, *ведѣши*. В старославянском языке у данного глагола засвидетельствована, кажется, только форма *вѣдаѣ*, а форма *ведѣ*, *ведѣши* относится к другому глаголу — *вести*.

Стр. 242. Предположение о заимствовании местоименных основ **men* и **ten* из финно-угорских языков представляется маловероятным.

Стр. 327. Говоря о генетической общности меди и перфекта, восходящих к более древней категории состояния, А. Н. Савченко должен был сослаться на работы Е. Куриловича и Хр. Станга, которые писали об этом еще в 1932 г.¹⁵

Стр. 374. Здесь говорится про «выделение В. И. Георгиевым германского, балтийского и славянского в особую группу — «северную». Но это выделение было предложено еще в XIX в. (Хазенштейн, Шлейхер, Фик), причем в классификации А. Фика данная группа диалектов также именуется «северной».

Стр. 386. Слишком категорично заявление о том, что «между языками... не

бывает постепенных переходов, а есть вполне определенные границы, потому что языки — это разные системы». Но ведь речь идет о диалектном членении индоевропейского языка, т. е. о наличии или отсутствии переходов между родственными языками (ср. известный пример Г. Шухардта с указанием на отсутствие четких границ между французским и итальянским языками, которое наблюдается при путешествии из Франции в Италию). А пример с отсутствием переходов русско-кабардинских диалектов к рассматриваемой ситуации никакого отношения не имеет.

Легко заметить, что многие критические замечания, высказанные здесь, касались или спорных проблем индоевропейстики, или затрагивали более или менее частные вопросы. Ни те, ни другие замечания не снижают общей положительной оценки книги А. Н. Савченко, данной в начале рецензии. Книга эта крайне нужна широкому кругу лингвистов: студентам, аспирантам, молодым научным работникам. Она может быть с успехом использована в процессе преподавания на филологических факультетах университетов и пединститутах. Ее изрядно малый тираж (2000 экз.) привел к тому, что она сразу же стала чуть ли не библиографической редкостью. Мне кажется, что уже сейчас необходимо поставить вопрос о подготовке второго издания этой книги. В этом издании должна быть значительно расширена библиографическая часть (особенно за счет новейших работ по индоевропейстике), книга должна быть более тщательно отредактирована — как в чисто техническом плане (опечатки и другие погрешности), так и в плане устранения разного рода противоречий в аргументации, — с целью усиления последней.

Ю. В. Откупщиков

ХРОНИКАЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ

25–27 ноября 1975 г. в Москве состоялся Международный семинар по машинному переводу, организованный Всесоюзным Центром переводов научно-технической литературы и документации Государственного Комитета Совета Министров СССР по науке и технике и Академией наук СССР совместно с Международным Центром научной и технической информации. Открывая семинар, представитель ГИИТ Н. В. Туртанов и директор ВЦП В. Н. Герасимов отметили, что для развития машинного перевода необходимы как эксперименты

с помощью ЭВМ на широком языковом материале, так и теоретические исследования в области прикладной лингвистики и общего языкознания.

Доклады были сгруппированы по четырем основным темам: 1) машинные словари, 2) проблемы автоматического анализа и синтеза текстов, 3) семантический анализ текста, 4) математическое и программное обеспечение. Машинный словарь занимает особое место в современной концепции машинного перевода (МП). Словари естественных языков в системах МП и информационного поиска имеют особое строение, отличающее их от обыч-

¹⁴ См.: А. Мейе, Общеславянский язык, стр. 121.

¹⁵ Между прочим, за эти работы не ссылается и И. М. Троицкий, который также признает общность происхождения меди и перфекта (указ. соч., стр. 90).

ных словарей. Функционирование этих словарей в системах обработки текстов выделяет основные характеристики машинных словарей: автономность в отличие от комплементарности обычных, оперативную обратную связь, взаимозависимость и взаимодействие с алгоритмом автоматической обработки. Изучение строения и действия машинных словарей составляет предмет вычислительной лексикографии — части вычислительной лингвистики. Селективная стратегия в МП предполагает перенесение «глубинных» трудностей на «поверхностный» уровень, и в этом особую роль играет машинный словарь. Принципы действия таких словарей — словарь лексем и морфологического словаря — для осуществления селективной стратегии были описаны в докладе А. Людканова (НРБ). Двухязычный автоматический словарь-тезаурус является главным звеном в исследовании «От лингвистики текста — к машинному переводу» группы «Статистика речи». Эти и другие важные вопросы вычислительной лексикографии были затронуты в докладах А. Людканова, Р. Г. Пяотовского, Ю. Н. Марчука.

Во многих докладах и сообщениях были доложены конкретные результаты в виде построенных и используемых машинных словарей (В. В. Гончаренко и др., Л. Н. Беляева, Г. М. Шалапина, М. И. Откупщикова, Т. Я. Гордин и др., Э. М. Добрускина и др., К. Б. Бектаев и др.). Машинные словари играют большую роль в машинном анализе конкретных аспектов словообразования и словоизменения, например, в анализе сложного немецкого слова (В. А. Вертель). Составлению словариков предшествуют лексикографические исследования с помощью ЭВМ, в результате которых создаются словари-конкордансы, семантические частотные словари параллельных текстов, обратные словари и т. п. (И. И. Убин, Е. В. Вертель, Е. Л. Козьмина).

На секции, по проблеме автоматического анализа и синтеза текстов было представлено наибольшее число докладов и сообщений. Интересна следующая статистика: из 17 прослушанных докладов восемь посвящены автоматическому синтаксическому анализу, по три доклада — морфологическому анализу и разрешению лексической неоднозначности, три доклада — прочим вопросам (порождающая модель, синтаксический синтез). Видно, что продолжает преобладать интерес к синтаксическому анализу. Представленные доклады в целом характерны тем, что в них отсутствуют новые всеобъемлющие теории, а исследование ведется либо на базе уже известных концепций (модель «смысл — текст», статистические теории языка и речи), либо строятся алгоритмы для отдельных задач без каких-либо глобальных теорий (например, алгоритм перевода

числительных из десятичной системы на естественный язык и обратно, А. Ф. Осыка).

В докладе И. Штарке (ГДР) предложен способ преобразования синтаксических конструкций для перевода с русского языка на немецкий, применимый для разных пар языков, а также для преобразования внутри одного языка с целью установления синонимии предложений. Представление синтаксической структуры в данной системе позволяет решать, например, такие сложные вопросы, как нахождение антецедентов местоимений (Г. Климонов, ГДР). Г. С. Цейтин предложил новые типы лингвистических моделей для анализа, использующих предпочтительные языковых конструкций. Эти типы моделей, а также модели с ограниченной непроективной, проверены в эксперименте (Г. С. Цейтин, Б. М. Лейкина).

В коллективном докладе чехословацких ученых были описаны основные компоненты функциональной порождающей модели. Порождаются семантические записи, основанные на принципах синтаксиса зависимостей (Е. Бенешова и др., ЧССР). Сделана попытка обосновать выбор теории автоматического грамматического анализа текста. Общие требования к методу лингвистического исследования, которые выдвигаются глоссематикой Л. Ельмслева и дескриптивной лингвистикой, приемлемы для автоматического анализа, однако конкретное машинное исследование текстов опирается на свои собственные законы, которые лучше всего описываются дистрибутивно-статистическим методом, опирающимся на вероятностные оценки. Главное положение этого метода: основные постулаты не задаются, а выводятся как результат попытки формализовать язык (А. А. Коверин).

Много докладов было посвящено отдельным вопросам синтаксического анализа, например, интерпретации сравнительного отношения в грамматике синтаксического анализа русских текстов (В. Ю. Морева), исчислению синтаксических структур для алгоритма анализа непрерывного типа (Е. Е. Ловцкий), анализу предлогов (Н. В. Аникина, Т. Г. Никанорова, Н. Н. Леонтьева), правилам для выработки предикатных отношений (М. С. Першикова) и др. Автоматическому морфологическому анализу письменной польской речи был посвящен интересный доклад А. Лукашевича (ПНР). Об автоматизации морфемного анализа глагольных словоформ сообщила М. П. Муравинская.

Можно сказать, что в проблеме семантического анализа текстов утвердился экспериментальный подход. Так, концепции семантической связности текста проверяются алгоритмами сегментации текста на абзацы и связанные отрывки

(Т. Н. Рылова, Л. В. Орлова, Р. А. Ковалевич и др., Т. В. Долгалева, Г. С. Осипов и др.). Несколько выступлений было посвящено вопросам состава и структуры словарей с семантической информацией, а также семантике конкретных слов и словосочетаний естественного языка (М. И. Откупщикова, Г. М. Ильин и др., О. А. Штернова). Исследования в области формализации семантики дают выход непосредственно в информационный анализ и поиск (автоматическое индексирование и реферирование, создание словарей-тезаурусов), поэтому вызвали большой интерес описание порождающей модели В. А. Московского и Ю. С. Мартенянова, вопросы коммуникативной организации текста и ее отражения в семантической структуре (Э. И. Королев, Э. М. Шалыпина) и лингвистическое обоснование системы «вопрос — ответ» (Р. Конрад, ГДР). Количественная оценка на базе семантических критериев позволяет оценить качество перевода (Н. А. Куземская, Э. Ф. Скороходько).

На секции математического и программного обеспечения были заслушаны доклады о программной реализации взаимодействия человека с машиной в процессе интер- и постредактирования в системе машинного перевода (Б. Д. Тихомиров и др.), о комплексном подходе к математическому и программному обеспечению МП (Д. М. Скитневский) и о построении общих и частных программ лингвистического обслуживания (Н. А. Крутик и др., Н. Г. Арсентьева, Р. С. Каретников, Л. Н. Беляева, С. А. Анашевский и др., Л. Ф. Лукьяненко и др., Н. А. Баладина, В. С. Кризевич и др.). Были также рассмотрены вопросы автоматического синтеза перографов (С. М. Шевенко). Были показаны машинные результаты работ различных программ, реализующих лингвистические алгоритмы.

В работе семинара приняли участие 205 человек, прислано в оргкомитет около 80 тезисов докладов, прослушано на секциях и пленарных заседаниях 63 доклада и сообщения. Были представлены ученые и коллективы из пяти стран и 15 городов СССР. Это показывает интерес к МП и стремление практически всех советских коллективов и ученых, занимающихся МП, а также специалистов из стран — членов МСНТИ к организационному единству в разработке научных и технических проблем построения промышленно пригодных систем машинного перевода.

Ю. Н. Марчук (Москва)

С 21 по 24 октября 1975 г. в Ленинградском отделении Ин-та языкознания АН СССР проходила конференция «Структурно-типологические методы в синтаксисе

разносистемных языков. Диатезы и залогов», организованная группой структурно-типологического изучения языков (СТИЯ) ЛО ИЯ. В конференции приняли участие около 200 ученых из Москвы, Ленинграда, Тбилиси и других городов СССР, а также гости из социалистических стран: ГДР, Польши, Чехословакии, Венгрии, Болгарии.

Цель конференции заключалась в обсуждении узловых вопросов теории диатез и залогов, разрабатываемой группой СТИЯ с 1966 г. под руководством А. А. Холодовича. В частности, предлагалось обсудить проблемы, которые были затронуты в опубликованных группой СТИЯ работах: «Категория залогов» (Л., 1970) и «Типология массивных конструкций» (Л., 1974). Кроме того, планировалось подробно рассмотреть круг вопросов, связанных с функционированием рефлексивных конструкций, которые ранее специально не исследовались в публикациях группы СТИЯ.

Готовя конференцию, оргкомитет (А. В. Бондарко, В. П. Недалкова, В. С. Храковский, С. Е. Яхонтов) заблаговременно разослал список тем для докладов и опубликовал препринт «Диатезы и залогов» (Л., 1975) с дискуссионными статьями В. А. Успенского, С. Е. Яхонтова, В. П. Недалкова, В. С. Храковского, Г. Г. Сильницкого и И. Е. Долининой.

По поручению дирекции ЛО ИЯ АН СССР конференцию открыл С. Д. Г а ц н е л ь с о н, который подчеркнул важность обсуждаемой проблематики для общей синтаксической теории. В первый день 21 октября состоялись два пленарных заседания, 22—23 октября работали секции, 24 октября на конференции проходила общая дискуссия.

Анализ и конструктивная критика теории диатез были даны в докладе В. А. У с п е н с к о г о (Москва). Докладчик подчеркнул необходимость уточнения ряда сдерживающих понятий теории, таких, как диатеза, ситуация, участник ситуации и др. Кроме того, он предложил ввести некоторые новые понятия, в частности понятие гиперлексемы, под которым понимается объединение словоформ некоторых близких лексем.

Существенным для развития теории диатез было сообщение Е. В. П а д у ч е в о й (Москва) «О производных диатезах отглагольного имени», в котором было показано, что диатезы отглагольных имен можно рассматривать как производные по отношению к диатезам соответствующих глаголов.

А. В. Б о н д а р к о (Ленинград) в докладе «Теория значения и трактовка категории залогов» рассматривал вопросы соотношения языковых грамматических значений и смысла. Автор сосредоточил внимание на различии между пассивом и

активом с точки зрения языковых синтаксических значений.

Некоторые доклады были посвящены определению залогов и месту их в системе языка. В. В. Богданов (Ленинград) в сообщении «Залог и семантика предложения» описал место залога в системе отношений между четырьмя выделяемыми им уровнями: глубинно-семантическим, семантическим, синтаксическим и коммуникативным.

Р. Ружичка (ГДР) остановился на оппозиции «актив — пассив» и показал, что эти залогии противопоставлены: 1) по синтаксическим конструкциям, 2) по морфологическим формам глагола, 3) по соответствию: подлежащее в активе — дополнение/отсутствие дополнения в пассиве.

В докладе Р. Зимека (ЧССР) был дан анализ учения о залоге, развиваемого в чешской лингвистике, в частности, раскрывались такие важные для понимания залога понятия, как деагентность и пассивная перспектива.

На конференции ставились вопросы о принципах и методике выделения семантических актантов и синтаксических актантов (членов предложения) и их оформления. Г. Г. Сильницкий (Смоленск) предложил теорию членов предложения, основанную на морфологических признаках, в которой последовательно проводится принцип взаимозависимости синтаксиса и семантики.

В. С. Храковский (Ленинград) представил концепцию, согласно которой актанты в предложении упорядочиваются по их синтаксическим весам. Он подчеркнул отсутствие прямой связи между определенным морфологическим оформлением и синтаксической функцией имени и дал скользящую классификацию синтаксических единиц.

Я. Панёвова (ЧССР) посвятила свой доклад критериям разграничения обязательных и факультативных синтаксических актантов, с одной стороны, и свободных адвербиальных дополнений, с другой.

С. Е. Яхонтов (Ленинград) в докладе «Фреквенталии морфологического оформления семантических актантов» охарактеризовал падежное оформление слов, обозначающих семантические актанты глаголов активного действия, чувства, движения и др. (в языках различных типов).

Семантическим и синтаксическим актантам и их соотношению были посвящены также доклады И. Циммерман (ГДР), Л. М. Ковалевой (Иркутск), Л. Вукидзе (Тбилиси), Е. В. Горбачевой (Москва), Л. Н. Мурзина (Пермь).

На конференции был заслушан и обсужден ряд выступлений, в которых проблема залогов и диатез связывалась с вопросами актуального членения предложения. В докладах Я. Качалы

(ЧССР) «О грамматической перспективе предложения», З. Тополинской и С. Кароляка (ПНР) «Квантификация выражений в позициях для аргументов и тематико-рематическая структура высказывания», Э. И. Королева (Москва) «Пассив и актуальное членение английского предложения» были рассмотрены разные типы соотношений между семантической перспективой развертывающегося высказывания и формально-грамматическими залоговыми структурами.

Б. М. Лейкина (Ленинград) предложила различать тематико-рематическое строение высказывания и его «фокус», формальным средством выражения которого является подлежащее. В докладе Н. А. Козицовой (Ленинград) рассматривалась коммуникативная нагрузка некоторых обязательных и факультативных распространителей сказуемого в активной, пассивной и неопределенно-личной конструкциях (на материале армянского языка).

С другим аспектом предложения — его прагматикой связал употребление залогов Г. Г. Почепцов (Киев), который дал классификацию предложений по их прагматике (констатирующие, промиссивные и др.) и показал, что прагматический аспект предложения влияет на употребление залогов.

Залоговой проблематике в социалистическом аспекте был посвящен доклад Р. Лёча (ГДР), в котором он рассматривал случаи типологических совпадений между залоговыми системами неродственных языков.

Большое количество докладов было посвящено рефлексиву. Основы общей типологии рефлексива даны в докладе В. П. Недякова (Ленинград), который исследовал проблему полисемии рефлексивных конструкций и пришел к выводу, что их значения в различных языках заметно совпадают и не выходят за определенные смысловые пределы. В докладе рассмотрена также типология формальных способов выражения рефлексива.

На материале отдельных языков эта тема была представлена в следующих докладах: К. Ивановой-Держанской (Болгария) «Теория залогов и статус глагольных форм с возвратным и взаимным значением», Б. Ю. Нормана (Минск) «О русских рефлексивах», Р. А. Заубер (Ленинград) «Статус глагольных форм с возвратным и взаимным значением в испанском языке», И. Б. Долининой (Ленинград) «Некоторые вопросы английского рефлексива», Е. Е. Корди (Ленинград) «Рефлексивные и рефлексивно-посессивные глаголы во французском языке». С. Н. Цейтлин (Ленинград) в докладе «Возвратные глаголы и детская речь»

представила интересный материал детского словообразования.

Взаимные и возвратные конструкции во вьетнамском языке рассматривались в докладе И. С. Быстрова (Ленинград) и Н. В. Станкевич (ДРВ). М. И. Откупщикова (Ленинград) в докладе «Статус взаимного залогов в русском языке» описала конструкции взаимного залогов в их канонической и неканонической форме. Значение взаимности было рассмотрено также на материале белорусского языка в совместном докладе Л. А. Антонюк и А. Е. Мухомова (Минск).

Специальное заседание было посвящено категории версии грузинского языка, медиа в индоевропейских языках и сходным по значению категориям других языков. На нем И. Меликишивили (Тбилиси) сделала доклад «Способы образования перфекта и категории версии». М. В. Мачавариани (Тбилиси) в докладе «О взаимоотношении категорий версии, процессуальности и залогов» показала соотношение названных категорий глагола и круг значений, выражаемых грузинской версией. В докладе Э. Ш. Генюшене (Вильнюс) рассматривались значения, выражаемые конструкциями косвенного рефлексива в литовском языке. И. А. Перельмутер (Ленинград) рассказал о косвенно-возвратной функции медиа в древнегреческом языке и отметил особое место в глагольной системе форм медиа, имеющих косвенно-возвратное значение. В докладе Н. Б. Вахтина (Ленинград) «О направительном значении глаголов в эскимосском языке» были приведены в систему четыре основных значения направительной формы, которая в одном частном случае приближается к рефлексиву или субъективной версии.

Доклады, посвященные медиа, рефлексиву, версии, направительной форме глагола, показали, что эти категории частных грамматик имеют во многом совпадающий круг значений.

Рассматривались на конференции также вопросы связи залогов и эргативной конструкции, определения эргатива и т. д. Так, в докладе Ю. В. Зыцаря (Куйбышев) предлагалась трактовка форм эргативного пассива баскского языка как особого автотивного залогов. Эргативу был также посвящен доклад В. Б. Голлова (Ленинград), содержащий оригинальную концепцию сущности синтак-

сических структур эргативных языков, и др.

Темой ряда докладов была связь залогов с другими грамматическими категориями: со стативом (Л. Л. Буланин), безличностью (С. А. Шубик), видами и временами (В. Дуда — ГДР, И. Маривак — ПНР, М. И. Стрельцова — Новосибирск), с категорией лица (Ю. П. Князев — Ленинград).

Большое количество выступлений было посвящено залоговым системам и отдельным залогам различных языков. Некоторые спорные вопросы теории залогов в русском языке рассматривались в докладах П. А. Клубкова (Душанбе), И. Г. Милославского (Москва), В. И. Гавриловой (Москва). Материал германских языков был отражен во многих выступлениях. Так, проблемы залогов английского языка освещались в докладах Р. В. Басовой (Иркутск), Ю. А. Левицкого (Пермь), М. Ф. Чикуровой (Тула), М. С. Караевой (Баку), проблемы залогов в немецком языке — в докладах В. Н. Еркова (Тула), В. А. Михайленко (Тула) и В. К. Гречко (Ленинград).

Были представлены также материалы языков других групп: таджикского и курдского (Ю. Ю. Авалиани — Самарканд), азербайджанского (Ф. С. Мурсалов — Баку), татарского (Х. Ф. Исхакова — Москва), саамского (В. В. Секкевич-Гудкова — Ленинград), грузинского [в докладе Р. Ш. Енукашвили (Тбилиси)] и в совместном докладе О. Г. Ревзиной (Москва) и Н. В. Чанишвили (Тбилиси).

В ряде докладов залоговая проблематика ставилась на материале языков Дальнего Востока: бирманского (Н. В. Омелянович — Москва), индонезийского (Н. В. Полозова — Москва), китайского (Е. И. Шутова — Москва) и языков Явы (А. К. Оглоблин — Ленинград).

Всего на конференции было сделано свыше 70 докладов. Завершила конференцию общая дискуссия по всем обсуждавшимся вопросам. Все заседания проходили в хорошей деловой атмосфере: непринужденный обмен мнениями, конфронтация различных точек зрения, показ материала двадцати с лишним языков безусловно будут способствовать более глубокой разработке теории диатез и залогов.

Е. Е. Корди (Ленинград)

CONTENTS

Articles: G. A. Klimov (Moscow). Some topical tasks of historical-typological research; **Discussions:** V. M. Solncev (Moscow). On the conception of «deep» structure; R. V. Pazukhin (Leningrad). «Cybernetic» models in linguistics; R. G. Kotov (Moscow). Linguistics and contemporary studies in machine-translation in our country; M. P. Cxaidze (Tbilisi). Once more on the myths and reality in machine translation. N. D. Andreev (Leningrad). Chomsky's quasilinguistics; **Materials and notes:** J. P. Dimri (Hyderabad). Principles of morphological analysis in the «Octateuch» of Pānini; N. G. Corleteanu (Kišinev). Moldavian technical terminology today; A. I. Zurauskij (Minsk). From the history of active present participles in the Byelorussian literary language; N. G. Mikhailovskaya (Moscow). Lexical norm in its relation to the Old Russian literary language; J. F. Mazan'ko (Moscow). On the formation of adverbs in Old Russian; I. Z. Muriasov (Ufa). On the derivational meaning and semantic patterning of the parts of speech; **Reviews; Scientific life.**

SOMMAIRE

Articles: G. A. Klimov (Moscou). Quelques tâches des recherches historico-typologiques; **Discussions:** V. M. Solncev (Moscou). Sur la conception de la structure «profonde»; R. V. Pazukhin (Léningrad). Modèles «cybernétiques» en linguistique; R. G. Kotov (Moscou). Linguistique et l'état actuel de la traduction mécanique dans notre pays; M. P. Cxaidze (Tbilisi). Une fois de plus sur les mythes et la réalité de la traduction mécanique; N. D. Andreev (Léningrad). La quasilinguistique de Chomsky; **Matériaux et notices:** J. P. Dimri (Hyderabad). Principes de l'analyse morphologique dans l'«Octateuque» de Pānini; N. G. Corleteanu (Kišinev). Terminologie technique moldave aujourd'hui; A. I. Zurauskij (Minsk). De l'histoire des participes actives en byélorusse; N. G. Mikhailovskaya (Moscou). La norme lexicale dans ses rapports avec le vieux-russe littéraire; I. F. Mazan'ko (Ufa). Sur la formation des adverbes en vieux-russe; R. Z. Muriasov (Ufa). Sur la signification dérivationnelle et la modélisation sémantique des parties de discours; **Comptes-rendus; Vie scientifique.**

Технический редактор Т. Н. Сенченко

Сдано в набор 29/IV-1976 г.	Т. 16523	Подписано к печати 7/IX-1976 г.	Тираж 7040 экз.
Зак. 788	Формат бумаги 70×108 ¹ / ₁₆	Усл. печ. л. 15,4	Бум. л. 5 ¹ / ₂ Уч.-изд. л. 17,4

2-я типография издательства «Наука», Москва, Шубинский пер., 10